АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1975

СОДЕРЖАНИЕ

П. А. Азимов (Ашхабад), Ю. Д. Дешериев, Л. Б. Никольский, Г. В. Степанов, А. Д. Швейцер (Москва). Современное общественное развитие, научно-техническая революция и язык 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. И. Котков (Москва). Памятники русской письменности и историческая диалектография 12
Л. И. Баранникова (Саратов). Говоры территории позднего заселения и проблема их классификации 22
И. М. Оранский (Ленинград). О соотношении периодизации истории языка с периодизацией памятников письменности 32
М. А. Бородина (Ленинград). Ареалогия и некоторые вопросы романского языкознания 47
В. Н. Туркин (Днепропетровск). К изучению социальных терминов . . 62

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Д. Уорт (Лос-Анджелес). О языке русского права 68
Т. Я. Елизаренкова (Москва). Об эмфатических местоимениях в хинди 76
И. Д. Кленин (Москва). Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке 89
Г. С. Клычков (Москва) Вариативность индоевропейских языков дописьменного периода 100
Т. И. Дешериева (Москва). Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. В. Иванов (Москва). Общеславянский лингвистический атлас . . . 118
В. Д. Аракин (Москва). Некоторые проблемы изучения океанийских языков 127

Рецензии

Р. А. Будагов, А. А. Брагина (Москва). «Русский язык в современном мире» 139
И. Ф. Протченко (Москва). *И. К. Белодед*. Язык и идеологическая борьба 142
Й. Бихари (Эгер). *А. М. Рот*. Венгерско-восточнославянские языковые контакты 147
Ю. Н. Караулов (Москва). *V. Tauli*. Standard Estonian grammar 150
В. В. Лопатин (Москва). *Е. А. Земская*. Современный русский язык. Словообразование 152
Е. И. Кедайтене (Москва). *V. Grinaveckis*. Žemaičių tarmių istorija (fonetika) 156
К. Е. Майтинская (Москва). «The Hungarian language» 159

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 163

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228 75-55
Зав. редакцией *Г. В. Строкова*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1975 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

П. А. АЗИМОВ, Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ, Л. Б. НИКОЛЬСКИЙ,
Г. В. СТЕПАНОВ, А. Д. ШВЕЙЦЕР

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЯЗЫК

1. Современное общественное развитие представляет собой всеобъемлющий общечеловеческий социальный процесс, одним из важнейших компонентов которого является научно-техническая революция. Социолингвистический аспект изучения нашей эпохи требует учета всего комплекса проблем современного общественного развития, а не только его чисто научно-технической стороны. Комплексные и специфические для отдельных отраслей знания проблемы, выдвигаемые научно-технической революцией, весьма широки. Здесь нас интересует не техническая сторона проблемы, а ее социальная сущность.

Сущность научно-технической революции «определяется перестройкой всего технического базиса, всей технологии производства... местом и ролью человека в процессе производства. Эта революция создает предпосылки для сведения в единую систему важнейших форм человеческой деятельности: науки — теоретического познания закономерностей природы и общества; техники — комплекса материальных средств и опыта преобразования природы; производства — процесса создания материальных благ; управления — способов рациональной взаимосвязи целесообразных практических действий в процессе решения производственных и иных задач» [1]. Отдавая должное усилиям, связанным с поисками в области теории и методов лингвистических исследований представителей, например, концепций Л. Ельмслева, З. Харриса и Н. Хомского, мы не можем считать состоятельным наблюдаемое в их трудах умаление социального в интерпретации фактов языка и мышления. Следуя марксистско-ленинской теории, мы исходим из примата социального над языком и мышлением, рассматривая их как продукт общества, и отвергаем теоретически неприемлемые утверждения, в частности, Н. Хомского, считающего лингвистику разделом психологии человеческого мышления [2], а генеративную грамматику — теорией языковой компетенции, врожденной для человека [3].

Советские социолингвисты признают необходимость сочетания марксистско-ленинской методологии как мировоззренческого подхода к языку, конкретной социолингвистической теории и методов социолингвистических исследований. Это положение не следует абсолютизировать, особенно применительно к частным фактам языка, иногда, может быть, нуждающимся в чисто теоретической или методической интерпретации.

Развертывание научно-технической революции оказывает огромное воздействие на функционирование, развитие и взаимодействие языков мира, на мировой лингвистический процесс. Источником некоторых расхождений между социолингвистами и теми языковедами, которые рабо-

[1] Пр. 2 III 74, стр. 3.
[2] Н. Хомский, Язык и мышление, М., 1972.
[3] N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 9.

тают в области структурной лингвистики, особенно над проблемами формализации языка, служит вопрос о роли социальных факторов, рассматриваемых в синхроническом и диахроническом аспектах, в функционировании, развитии и взаимодействии языков. Выяснение характера, темпов, масштабов, сфер и специфики воздействия научно-технической революции на языковую жизнь общества — важная и актуальная задача социолингвистов. Следует добиваться взаимопонимания между социолингвистами и теми языковедами, которые занимаются проблемами структурной лингвистики, в постановке и особенно решении рассматриваемых проблем, не допуская неправильного или упрощенного их истолкования.

2. Современное общественное развитие и научно-техническая революция обусловили жизненную потребность в глубокой разработке проблемы взаимоотношения социального и структурного подхода к языку. По мере углубления общественного развития и развертывания научно-технической революции усилился процесс кажущейся «эмансипации» языка и сознания, их абстрагирования от материального. Это привело к широкому распространению идеалистических концепций в языкознании, к попыткам рассматривать язык, его структуру как только «чистую структуру отношений», без должного учета его социальной природы и материального субстрата.

При исследовании языка, его структуры неправомерна абсолютизация «идеального», дематериализованных «чистых» отношений. Суть концепции одного из основателей глоссематики Л. Ельмслева заключалась в «понимании языка как чистой структуры отношений, как схемы, как чего-то такого, что противоположно той случайной... реализации, в которой выступает эта схема» [4]. Конечно, можно исследовать язык в определенных целях как структуру отношений, но неправомерно сводить главное в природе языка к отношениям. Необходимо учитывать социальную природу языка. Разумеется, нельзя преувеличивать роль социальных факторов и недооценивать значения имманентных законов. Хотя в языке все социально в том смысле, что он не может ни функционировать, ни развиваться вне общества. Надо учитывать возможность разных аспектов изучения языка. Каждый язык можно исследовать в определенных целях как исторически сложившуюся особую семиотическую систему, функционирующую по своим внутренним законам. Вместе с тем наиболее сложным и многосторонним является социальный план исследования языка, представленный в социолингвистике. Оба аспекта внутренне взаимосвязаны. Они могут сосуществовать, взаимопроникать, дополнять друг друга, способствуя взаимному развитию. В истории языкознания недооценка внутренних законов функционирования и развития языка приводила к вульгаризаторским ошибкам, а игнорирование социальной сущности языка — к идеалистическим извращениям.

Наиболее сильно воздействие научно-технической революции сказывается на неравномерности развития общественных функций языков мира, на активизации образования терминологических систем и их непрерывной дифференциации, на «перемалывании» территориальных диалектов, на ускорении социально-профессиональной дифференциации языков, особенно наиболее развитых, на усилении воздействия идеологической сферы преимущественно на лексико-семантические и стилистические системы, на обострении идеологической борьбы в области осуществления языковой политики; ср. также повышение роли сознательного социального воздействия на функциональное и внутриструктурное развитие языков (примером созна-

[4] Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, AL, VI, 2—3, 1950—1951, стр. 61.

тельного социального воздействия на структуру языка служит разработка теоретических проблем формализации языка) и многое другое. Современное общественное развитие, научно-техническая революция подтверждают огромное социальное и теоретическое значение вывода К. Маркса и Ф. Энгельса, писавших, имея в виду язык: «Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода» [5].

В условиях научно-технической революции наиболее динамичной частью лексико-семантической системы языка является научно-техническая и общественно-политическая терминология. По данным специальной литературы, только в химии насчитывается несколько миллионов терминов. Развивающаяся столь же бурными темпами общественно-политическая терминология подвергается социально-идеологической дифференциации. Неуклонно ускоряющийся научно-технический прогресс влечет за собой рост потока информации (по некоторым данным, объем научно-технической информации с начала XX в. возрос в 8—10 раз). В связи с современным прогрессом науки и техники и сопутствующими ему социальными изменениями, вызывающими радикальную перестройку понятийного аппарата многих научных дисциплин и возникновение новых отраслей знания, возникают новые понятия, что резко увеличивает потребность в номинации. Все это приводит к так называемому «терминологическому взрыву», т. е. к массовому возникновению новых терминов, терминологических полей и целых терминологических систем и вносит существенные изменения в существующие терминологические системы. Задача лингвистов состоит в том, чтобы превратить «терминологический взрыв», носящий во многом стихийный характер, в управляемый процесс. Стандартизацию и унификацию терминологии следует рассматривать в качестве одной из актуальных задач языковой политики. Эта задача может быть полностью решена лишь путем международного научно-технического сотрудничества. Следует признать, что в этой области еще предстоит многое сделать; отметим, что некоторыми международными организациями (например, Международной электротехнической комиссией, создающей международный многоязычный словарь стандартизованных электротехнических терминов) уже накоплен известный положительный опыт.

На развитие и функционирование языка глубокое влияние оказывают непосредственно связанные с научно-технической революцией рост системы народного образования и широкое внедрение средств массовой коммуникации. Все это не может не приводить к расширению социальных функций литературного языка, к его неуклонному распространению и растущему влиянию и одновременно к сужению социальной базы территориальных диалектов, к сокращению сфер их использования и к уменьшению объема выполняемых ими социальных функций. Средства массовой коммуникации содействуют популяризации научно-технической терминологии, делая многие термины, отражающие ключевые понятия некоторых находящихся в центре внимания общественности отраслей знания, доступными широким слоям общества. Они способствуют быстрому распространению заимствованных терминов, превращению их в элементы интернациональной лексики (ср., например, судьбу русского термина *спутник*). Массовая коммуникация как особая форма речевого общения и связанные с ней речевые ситуации должны стать предметом самого пристального внимания и углубленного изучения как психолингвистики, так и социолингвистики.

---

[5] К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., 3, стр. 427.

Научно-техническая революция и тесно связанные с ней процессы урбанизации и внутренней миграции населения сказываются на профессиональной дифференциации языка. В промышленных странах Запада наряду с сокращением социальной базы территориальных диалектов происходит формирование различных подсистем, занимающих промежуточное положение между литературным стандартом и диалектом (например, так называемых городских «полудиалектов» — Halbmundarten). Широкое распространение получает диглоссия — распределение социально-коммуникативных функций между литературным языком и местным диалектом в одном и том же коллективе говорящих. Указанные процессы отнюдь не снимают социальных противоречий, присущих капиталистическому обществу, где сохраняется база для социальной стратификации языка, которая может принимать особые формы (ср. судьбу Black English — негритянского диалекта в США, в прошлом социорегионального, тесно связанного с южными диалектами американского варианта английского языка, а ныне утратившего в результате непрерывных миграций свою территориальную базу и ставшего социальным диалектом). В капиталистическом обществе по-прежнему сохраняется почва для возникновения различных «субкультур» или «контркультур» типа «хиппи» со своими арго, элементы которых могут проникать в общенародный язык.

Растущая специализация знания способствует усилению профессиональной дифференциации языка. Этот процесс в известной степени связан с популяризацией достижений научной мысли и в той или иной мере способствует проникновению некоторых элементов «подъязыка» науки в общенародный обиход.

Язык представляет собой «естественным» путем формализованное социальное явление. Формализация языка, направленная на создание искусственных языков, служащих посредниками в системе «человек — машина — человек» [6], означает сознательное вмешательство общества в функционирование языка. В сущности говоря, формализация языка, понимаемая в широком смысле как сознательное воздействие человека на языковую структуру, осуществляется обществом. В собственном смысле формализация языка представляет собой «технизацию» языка, т. е. разработку методов приспособления его структуры и структурных элементов к решению технических задач, например, в кибернетических целях, для машинного перевода, автоматизации некоторых языковых операций. Все это не приводит к изменению природы языка, его структуры, основных функций.

Вопрос о границах формализации языка, на наш взгляд, нуждается в освещении с трех точек зрения: социально-лингвистической, структурной и технической (с использованием математического аппарата). Мы коснемся здесь лишь первых двух точек зрения. С социально-лингвистической и структурной точек зрения вопрос о границах формализации языка нужно рассматривать в двух планах: 1) в плане выяснения границ формализации уровневых единиц минимальной и максимальной структуры (фонема, морфема, словосочетание, предложение); 2) в аспекте установления границ формализации языковой структуры минимальной и максимальной информативности (в связи с проблемой языков минимальной и максимальной информативности). При определении границ формализации языка принципиальное значение имеет проблема отношений в структуре языка. Анализируя проблему отношений в языковой структуре в широком философском диалектико-материалистическом плане, следует учитывать то, что в функционировании языка и его структурных единиц

[6] «Die Sprache und Ideologie», Halle, 1972.

проявляется бесконечное множество самых различных отношений — например, между его элементами. Но общественным сознанием выделяются только те отношения, которые социально существенны, осмыслены обществом. Таким образом, главным критерием, при помощи которого из множества отношений, проявляющихся в процессе функционирования и развития языка, его структурных элементов, выделяются в языке и общественном сознании определенные отношения (даже «чистые» отношения по существу представляют собой отношения между материальными — звуковыми — элементами), является критерий их социальности. Тем самым отношения в языке становятся лингвистически существенными лишь благодаря их социальной сущности.

В недооценке такого проявления социальной сущности языка в исследуемых «чистых» отношениях заключалось одно из основных методологических, теоретических «упущений», ошибок основоположников некоторых направлений структурализма, пытавшихся устранить «человеческий фактор», т. е. социальную сущность из анализа языка (например, Х. Ульдалль). Они не «заметили» главного ориентира в точном анализе языка, взятого даже как «структура чистых отношений».

3. Мировой лингвистический процесс, рассматриваемый с функциональной и структурной сторон, охватывает все формы функционирования, развития и взаимодействия языков во всех сферах человеческой деятельности. Он рассматривается нами преимущественно с точки зрения формирования и развития общественных функций языков, а также формирования и развития терминологических систем и функциональных стилей. Мировой лингвистический процесс, рассматриваемый в историческом аспекте, и языковая ситуация в современном мире как существенно важные компоненты современного общественного развития характеризуются своими специфическими признаками. Мировой лингвистический процесс в значительной мере развертывается стихийно. В этом процессе много противоречивого. В нем переплетаются архаическое и новое, отживающее и перспективное. Его следует анализировать в разных аспектах: глобальном (т. е. с точки зрения его роли и места в современном общественном развитии), научно-техническом, культурном и т. д.

Как показывает сравнительная характеристика данных о количестве языков в прошлые эпохи и в современный период, языковая жизнь развивается в сторону сокращения общего количества языков в мире. По данным специальной литературы (нуждающимся в уточнении) в мире насчитывается от 2500 до 3000 языков. Они различаются по: а) генетической принадлежности, б) типологии, в) объему общественных функций, г) наличию и отсутствию письменности, д) численности их носителей. При конкретизации приведенных общих данных о языках мира мы вынуждены ограничиться здесь краткой характеристикой языковой жизни лишь некоторых основных районов мира.

1) Наиболее богатой с точки зрения сочетания перечисленных выше признаков является языковая жизнь многонационального Советского Союза. В Стране Советов представлено около 130 языков коренных народов, в том числе примерно 70 литературных, из которых приблизительно 50 — младописьменные. Эти языки функционируют в 15 союзных, 20 автономных республиках, 8 автономных областях и 10 национальных округах. Численность говорящих на отдельных языках колеблется от двухсот человек (гинухский язык в Дагестанской АССР) до примерно 140 млн. чел. (русский язык). Функциональная классификация языков народов СССР также дает весьма сложную картину: старописьменные языки крупных наций, обслуживающие все основные сферы общественной жизни данного народа (начальную, среднюю школу, основные отрасли науки, обществен-

но-политическую жизнь и т. д.), младописьменные языки малочисленных народностей, применяемые в общеобразовательных школах, сферах культуры, массовой коммуникации и т. д.

Процессы взаимодействий языков в СССР, ускоряемые развертыванием научно-технической революции и дальнейшим развитием зрелого социалистического общества, обусловливают взаимообогащение языков, возникновение в них общего терминологического фонда, а не их ассимиляцию и деградацию вопреки несостоятельным, фальсификаторским утверждениям некоторых зарубежных авторов. К социально-лингвистическим последствиям современного общественного развития и научно-технической революции в СССР, как и в других странах мира, относятся и процессы «перемалывания» территориальных диалектов, их ускоренного «растворения» в литературных языках, а также усиления социально-профессиональной дифференциации языков. Все это приводит к небывалому возрастанию тенденций, ведущих к повсеместному распространению норм литературных языков.

2) Научно-техническая революция и связанные с ней социальные процессы оказывают существенное влияние на языковую ситуацию в Великобритании, а также в англоязычных странах, где в прошлом в результате колониальной экспансии Англии образовались варианты английского языка с собственными литературными стандартами (американский, австралийский, канадский варианты английского языка и др.). В настоящее время наблюдаются интенсивные процессы конвергенции этих вариантов, в особенности на лексическом уровне. Этому в немалой степени способствует развитие средств массовой коммуникации, содействующих взаимопроникновению лексических единиц, ранее являвшихся принадлежностью лишь одного из вариантов английского языка. Доминирующее положение Соединенных Штатов по отношению к другим англоязычным странам находит свое отражение в усиленном проникновении американизмов в лексико-семантические микросистемы других вариантов английского языка.

3) В результате своеобразного исторического, экономического, культурного, политического и лингвистического процесса формирования европейских романских народностей и наций и политики колониальной экспансии, приведшей к «вторичной романизации», которая охватила обширные территории за пределами европейского континента, сложилось несколько типов романских языковых ситуаций. Наиболее специфичной является ситуация, сложившаяся в Латинской Америке. Она характеризуется:

а) наличием самостоятельных национальных языков в рамках отдельных государств (испанский язык в качестве официального языка в двух десятках стран, португальский язык в Бразилии);

б) разнообразными типами и формами контактов с индейскими языками, приведшими к разным формам двуязычия (вплоть до «полного», как в Парагвае, где официальными языками являются испанский и гуарани);

в) значительным влиянием английского языка, проявляющимся не только в разговорной речи (например, в Мексике, в Пуэрто-Рико, где появился даже специальный термин «englañol», обозначающий «гибрид» «English + español»), но и в письменной, главным образом в области терминологии (научной, технической, общественно-политической, коммерческой). На Кубе в настоящее время влияние английского языка резко уменьшилось;

г) различными формами отношений с языком бывших метрополий: от установки на культурную унию и языковую интеграцию до сепаратистских тенденций, особенно резко проявившихся в «лингвистическом нацио-

нализме» (подобные явления отмечаются в таких странах, как Аргентина, Бразилия и др.).

Второй тип ситуации характерен для европейских романоязычных стран с одним официальным государственным языком (французский во Франции, итальянский в Италии, испанский в Испании, каталанский в Андорре). Другие языки (романские и нероманские) в этих странах не имеют статута официальных языков (например, галисийский, каталанский, баскский в Испании, провансальский, баскский, каталанский во Франции и т. д.).

Третий тип ситуации характеризуется функционированием языков в качестве официальных в пределах неотдельной административной единицы (автономная область, часть федерации, например, французский язык в Канаде, французский, итальянский, рето-романский в Швейцарии и др.).

Четвертый тип ситуации с романскими языками сложился в бывших колониях Франции, Испании, Португалии, Италии, и специфика ситуации этого типа целиком определяется распадом колониальной системы под напором национально-освободительных движений, что привело к развитию местных национальных языков и к потере функционального значения (дисфункции) языков романских.

Приобщение развивающихся стран к научно-техническому прогрессу в известной мере способствует решению социально-лингвистических проблем. Научно-техническая революция в этих странах способна вызвать серьезные изменения не только в материальном производстве, но также в области духовной культуры, поскольку «спутники научно-технической революции» (радио, телевидение, кино, массовая печать) при правильном их использовании могут внести весомый вклад в становление национальных систем народного образования и в повышение общего культурного уровня народа.

Научно-техническая революция в развивающихся странах порождает новые тенденции в языковом развитии. Национальные языки передовых промышленных стран все более распространяются в тех странах, в которых до Второй мировой войны они не использовались (например, английский в Непале и в Эфиопии). При этом наблюдается переориентация языковых контактов, обусловливаемая политической и культурной переориентацией (Иран и Турция, например, имеют сейчас более тесные культурные и языковые связи с англоязычным, а не франкоязычным миром). Меняется отношение к западным языкам в бывших колониальных и полуколониальных странах: не отождествляясь более с языками колониализма, они воспринимаются как языки современной науки, техники и культуры.

4. Языковая политика в условиях современного общественного развития и научно-технической революции осуществляется различными странами мира, исходя из разных методологических, идеологических концепций, с учетом в той или иной мере жизненной потребности в языках международного сотрудничества. Среди них достойное место занимает русский язык как один из наиболее развитых языков мира. Он сочетает функции национального языка, языка межнационального общения народов СССР, языка межгосударственного сотрудничества социалистических стран, а также одного из языков международного общения.

Следуя К. Марксу и Ф. Энгельсу, В. И. Ленин разработал общую теорию развития национальных отношений. Он проявлял величайшую заботу о судьбах больших и малых народов, об их культурах и языках, решительно выступал против подавления культур и языков национальных меньшинств, за всемерное развитие и взаимообогащение больших

и малых наций, их культур и языков. В. И. Ленин был убежденным сторонником политики равноправия народов, их языков и культур.

Целесообразное использование советского опыта культурно-языкового строительства с учетом конкретных местных условий позволяет странам зарубежной Азии, Африки, Латинской Америки и Океании успешно решать задачу овладения достижениями научно-технической революции. Особенно ценным является советский опыт сочетания языкового строительства с приобщением ранее отсталых народов к достижениям мировой культуры и научно-технического прогресса. Реалистическая языковая политика должна отвечать жизненным интересам всех народов и объективным закономерностям развертывания научно-технической революции и ее социальным последствиям. В многонациональном Советском Союзе, где свободно развиваются национальные языки и функционируют русский язык как язык межнационального общения, осуществляется ленинская языковая политика, учитывающая интересы и жизненные потребности каждого народа и всех советских народов вместе взятых.

5. Прогнозирование мирового лингвистического процесса в последней четверти XX в. и в первой половине XXI в. вызывает жизненную необходимость теоретического освещения и практического решения целого ряда весьма актуальных для человечества проблем: на каких языках народы мира будут овладевать непрерывно увеличивающимися достижениями научно-технической революции; как будут развиваться в лингвистическом плане национальные взаимоотношения, посредством каких языков будут расширяться повседневные контакты между народами; в каких масштабах следует планировать развитие, расширение общественных функций различных языков, какие языки следует применять в области начального, среднего и высшего образования, науки, культуры, художественно-эстетического воспитания, научно-технической информации и массовой коммуникации и т. д. Многие из таких вопросов мирового лингвистического процесса уже сейчас требуют своего решения с определенных методологических, теоретических и идеологических позиций. Необходимо всемерно расширять сознательное социальное вмешательство в функционирование, развитие и взаимодействие языков, целесообразно направляя процессы дальнейшего развертывания мирового лингвистического процесса. Возникает социальная потребность научно-технической революции в решении проблемы формализации языка, нуждающейся в комплексной разработке. Предстоит теоретически осветить социальные последствия формализации языка и ее роли в развертывании мирового лингвистического процесса.

Как явствует из изложенного, проблемы языка в нашу эпоху и в будущем нельзя решать, исходя только лишь из узколокальных интересов, без учета современного состояния и перспектив развития человеческого общества. Социальная лингвистика призвана сыграть исключительно важную роль в теоретическом освещении и практическом решении рассмотренных выше проблем. Наиболее общими социально и исторически обусловленными закономерностями функционирования, развития и взаимодействия современных языков в условиях научно-технической революции являются:

1) Выдвижение исторически сложившихся наиболее развитых и распространенных национальных языков в качестве языков международного общения (например, русский, английский, немецкий, французский и некот. др.) и дальнейшее расширение их социальных функций.

2) Превращение наиболее развитых и широко применяемых в многонациональных государствах литературных языков крупнейших наций в языки межнационального общения (например, русский язык в СССР).

3) Языковая жизнь современного человечества развивается в сторону сокращения количества языков, главным образом за счет отмирания бесписьменных языков малочисленных этнографических групп и народностей и постепенного перехода этих групп на литературные языки крупных наций, среди которых они живут. Одновременно увеличивается число литературных языков путем создания письменности для многих ранее бесписьменных народов в процессе образования и развития новых независимых государств в Африке, Азии. Во всем этом проявляется диалектически противоречивый характер современного мирового лингвистического процесса.

4) Усиление контактов между народами мира, взаимовлияния и взаимообогащения их культур обусловливает расширение и углубление процессов взаимовлияния и взаимообогащения наций, народностей, их культур и языков. В этих процессах доминирующую роль играет воздействие наиболее развитых и распространенных языков на языки малочисленных народов с ограниченными социальными функциями. При этом в различных языках мира возникают общие явления, общие термины, общие тенденции, вызванные логикой современного мирового общественного развития.

5) Повсеместное распространение литературных языков благодаря массовой коммуникации: периодической печати, кино, радио, телевидению, а также школе — обусловливает постепенное отмирание территориальных диалектов и говоров (особенно в индустриальных странах).

6) Бурное развитие науки, техники, профессиональная дифференциация производства в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства создали условия для постепенного развития письменных и устных форм литературных языков, которые обладают своими специфическими особенностями в области терминологической лексики, фразеологии, синтаксических конструкций, семантических процессов и стилистических вариаций. Поэтому неправомерно специфические особенности так называемых подъязыков ограничивать терминологической лексикой.

7) Развитие многогранной жизни современного человечества, расширение социальных функций литературных языков обусловливает и внутриструктурное развитие последних. При этом в отличие от процессов формирования и дифференциации языков в древние эпохи и в эпоху феодализма, когда к числу наиболее интенсивно развертывающихся явлений относились фонетические и морфологические изменения, в современный период и в ближайшем будущем внутриструктурное развитие литературных языков будет связано главным образом с лексико-семантическими, синтаксическими и стилистическими системами.

Развитие современной общественной жизни со всеми ее атрибутами, сложными переплетениями национальных, расовых, государственных, политических, экономических, религиозных особенностей, противоречий доказывает, что перечисленные закономерности будут доминирующими в развитии языковой жизни человечества в ближайшем будущем.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

С. И. КОТКОВ

ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТОГРАФИЯ

Обследование говоров русского языка, особенно в плане лингвистической географии, в течение последних трех десятилетий получило широкое развитие. Собраны обширные материалы для «Атласа русских народных говоров», составлены серии диалектологических карт. Однако этот огромный труд научной общественности России еще далеко не завершен: издан всего один том «Атласа», материалы многих карт нуждаются в обобщении и интерпретации, а некоторые итоги картографирования, например средневеликорусских говоров, представляются небесспорными. Необходимость проверки показаний современных говоров как вполне действительных для определенных исторических периодов настоятельно побуждает к интенсивной разработке исторической диалектологии на материале памятников письменности. Изучение рукописного наследия, в особенности из южновеликорусской области, историко-лингвистическое исследование которой только началось, убедительно показывает, насколько рискованно судить о былом лингвистическом состоянии по современным данным.

Отметим несколько таких суждений, оказавшихся в свете новых данных старой русской письменности либо спорными, либо несостоятельными.

Обыкновенно полагали: отличная от *е* фонема *ě* в пределах южновеликорусской области исконно совпадала с *е*. Факты южновеликорусской письменности XVII в. свидетельствуют об ином: и Югу в то время было свойственно отличное от *е* произношение *ě* [1].

Вследствие некритического распространения на московский говор такой особенности средневеликорусского вокализма, как еканье, появление иканья в Москве считали довольно поздним, относили к XVIII и началу XIX в. Между тем его следы определенно документированы в московских текстах XVII и даже XVI в.[2].

Знакомое южновеликорусской среде произношение сочетания *чн* как *шн* иногда объясняют сравнительно недавним влиянием московского говора. Однако в южновеликорусских памятниках XVII в. явление это представлено как свойственное и Югу [3].

Произношение окончания род. ед. имен прилагательных и местоиме-

---

[1] См.: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология), М., 1963, стр. 35—52; В. Н. Сидоров, Из русской исторической фонетики, М., 1969, стр. 24—26.

[2] См.: С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка, М., 1974, стр. 92—97; Е. Ф. Васеко, Фонологическая система московского говора первой половины XVI в. по памятникам деловой письменности. АКД, М., 1973, стр. 19 (автор отмечает в исследованных памятниках «смешение» *ѣ* и *е* с *и*).

[3] См.: С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии, стр. 136—139.

ний с *в* (*светлово* и т. п.) исторически связывают только с Севером. Тексты XVII в., бесспорно локального происхождения, фиксируют подобное произношение и в южновеликорусской области [4].

Конструкцию типа *земля пахать*, известную ныне только Северу, и в историческом плане признают лишь северновеликорусской. По данным памятников XVII в. южновеликорусского происхождения она представляется органической в прошлом и для Юга [5].

Весьма существенны поправки, которые вносят показания памятников в историческую географию слов, намечаемую некоторыми исследователями по данным современных говоров. Например, слова *изба — хата*, *волк — бирюк*, *конь — лошадь*, *лонской — прошлогодний* и др. диалектологи рассматривают как северно- и южновеликорусские противопоставления, притом не только современные, но и исторические. Принимаемые в качестве исторических, в свете данных старой письменности они оказываются несостоятельными [6]. Примеры подобных расхождений между состоянием в наше время и в более или менее отдаленном прошлом можно было бы умножить.

Особенно чувствительны различия между современными и историческими данными в южновеликорусской области, где изменения в составе и размещении населения и в строе народных говоров за последние три — четыре столетия происходили интенсивнее, чем в северновеликорусской.

Становится ясным, что на базе одних современных народных говоров создавать историческую диалектологию русского языка невозможно. Невозможно, следовательно, развивать и такую важную область последней, как историческая диалектография. Если в общем в диалектологии наблюдаются робкие попытки привлечения показаний памятников, то в русской диалектографии к историческим свидетельствам не прибегают. Можно назвать лишь единичные опыты составления лексических карт с учетом и современных данных и данных старой письменности. Это — карты по Архангельской области [7]. Таких карт до двух десятков. В них обрисована география названий участков сенокоса и поля, названий огорода у дома, изгороди из жердей и некот. др. Выбор территории для картографирования оказался на редкость удачным: во-первых, архангельские говоры за последние три-четыре столетия эволюционировали гораздо медленнее, нежели многие другие; во-вторых, архангельская территория представлена значительным количеством текстов XVI—XVII вв., отразивших черты локальной речи. Естественно, эти обстоятельства благоприятствовали сопоставлению современных и исторических фактов. Было установлено, что определенные лексические элементы бытовали в названных пределах не менее трех-четырех столетий. Указанный результат, однако, не единственный: «...в ряде случаев, сопоставляя современные и исторические данные, мы обнаруживаем и движение лексических изоглосс» [8]. В дру-

---

[4] Там же, стр. 188—196.

[5] См.: С. И. Котков, Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров, ИАН ОЛЯ, 1959, 1.

[6] См.: С. И. Котков. Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников, «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», М., 1962, стр. 41—46.

[7] См.: В. Я. Дерягин. Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области, «Этимология. 1966», М., 1968; В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина, Из истории диалектных границ в северной России, ВЯ, 1968, 6; В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина, Из истории и географии финно-угорских заимствований в севернорусских говорах, «Вопросы изучения лексики русских народных говоров», Л., 1972.

[8] В. Я. Дерягин, Изучение истории словарного состава языка по данным деловой письменности, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 143.

гой работе встречаем опыт картографирования исключительно по материалам старой письменности — показано распространение в центральной России названий *плуг* и *соха* [9].

Упомянутые опыты свидетельствуют о том, что создание русской диалектографии, основанной на показаниях памятников,— задача вполне реальная. Предмет ее можно определить как исследование былого состояния языка в лингвогеографическом аспекте, а метод — как извлечение из памятников и затем картографирование лингвистических данных, генетически связанных с речевой культурой, свойственной определенной местности, и относимых в общем к одному времени. Развитие исторической диалектографии может существенно продвинуть познание абсолютной хронологии некоторых явлений русского языка, а вместе с тем и их исторической географии.

Возможность диалектографического изучения русского языка в намеченном плане ограничена той эпохой его существования, которая оставила нам в наследство письменные материалы, отражающие в той или иной степени явления живой локальной речи. Рукописные материалы подобного рода в достаточном объеме сохранились с XVII в. и представляют национальный период развития русского языка. Материалы XV—XVI вв. не столь многочисленны и менее разнообразны, а нередко и не столь определенны с точки зрения диалектной принадлежности. В принципе возможно картографирование данных, извлеченных из древних грамот и летописей, а также церковнославянских текстов, но оно связано с особыми трудностями, поскольку во многих случаях мы имеем дело со списками, в большинстве своем не датированными. Необходима разработка методов соотнесения данных этой письменности с определенными территориями.

Естественно, факты для картографирования могут заимствоваться лишь из текстов, которые вышли из-под пера носителей местных говоров или, в отдельных случаях, из-под пера носителей литературного языка, почему-либо воссоздававших диалектный колорит. О принадлежности писцов к локальной среде свидетельствуют и наименования их по происхождению из данной местности (*курченин*, *воронежец* и т. д.) и проявления в их письме примет локальной речи. Степень проявления этих примет, даже в однородных текстах в черте одного диалекта, в зависимости от выучки писцов может быть различной — от высокой до еле заметной. Поэтому при прочих равных условиях в поисках фактов для картографирования следует ориентироваться прежде всего на тексты менее грамотные.

Рассмотрим письменные источники, которые могут быть использованы в плане исторической диалектографии. Все они, за малыми исключениями,— из круга текстов делового содержания и представляют собой рукописные книги (иногда — тетради) либо столбцы. В значительной части это актовые материалы и, следовательно, датированные и локализованные, а в некоторых группах текстов указываются также их писцы. Наличие в том или ином источнике необходимых для картографирования фактов определяется в главном его содержанием и характером изложения последнего.

Обозрение интересующих нас источников начнем с оптимальных — таких, в которых точно указано, где и когда они написаны, а на местное происхождение писцов указывают следы их диалектной речи и их самоназвания: (писал) *курченин*, (писал) *воронежец* и т. п.

В данной группе источников особенно выделяются отказные книги, к сожалению, историками не изученные, а лингвистам и вовсе не извест-

[9] См.: Н. С. Коткова, Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы, «Русский язык. Источники для его изучения», М., 1971 стр. 209.

ные. Кроме отмеченных выше признаков, оптимальность этих рукописей заключается и в том, что они представляют едва ли не все южновеликорусские и средневеликорусские территории, охватывая XVII столетие, и достаточно обширны — во многих книгах насчитывается по нескольку сот листов, иногда до тысячи и более. Отказными книги именуются потому, что состоят из так называемых «отказов»— особого рода поземельных актов. Обычная схема их такова: в начальных строках сообщается, на основании каких распоряжений (по государевой грамоте и воеводскому наказу), иногда — и по чьему челобитью, должен быть произведен «отказ», или, иначе говоря, отвод, выделение поместных угодий в оклад военнослужилому человеку; затем называется лицо, посылаемое местными властями в уезд с поручением произвести выделение этих угодий; в уезде посланный проводит «обыск», т. е. обследование угодий, о которых идет речь, а потом их «отказывает»— отводит тому, кому они предназначены. Все это происходит при участии свидетелей, «тутошних и сторонних людей». Несмотря на более или менее однородный словарь отказных актов и наличие в них заметной доли оборотов приказного языка, в книгах встречаются лексические диалектизмы, а явления местной фонетики и морфологии проступают в этих источниках относительно свободно и широко [10].

В подобных тематически однородных текстах выступают, к примеру, такие однозначные в смысловом отношении лексические варианты, как *сеножать* и *сенной покос*, *усад*, *усада* и *усадье*, *колодезь*, *речка* и др. Вероятно, в той или иной степени они территориально разграничены. По отказным текстам возможно установить и географию отдельных фонетических явлений, скажем, область распространения *в* билабиального и, напротив, его отсутствия; места неорганического смягчения *к* (*Ванькя* и т. п.) и территорию, где оно не наблюдалось.

Как писанные местными писцами, датированные и локализованные, к оптимальным диалектографическим источникам относятся и сказки, которые дошли до наших дней, к сожалению, в ограниченном количестве фондов и отражают былое состояние языка не в пределах целостных территорий, а в отдельных разрозненных местах и пунктах. Поэтому материалы сказок, в отличие от материалов отказов, не образуют изоглосс и могут быть результативно картографированы лишь в ряду с однородными материалами, извлеченными из иных оптимальных источников. Сказки представляют собой «показания несудебного характера» [11]. Одни из тех, что «сказывали», писали сказки сами, за других, людей неграмотных, писали их родственники и знакомые или грамотеи «со стороны», которые оказывались под рукой. Сказки обыкновенно невелики по объему, разнообразны по содержанию.

Отметим далее поручные записи, так же, как отказы и сказки, писанные местными людьми, датированные и локализованные. Они составлялись в тех случаях, когда определенная группа лиц за кого-либо в чем-либо поручалась. Достоинством их является повсеместность, а недостатком — значительная стандартизованность лексического наполнения. Поэтому названные источники, по всей вероятности, могут дать лишь ограниченные сведения по фонетике и незначительные по морфологии. В качестве датированных и писанных носителями местной речи оптимальны еще служилые кабалы и разного рода памяти, а также купчие, меновные и некоторые другие грамоты, например, так называемые порядные, принадлежащие северодвинским местам. Заметим: указанные источники не образуют обширных серий и с точки зрения территориальной приурочен-

[10] Подробнее об отказах см:. С. И. Котков. Отказные книги, ВЯ, 1969, 1.
[11] См.: «Источниковедение истории СССР», М., 1973, стр. 97.

ности, за исключением разве порядных, не представляют компактных зон.

Наиболее внушительную группу источников, которые могут быть пригодными для диалектографических исследований, составляют рукописные тексты, датированные и локализованные, но не включающие сведений о том, кем они написаны. Локальное происхождение этих текстов устанавливается прежде всего по отражению в них фактов и явлений, характерных для говоров данной местности. Принимается также во внимание и установленное в последнее время и нами и другими исследователями истории русского языка то существенное обстоятельство, что старое периферийное делопроизводство, за вычетом редких случаев, обслуживалось местными писцами [12]. Однако это обстоятельство, при всей его значительности, при уяснении локальной принадлежности текста нельзя рассматривать как решающее, потому что опытные периферийные писцы, владея в общем нормами приказной московской письменности, могли и не дублировать в письме особенно яркие черты живой локальной речи. Необходимо помнить и следующее: не зная, кем именно написан текст, мы можем предполагать в писце носителя не только местного, но и иного говора (при изучении оптимальных источников это, в сущности говоря, настолько маловероятно, что практического значения не имеет). И тем не менее повторяем: показания «анонимных» текстов, в особенности многочисленных, для диалектографических исследований могут быть пригодными.

Среди источников этого рода первостепенными следует признать таможенные и другие приходные и расходные книги XVII в., а также книги XVIII в., упоминаемые в научной литературе как книги Камер-коллегии. Изучение рассматриваемых книг и сопоставление данных их языка и соответственных народных говоров убедительно показывают, что писцы их — носители местной речи [13]. В известной мере непрерывно на протяжении указанного времени эти источники представляют едва ли не всю территорию России. К тому же некоторые из них довольно большого объема: так, книги Камер-коллегии заключают по нескольку сот листов, а отдельные — до тысячи. В таможенных книгах мы находим бесчисленные наименования товаров; в зависимости от характера последних и способов их подвоза, а также в связи с их взвешиванием взимались разнообразные пошлины: «с шерсти» (например, при торговле лошадьми), «полозовое», «причал» и «отчал», «весчее» и др. Вследствие этого в тематическом отношении книги неоднородны; кроме того, наряду с таможенными сборами местные власти записывали и винную прибыль и доходы с мельниц и торговых бань. Нередки в данных книгах и записи всевозможных расходов, производившихся местной администрацией на содержание местных учреждений, кабаков и т. п.

Общее содержание книг раскрывают их заглавия, например: «Книги города Ельца сбору таможенного и кабацкого головы ельчанина Зенона Перцова с товарищи кабацкому доходу, медвеной и винной прибыли и таможенных пошлин и от винных суд покотельщины и у торговой бани банного»— 1629 г. (ЦГАДА. Ф. 210, Разр. вязка 1, № 16); «Книги припойная, винная и явочная, таможенная и пятенная, пошлинная лошадиная в Курске» — 1623—1624 гг. (ЦГАДА. Ф. 210, Ден. стол, кн. 79).

---

[12] См.: С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии, стр. 24—27.

[13] Исследование материалов названных книг получило отражение в работах автора: «Южновеликорусское наречие в XVII столетии»; «Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков», М., 1970; «Таможенные книги Камер-коллегии — источники по истории русского языка», в кн.: «Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова», М., 1972. См. также: Н. С. Коткова, Книги Денежного стола, в кн.: «Источниковедение и история русского языка», М., 1964.

Источники этого круга характеризует обилие предметной лексики, причем значительную часть ее составляют названия материалов и припасов, предметов домашнего и хозяйственного обихода, лошадей и их разнообразных примет.

Для эпохи, отделенной от нас тремя-четырьмя столетиями, таможенные книги документируют бытование в русском языке значительного количества слов общенародного употребления. Отмечаются и некоторые слова, функционировавшие в то время как диалектизмы. Например, по данным таможенных книг возможно было бы картографирование локальных метрологических названий. Не исключается и картографирование явлений местной фонетики.

Необозримо количество челобитных, в огромном большинстве писанных носителями местных говоров — писцами-профессионалами и непрофессионалами, о чем говорят нередкие в этих рукописных текстах отражения локальной речи (прямых сведений о писавших в них мы не находим). Вступительные и заключительные части этих старинных текстов настолько приказно регламентированы, что в рассматриваемом аспекте интереса не представляют. Основное же содержание челобитных, обычно нерегламентированное, необыкновенно разнообразно. Разнообразие содержания определяет и их несомненные достоинства с точки зрения исторической диалектографии и их определенные недостатки с той же точки зрения. Поскольку с разнообразием содержания естественным образом связано разнообразие словарного состава челобитных и, в известной мере, грамматического состава, повторяемость в их основной части тех или иных слов значительно меньшая, нежели в таможенных книгах. Поэтому для лексического картографирования по сравнению с таможенными книгами они представляются менее перспективными. Зато лексико-грамматическое разнообразие благоприятствует более полному отражению фонетических явлений в разных позициях и, следовательно, оптимальному их картографированию.

Также датированными и локализованными и не вполне свободными от местной речи, хотя и неизвестно кем написанными, оказываются некоторые воеводские отписки, десятни[14], ужинные, умолотные и иные сельскохозяйственные книги, а кроме того — грамотки, а порой и расспросные речи.

Для исторической диалектографии в определенной мере можно использовать и тексты, писанные неместными писцами. Таковы прежде всего многочисленные писцовые книги, представляющие огромные территории России и немалый период ее истории — с конца XV в. до XVIII столетия. «Из писцовых книг XVII столетия самым значительным комплексом является комплекс книг, сохранившийся от писцового описания 1624—1628 гг. Писцовые книги этого периода охватывают большинство районов Русского государства и насчитывают сотни экземпляров»[15]. Составлялись они обыкновенно людьми, присланными из Москвы. Книги заключают ценные сведения о разного рода топонимических образованиях. Описывая селения и угодья, их положение и границы, московские писцы вносили в книги соответственные местные названия. Поэтому по данным писцовых книг, воспользовавшись и данными отказных, можно было бы, например, очертить распространение в XVII в. локальных названий *яруга*, *струга*, *болонье* и др.

---

[14] См.: В. В. Юрасова. Фонетические свидетельства десятен, «Вопросы грамматики и лексики русского языка», М., 1973 («Сб. трудов кафедры общего языкознания МГПИ им. В. И. Ленина»).

[15] «Источниковедение истории СССР», стр. 137.

Мы не можем считать обоснованным мнение А. Н. Качалкина, согласно которому «среди деловых документов, составленных на периферии московскими людьми с участием местных жителей, лексически наиболее информативны писцовые книги» [16]. Во-первых, возможны и иные, не менее «информативные» источники, составленные в периферийных условиях также московскими писцами. Во-вторых, установление степени информационности реально только в тех случаях, если имеется в виду не общее лексическое наполнение источника, а определенные лексические группы. Те же самые писцовые книги могут быть достаточно информационными для познания топонимики и, напротив, бесперспективными для изучения других лексических групп. Представляется необоснованным и то решительное недоверие, которое проявляет А. Н. Качалкин по отношению к письменным памятникам локального происхождения. Противопоставляя им писцовые книги, он пишет следующее: «Что касается памятников собственно местного происхождения, то не приходится возлагать большие надежды на любой из них. Из-под пера местного писца появлялось немало документов чисто канцелярского свойства» [17]. Прежде всего напомним: документов, лишенных канцелярского свойства, вообще не существует, а если говорить о писцовых книгах, то именно им это свойство присуще в высшей степени. Сам А. Н. Качалкин наиболее разнообразный лексический материал приводит из приходо-расходных книг и иных источников местного происхождения.

Не касаясь иных источников, которые в той или иной степени могут также оказаться пригодными для исторического картографирования, заметим, что и упомянутых текстов в рукописных фондах нашей страны хранится великое множество.

Необходимость разработки теоретических основ русской исторической диалектографии определяется тем, что ее принципы отличаются от сложившихся в русской диалектологии на базе изучения современных говоров. Исходное различие между диалектографией современных говоров и говоров минувших веков состоит в том, что первая опирается на источники с заданными свойствами, а вторая — на источники объективно сложившиеся [18]. Формирующиеся по особой программе источники с заданными свойствами специально приноровлены к картографированию, а объективно сложившиеся не приноровлены. Если в первых лингвистические данные представлены в научной транскрипции и вследствие этого выступают в своих прямых проявлениях, то во вторых эти данные представлены через призму обычного письма, в значительной мере условного, и потому во многих случаях обнаруживают себя неполно и к тому же не всегда прямым, а порою и косвенным образом (ср. так называемые перестраховочные написания). Поэтому, скажем, фонетические явления, которые согласуются с правописанием, картографированы быть не могут. Например, о наличии оканья в пределах той или иной территории можно заключать лишь по отсутствию в этих пределах аканья. Как видим, в исторической диалектографии возможность нанесения изоглосс определяется не только диалектным, но и орфографическим моментом.

Возможность нанесения изоглосс ограничивается и тем обстоятельством, что нормативность слога московских приказов, оказывая влияние

---

[16] А. Н. Качалкин, Памятники деловой письменности XVII в. как источник исторической лексикологии, ВЯ, 1972, 1, стр. 111.

[17] Там же.

[18] Об источниках с заданными свойствами и объективно сложившихся см.: С. И. Котков, О предмете лингвистического источниковедения, «Источниковедение и история русского языка», стр. 8.

на локальную письменность, порою мешала проявлению в ней следов живой локальной речи.

Источники с заданными свойствами в принципе могут представлять всю территорию русских говоров; источники объективно сложившиеся представляют ее лишь в той степени, в какой сохранились до нашего времени от былых исторических эпох соотносительные с определенными территориальными говорами памятники письменности.

Охарактеризованная специфика материалов, на которых может строиться историческая диалектография, в значительной мере осложняет выделение диалектных данных для картографирования. И выделение этих данных, и обоснование их картографирования в исторической диалектографии, в отличие от современной, должны быть несколько иными. Если в современной диалектографии нанесение тех или иных изоглосс основано на прямой, да еще транскрибированной, фиксации соответственных диалектных явлений, в исторической диалектографии, ввиду известной недостаточности и особого характера материалов, приходится, кроме того, учитывать и косвенные отражения диалектных явлений, а в отдельных случаях удовлетворяться наличием лишь косвенных. Так, устанавливая территорию аканья, едва ли возможно обойтись без привлечения его косвенных отражений в дополнение к прямым; знакомый многим русским говорам γ средствами обычного письма непосредственно не передавался, и область его распространения обрисовывают исключительно косвенные отражения [19].

Типичными для современной диалектографии являются изоглоссы, знаменующие противопоставленность диалектных черт: оканье — аканье, *г* взрывное — *г* фрикативное и т. п.; картографирование непротивопоставленных черт также применяется, однако имеет меньшее значение. В исторической диалектографии установление географического распространения непротивопоставленных черт следует признать не менее важным, нежели противопоставленных. Объясняется это рядом причин, и прежде всего тем, что в обычном русском письме далеко не все диалектные противопоставления получают выражение. Например, различие между оканьем и аканьем в памятниках письменности выступает не как противопоставление одной диалектной черты другой, а как наличие одной и отсутствие другой. То же можно сказать, например, и в отношении известных форм им. мн. от имен существительных среднего рода: характерная для Юга флексия *-ы* (*селы*, *бревны* и т. д.), вопреки традиционной орфографии, проявляется в памятниках письменности, а свойственная многим русским говорам старая форма на *-а* (*села*, *бревна* и т. д.), совпадая с орфографической, себя не обнаруживает; и в этом случае позволительно говорить лишь о наличии форм на *-ы* в определенной диалектной области и об отсутствии форм подобного рода в прочих русских говорах.

Непротивопоставленными оказываются и лексические факты локального характера, значения которых недостаточно явственны. Примером может послужить название *оболонье* (знакомое «Слову о полку Игореве» образование *болонь* толкуется двояко: с одной стороны, как «низкий заливаемый водой берег реки», с другой — как «свободное пространство перед городскими стенами, оставляемое обычно без застройки, чтобы оно могло простреливаться с городских стен» [20]). Четыре века назад *оболонье* бытова-

[19] Но и они нуждаются в дополнительной интерпретации. Например, написания вроде *денех* в условиях средневеликорусских говоров указывают лишь на то, что подобный фрикативный звучал в конце слова, в то время как эти говоры вообще обладали взрывным *г*.

[20] «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве"», 1, сост. В. Л. Виноградова, стр. 59—60.

ло в пределах старой Новгород-Северской земли [21]. С точки зрения истории языка и изучения лексики «Слова» картографирование этого названия представляется оправданным, но вследствие двойственности его семантики наметить зону синонимичного образования, видимо, невозможно.

Внимание к непротивопоставленным фактам и явлениям не только оправданно, но и насущно необходимо. Они непротивопоставлены в плане территориального размещения в одно и то же время, но хронологически могут оказаться противопоставленными, что обнаруживается в результате сравнения соотносимых карт, составленных по данным современных говоров и соответствующих памятников. Возможность подобного сравнения повышает значение картографирования и современных непротивопоставленных фактов и явлений. Например, по современным данным в южновеликорусской области в широком употреблении слово *хата*, одновременно бытует и *изба*, но преимущественно в северных районах и в черте лесного запада. А материалы XVII в. той же территории, не давая сведений о *хате*, убедительно свидетельствуют о том, что в речевом обиходе южновеликорусов была только *изба* [22]. Картографирование этих фактов могло бы наглядно показать вытеснение в значительных пределах южновеликорусской области слова *изба* украинским *хата* за последние два с половиной века.

Картографирование непротивопоставленных фактов имеет особенно большое значение в тех нередких случаях, когда в результате поспешных заключений, основанных на ограниченных материалах, тем или иным историческим фактам приписывается в качестве бесспорной далеко не полная география, откуда следуют ошибочные выводы об их генетической принадлежности либо северно-, либо южновеликорусскому наречию, между тем как более обстоятельное исследование памятников письменности делового содержания позволяет квалифицировать эти факты как факты большего территориального распространения или даже общерусские. Так, появление в XVII в. в деловой письменности глагола *бросать* со значением «кидать, метать» в генетическом плане были склонны связывать с Новгородско-Псковскою землей [23]. По новым рукописным данным глагол *бросать* в то же самое время известен был и иным областям России — южным и центральным. В генетически северновеликорусские зачисляют, например, образования *выть* «доля, часть» и *клеть*, *кулига*, *пожня*, *лонской*, *лонись* и некоторые другие, хотя материалы XVII в. показывают их употребление и в более южных местах. Напротив, признаваемые специфически южновеликорусскими известные образования *корец* и *ночвы*, по свидетельствам старинных рукописей, оказываются свойственными и говорам средневеликорусской полосы [24].

Отдельные факты и явления, ныне диалектные, в прошлом могли функционировать как общерусские. Сравнение их былой географии с географией современной может дать наглядное представление об исторических изменениях в их судьбе. Этим и обусловливается целесообразность картографирования подобных фактов и явлений в их общерусском распространении. Возможность указанного сравнения выводит показания со-

---

[21] См.: С. И. Котков, Из старых южновеликорусских параллелей к лексике «Слова о полку Игореве», ТОДРЛ, XVII, 1961, стр. 65—67.

[22] См.: С. И. Котков, Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южновеликорусских памятников, «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», стр. 42—43.

[23] См.: П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии, М., 1956, стр. 186—188.

[24] См.: С. И. Котков, Н. Ф. Савченко, Монастырские фонды рукописей во Владимирском областном архиве (XVII — нач. XVIII в.), «Изучение русского языка и источниковедение», М., 1969, стр. 216.

временных карт за рамки синхронных противопоставлений и включает их в сферу диахронных.

Историческая диалектография, в отличие от современной, допускает более широкую в хронологическом отношении сопоставимость лингвистических фактов и явлений, позволяя, к примеру, картографировать как свойственные одному временно́му срезу отражения в деловой письменности лингвистических фактов и явлений, принадлежащие к разным десятилетиям XVII в. Обусловливается это определенными причинами. Основная из них — меньшая интенсивность исторической эволюции диалектов в сравнении с современной. Другая причина — количественная ограниченность разных фактов, которые могут быть сопоставлены в пределах узкого временно́го среза, что объясняется и количественной недостаточностью источников, и далеко не полным отражением в них, в силу различных обстоятельств, этих фактов.

Материалы, которые могут служить основанием для составления карт, рисующих былое состояние говоров, гораздо более разнородны, нежели те, на основе которых создаются современные диалектологические карты. Вопросы их систематизации в более или менее унифицированном виде, с точной и краткой регистрацией источников, требуют специальной разработки. Полагаем, что развитие исследований в области русской исторической диалектографии не останется узкодиалектологическим, а существенным образом повлияет на изучение истории языка в целом, в том числе и литературного.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

Л. И. БАРАННИКОВА

ГОВОРЫ ТЕРРИТОРИЙ ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

Даже беглый взгляд на карту показывает обширность территорий, на которых русские говоры появились после завершения (полного или частичного) процесса формирования языка русской народности, а в ряде случаев и процесса формирования национального русского языка. Заселение этих территорий проходило в разное время и разными путями, переселенцы были выходцами из различных районов и в новых местах оказывались далеко не в одинаковых условиях. Все это не могло не вызвать значительных различий в развитии говоров на новых территориях. В то же время складывается и ряд общих закономерностей в образовании и развитии этих говоров.

Прежде всего, это говоры вторичного образования, формирование их развертывается на базе уже сложившихся диалектных типов. Во-вторых, исходная основа этих говоров, с которой начинается развитие говоров на новом месте, существенно отличается от основы первичных говоров. Это или разнодиалектная основа, или монодиалектная, но изолированная, находящаяся в окружении других говоров. В-третьих, формирование говоров территорий позднего заселения развертывается в условиях интенсивных междиалектных, а часто и межъязыковых контактов. В-четвертых, экстралингвистические факторы, влияющие на формирование говоров территорий позднего заселения, отличаются большим разнообразием и в ряде случаев оказывают на формирование говоров большее влияние, чем то, которое отмечается на исконных территориях. В-пятых, формирование вторичных говоров происходит в сравнительно поздний период, следовательно, влияние литературного языка оказывается более значительным.

Этот перечень факторов, влияющих на специфику формирования и развития говоров территорий позднего заселения, очевидно, можно продолжить, но думается, что и он достаточно ясно показывает сложность вопроса о статусе вторичных говоров и их классификации.

О каких говорах идет речь, если имеются в виду говоры территорий позднего заселения? Можно ли объединять, скажем, говоры Волго-Камья, Дона, Урала, Сибири, Поволжья, островные русские поселения в Эстонии? Как квалифицировать говоры старожилов и новоселов в Сибири, говоры разных переселенческих волн в Поволжье, Приуралье и т. д.? Не случайно до сих пор нет единой терминологии. Говорят о переселенческих говорах, говорах поздней формации (или позднего образования), вторичных говорах, островных говорах и т. д. Не всегда ясно, когда за этими обозначениями скрываются действительные различия между разными типами говоров, а когда это лишь расхождения в обозначениях.

Изучение говоров территорий позднего заселения началось давно, но вопрос о их типологии остро встал лишь в последнее время, когда накопился достаточный материал для необходимых обобщений и выводов и по-

явилась настоятельная необходимость в таких обобщениях для успеха дальнейших исследований .

Сейчас вряд ли можно построить обоснованную классификацию говоров территорий позднего заселения, так как в науке еще нет их полного описания, сделанного на основе общих единых принципов. Но нам кажется, что можно уже выдвинуть и подвергнуть обсуждению некоторые исходные принципы для такой классификации.

Особенности формирования и развития переселенческих говоров территорий позднего заселения (пока будем условно называть их так) определяют необходимость двоякого подхода к их классификации. При выделении типов говоров необходим учет не только их системно-структурных особенностей, но и экстралингвистических факторов.

I. Наиболее существенными экстралингвистическими факторами представляются следующие.

1. Время переселения носителей говора. Этот фактор важен в двух отношениях: он показывает продолжительность функционирования говора в новых условиях и помогает установить характер говора первопоселенцев, степень его устойчивости, степень обособления от других говоров и т. д. В ряде случаев знание времени переселения помогает выявить некоторые диалектные черты, которые принесли с собой переселенцы [2]. Учитывая это, можно выделить три группы говоров в зависимости от времени их появления на новой территории. Здесь важна не столько абсолютная хронология, сколько относительная — следует иметь в виду характер отношений между языком и диалектами, особенности социально-исторических условий функционирования диалектов, т. е. в конечном счете этапы развития общенародного языка — донациональный или национальный.

К первой группе могут быть отнесены говоры, складывающиеся на территориях, заселявшихся вскоре после образования русского языка в его донациональной форме, т. е. в XVI—XVII вв.[3]. В отличие от говоров других групп назовем данные говоры ранними переселенческими говорами. Условия развития таких говоров во многих отношениях близки к условиям развития говоров на основных территориях формирования русского языка. Но отличия, конечно, есть: говоры первопоселенцев могли быть изначально неоднородны.

Ко второй группе, за которой удобно закрепить название «переселенческие говоры», могут быть причислены говоры, начало формирования которых относится к XVIII—XIX вв., т. е. ко времени после сложения национального русского языка. Условия развития таких говоров весьма заметно отличаются от условий развития говоров первого типа и особенно говоров территорий исконного (первичного) заселения. Такие говоры редко представлены большими однородными массивами, а если такие массивы и встречаются, то в них обычно бывают вкраплены островки говоров иного типа. Примером могут быть многочисленные говоры Среднего и Нижнего Поволжья. Это порождает интенсивность процесса междиалектного контактирования. В то же время воздействие других говоров ограничивается фактом влияния литературного языка или просторечия.

---

[1] Попытки теоретико-типологического осмысления материала успешно делаются нашими сибирскими коллегами, но лишь применительно к говорам Сибири; в других местах они также делаются в применении к соответствующим местным говорам. Думается, что целесообразно поставить эти вопросы в более широком плане (см. работы В. В. Палагиной и др. в сб. «Вопросы языкознания и сибирской диалектологии», 1—3, 1971—1973).

[2] Исследования подобного типа интенсивно ведутся в Томске.

[3] См.: Л. И. Баранникова, О некоторых особенностях развития диалектов территорий позднего заселения, сб. «Язык и общество», 1, Саратов, 1967.

Если в первом случае в процессе взаимовлияния говоров ведущая роль принадлежала говорам, носители которых характеризовались численным или социально-экономическим превосходством (влияние вольных поселенцев на крепостных, жителей крупных сел на мелкие и т. п.), то теперь наряду с продолжающимся действием этого фактора вступает в силу и новый — близость к общенародным формам реализации языковой системы. На первых порах это прежде всего близость к «городской речи», т. е. городскому просторечию, поскольку влияние литературного языка ощущается еще слабо. Отсюда относительно большая устойчивость говоров среднерусского типа даже там, где они не являлись господствующими [4].

К третьей группе, которую удобно называть поздними переселенческими говорами, следует отнести говоры, формирование которых начинается в конце XIX — начале XX в., т. е. в период уже достаточно интенсивно развернувшегося процесса распада диалектов, утраты ими своих наиболее специфических признаков. Такие говоры известны на разных территориях, но особенно характерны они для Саратовского Заволжья, Южного Приуралья; очевидно, к ним же можно отнести ряд говоров новоселов Сибири. Условия развития таких говоров особенно сложны и противоречивы, их классификация особенно трудна.

Возникает вопрос о том, как квалифицировать случаи формирования новых говоров в наше время. Думается, что применительно к современным случаям такого рода уже не следует говорить о формировании диалектов. В современных условиях идет развитие разного типа переходных явлений, формируются языковые койне, территориальные варианты просторечия, может быть, полудиалекты, но не диалекты в прежнем смысле слова.

2. Характер переселения. При классификации говоров по этому признаку необходимо различать: а) одновременность — разновременность переселения, б) массовость — единичность его.

При изучении переселенческих говоров разного типа часто отмечается, что они связаны с массовыми переселениями больших групп; особенно характерно это для переселенческих говоров второго периода. Так складывались, например, южнорусские говоры Новоузенского р-на Саратовской обл., куда в конце XVIII — самом начале XIX в. переселились большие группы крестьян из южных малоземельных губерний. Массовое переселение обычно порождает однородность диалектной основы. Единичные переселения, к которым мы относим и переселения небольших групп, очень характерны для позднего периода, но возможны и при ранних переселениях.

Массовые переселения, как правило, бывают относительно одновременными; впоследствии к ним присоединяются единичные переселенцы, но на сложение переселенческих говоров это обычно оказывает мало влияния.

Признаки массовости и одновременности обычно бывают связаны и с причинами переселения. Так, насильственные переселения помещичьих крестьян чаще были массовыми, связанными с переводом крепостных на вновь пожалованные «дикопорожние» земли. Такими, например, были переселения крестьян на территории теперешних Пензенской и Саратовской обл.[5]. Такой же характер носили и официальные переселения госу-

[4] Подобное положение хорошо иллюстрируется судьбой севернорусских по происхождению говоров северной части Сердобского района Пензенской области («Куракинский массив»). См. об этом: Л. И. Баранникова, Севернорусские элементы в говорах северо-западной части Сердобского района Пензенской области, «Уч. зап. Саратов, ун-та», филолог. фак-т, XX, 1948.

[5] См., например: Ю. А. Кузнецова, К истории колонизации Саратовского уезда, «Труды Нижневолжского научного общества краеведения», 35, ч. 2, Саратов, 1931.

дарственных крестьян. Наоборот, неофициальные самовольные переселения, тем более переселения «беглых» крестьян, как правило, были единичными. Лишь самовольные переселения крестьян-старообрядцев зачастую были массовыми (таковы, например, старообрядческие поселения по реке Большой Иргиз в Среднем Заволжье).

3. Характер отношений с окружающим населением. Переселение, как правило, происходило не на пустующие, а на уже заселенные земли, с коренным населением которых (или населением, появившимся ранее) у переселенцев складываются различные отношения. Крайними точками, характеризующими эти отношения, могла быть полная (или почти полная) изолированность или, наоборот, тесная связь. Между ними существовала многоступенчатая система более или менее тесной связи. Изолированность наблюдалась в случаях, когда переселенцы в каком-то отношении были существенно противопоставлены окружающему населению (религиозные, экономические, социальные и прочие отношения). Таким могло быть положение переселенцев-старообрядцев в окружении нестарообрядческих сел в степных районах Саратовского Заволжья и, наоборот, положение переселенцев-нестарообрядцев в окружении старообрядческих поселений там же в прииргизской полосе (по рекам Большой и Малый Иргиз). Естественно, что степень связи с окружающим населением сказывалась на развитии говора.

Отношения с окружающим населением могли быть равноправными или неравноправными. Неравноправность имела различные степени своего проявления. Она наблюдалась значительно чаще и обычно порождала стремление подражать престижным группам населения. (Таковы известные в диалектологии случаи подражания однодворцам, подражание неказачьего населения казачьему в говорах по течению реки Урал и т. п.).

Своеобразным вариантом этого являлось отсутствие — наличие интенсивных связей с ближайшим городом или крупными населенными пунктами. Наличие таких связей обычно приводило к влиянию на говор переселенцев городского просторечия. Видимо, следует учитывать и условия, способствовавшие или препятствовавшие влиянию литературного языка, но это не было специфическим для переселенческих говоров и могло выступать квалифицирующим моментом для любых говоров.

Выделенные классифицирующие признаки взаимозависимы и тесно связаны друг с другом. Все эти признаки получают отражение в лингвистических особенностях переселенческих говоров.

II. Второй комплекс классифицирующих признаков является собственно лингвистическим.

1. Характер диалектной основы проявляется в степени однородности ее в говоре переселенцев. С этой точки зрения, как нам кажется, можно выделить три типа говоров.

Носители говоров с монодиалектной основой были переселенцами из одного или группы пунктов с однотипными или близкими, родственными говорами. Такой однородностью основ характеризуются говоры в селах Бартеньевке, Николаевке, Ишковке Саратовской обл. Население этих сел пришло из Курской обл., из ее районов, говоры которых характеризовались щигровскими типом яканья. Очевидно, о монодиалектной основе можно говорить применительно к некоторым сибирским говорам, например, окающим красноярским, омским [6], к ряду говоров Волго-Камья и др.

К другому типу должны быть отнесены говоры с бидиалектной

[6] См.: В. В. Палагина, Реконструкция исходного состояния вторичного говора (на материале томского говора). ДД, Томск, 1973.

или полидиалектной основой. Носители таких говоров переселялись из разных мест, были носителями разных типов говоров. В этих случаях наблюдатели иногда обнаруживают в одном пункте еще сохранившиеся два разных говора [7], но чаще отмечается наличие уже единого говора, в котором еще ощущались различия в исходных основах. В диалектологии широко известны случаи различий в говорах разных частей («концов») сел. Чаще описываются говоры с бидиалектной основой, но, по-видимому, возможны и более сложные по диалектной основе говоры. Естественно, что степень проявления разных исходных основ говора может быть весьма различной, и далеко не всегда бидиалектность основы обнаруживается отчетливо.

Говоры с бидиалектными основами часто наблюдаются в крупных селах Заволжья (например, южнорусский говор с. Толстовки Пугачевского р-на Саратовской обл., в основе которого отчетливо проступает два разных типа южнорусских говора — рязанский, и, по-видимому, тульский), в ряде поселений новоселов в Сибири (например, отдельные села Кемеровской обл.).

От этого типа, очевидно, следует отличать переселенческие говоры, диалектная основа которых не может быть выделена или в силу их большой первоначальной пестроты, или из-за значительных изменений, происшедших в период их бытования на новой территории. Такие говоры могут быть названы говорами со смешанной или затемненной основой. Они встречаются как среди ранних, так и среди поздних переселенческих говоров. Примером первых может быть томский говор в Сибири, в котором, по мнению В. В. Палагиной, уже «в его изначальном состоянии были заложены разнодиалектные черты, принесенные в Сибирь носителями севернорусских, среднерусских (главным образом, московского) и южнорусских говоров» [8]. Примером вторых — многие поздние переселенческие говоры заволжских сел (например, сел Новоренного, Орлова Гая Ершовского р-на Саратовской обл.).

2. Характер соотношения основ взаимодействующих говоров. Этот признак выражается прежде всего как однородность — неоднородность диалектной основы говора переселенцев и окружающих говоров, причем степень неоднородности может быть различной — от частных расхождений на уровне говоров до существенных отличий на уровне диалектных групп и наречий. Переселенческий говор может попадать и в иноязычное окружение. Таким образом, по характеру отношений с окружающими языковыми или диалектными единицами можно говорить о трех типах отношений, в которых оказываются переселенческие говоры (имеются в виду все три их типа): а) диалектная однотипность говоров, б) диалектная разнотипность говоров, в) наличие иноязычного окружения.

Эти отношения редко бывают представлены в чистом виде. Лишь в случае ранних переселенческих говоров при массовом переселении часто бывает представлена значительная однородность говоров. Характернее для переселенческих говоров диалектная разнотипность, осложненная иноязычным окружением. В то же время часть соседних говоров может оказаться диалектно однотипной.

Показательна в этом отношении картина приузенских говоров в Саратовском Заволжье (южная часть бывшего Новоузенского уезда Самар-

[7] См.: А. Н. Гвоздев, Два говора одного села (село Канаевка Городищенского района Пензенской области), сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии», 2, М., 1949.

[8] В. В. Палагина, Реконструкция исходного состояния вторичного говора. АДД, Новосибирск, 1973, стр. 22.

ской губернии). Переселенческие говоры на этой территории появляются в конце XVIII — начале XIX в. В основном это переселенцы из юго-восточных губерний, т. е. носители восточной группы южнорусского наречия. Говоры старых крупных сел — Крепости Узень, Куриловки, Чертанлы (теперешний город Новоузенск) — диалектно однородны, но в их окружении оказались возникшие примерно в то же время поселения со среднерусскими говорами (дер. Мироновка), украинскими (села по р. Еруслану) и татарскими говорами (Алтата и соседние пункты)[9]. По мере продвижения заселения на юг носители южнорусских говоров оказались в непосредственном соседстве с носителями казахского языка. Аналогичное положение отмечается в русских говорах на территории Башкирии и в ряде районов Сибири, где сложность положения усиливается соседством говоров старожилов и новоселов.

3. Характер отношения с материнскими говорами. Этот признак принадлежит к числу важнейших, но и наиболее трудно выявляемых, так как диалектную систему материнских говоров удается установить далеко не всегда. Даже при монодиалектной основе переселенческого говора не всегда убедительно его восстановление; современное состояние материнских говоров может не отражать их состояния в момент, когда произошло переселение. В принципе переселенческий говор всегда отличается от материнского, так как оказывается в иных условиях, которые не могут не влиять на его развитие. Но степень различия может быть разной. В связи с этим представляется возможным выделять переселенческие первичные и вторичные говоры. К первым мы относим переселенческие говоры, сохранившие в основных чертах свой исходный диалектный тип. Ко вторым — говоры, претерпевшие значительные изменения.

В качестве примера первых можно назвать южнорусские говоры Новоузенского р-на Саратовской обл., сохранившие основные черты восточной группы южнорусских говоров, многие говоры Оренбуржья, также сохранившие восточную южнорусскую основу. По данным Т. А. Хмелевской, к этому типу следует отнести и большинство донских говоров[10]. Примером говоров второго типа могут быть многочисленные старожильческие говоры Сибири[11], отдельные говоры Дона[12], отдельные южнорусские говоры Заволжья (говоры некоторых прииргизских сел и т. п.).

Первичные переселенческие говоры чаще всего составляют целостный массив, хотя возможно и устойчивое сохранение старой основы отдельными островными говорами. Но наблюдается это обычно в говорах недавних переселенцев, т. е. в поздних переселенческих говорах. Например, в говоре поселка Савушкин в Саратовском Заволжье, население которого пришло в начале XX в. из дер. Сядемки Пензенской обл., сохранился устойчивый комплекс черт материнского говора[13].

Время переселения имеет большое значение для образования первичных или вторичных переселенческих говоров. Естественно, для образо-

---

[9] См.: «Сборник статистических сведений по Самарской губернии», VI, Самара, 1889.

[10] См.: Т. А. Хмелевская, Русские говоры Дона и их место в системе южнорусского наречия. АДД, М., 1970, стр. 29.

[11] См., например: В. В. Палагина, Томский говор в его отношении к говорам Европейской части Союза, сб. «Вопросы языкознания и сибирской диалектологии», 3, Томск, 1973. См. также описание других старожильческих говоров в работах сибирских диалектологов.

[12] Т. А. Хмелевская, указ. соч., стр. 28.

[13] См. описание говора дер. Сядемки в работе: А. Н. Гвоздев, Говор западной части Вадского района Пензенской области, «Уч. зап. Куйбышевск. пед. ин-та», 5, 1942.

вания вторичных говоров требуется более длительный период их бытования на новой территории. Не менее важен и характер отношений носителей переселенческих говоров с исконным населением или более ранними переселенцами. Таким образом, в складывании переселенческих говоров первичного или вторичного типа сказывается роль экстралингвистических факторов в судьбе переселенческих говоров.

Наличие первичных или вторичных переселенческих говоров зависит и от характера диалектной основы. У говора с монодиалектной основой больше шансов остаться на положении первичного говора, чем у говора с бидиалектной или смешанной основой. В последнем случае скорее произойдут изменения, трансформация говора. Важна и степень близости диалектной основы переселенческого говора к литературному языку. Общеизвестно, что среднерусские по основе говоры подвергаются меньшим изменениям, чем говоры других диалектных типов. Показательны в этом отношении среднерусские говоры прииргизских сел в Саратовском Заволжье.

4. Характер развивающегося вторичного говора. Далеко не всегда вторичный говор выступает как говор с четкой диалектной основой. Очень часто он имеет характер переходного, а иногда и смешанного говора. Понятие переходного и смешанного говора выдвинуто в диалектологии давно. О них говорилось в комментариях к первой Диалектологической карте русского языка [14]. Затем внимание к выделению таких типов говоров несколько ослабело, возможно, в связи с изучением прежде всего говоров территорий первичного заселения. Понятие смешанного говора стало подвергаться сомнению, а понятие переходного говора чаще всего ассоциировалось с говорами среднерусскими. Думается, что в применении к переселенческим говорам понятие переходных и смешанных говоров остается актуальным.

Под переходными говорами, вслед за Н. Н. Дурново и др., обычно понимают такие говоры, диалектная основа которых проступает отчетливо и при этом наблюдается закономерное изменение диалектной системы в сторону говора иного типа или литературного языка. В таком говоре отчетливо проступает исходная система и ее изменения. Смешанными говорами называют такие, в которых не представляется возможным выделить определенную основу, в которых наблюдается не закономерный переход одних единиц в другие, а смешение отдельных целостных разносистемных вариантов.

Такое понимание должно быть уточнено посредством характеристики типов вариантов, свойственных переходным и смешанным говорам. Вариантность — важное свойство языковых и диалектных систем, типы вариантов весьма разнообразны и могут служить существенным показателем при классификации диалектных систем. Среди различных противопоставленных типов вариантов [15] существенно противопоставление свободных, или необусловленных, и ограниченных, или обусловленных, вариантов. Ограничение, или обусловленность вариантов может определяться позицией, т. е. структурными особенностями, или спецификой употребления, зависимостью от коммуникативной заданности речи, т. е. особенностями функционирования.

Позиционная обусловленность проявляется, например, в зависимости вариантов гласных первого предударного слога *о* и не *-о* от характера

[14] См.: «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, с приложением Очерка русской диалектологии», сост. Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым, «Труды МДК», 5.

[15] См.: Л. И. Баранникова, О вариантных единицах диалектных систем, сб. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков», М., 1970.

ударенного гласного в некоторых говорах, утрачивающих оканье; в соотношении произношения с γ в интервокальном положении и взрывным *г* в остальных позициях в говорах, где фрикативное γ утрачивается или, наоборот, приобретается под влиянием соседних говоров [16], и т. п.

Функциональная обусловленность проявляется в выборе того или иного варианта в зависимости от собеседника (стремление избегать местных диалектных форм в беседе с человеком из города и свободное их употребление в беседе с односельчанами), обстановки, в которой развертывается общение (предпочтение недиалектных форм во время беседы в правлении колхоза, в сельсовете и т. п.), характера речи (разница в выборе вариантов при официальной и непринужденной бытовой речи) и т. п. [17].

Функциональные варианты могут быть и в говорах переходных и в говорах смешанных, так как они зависят не от собственно лингвистических свойств говора, а от особенностей его функционирования. Позиционные варианты, в которых употребление языковых единиц подчинено определенным закономерностям системно-структурного порядка, возможны лишь в переходных говорах, ибо развитие новых отношений языковых единиц, подчиненных новым позиционным закономерностям и есть показатель начавшегося процесса перехода говора к новому типу.

Свободные варианты являются характерным признаком смешанных говоров. В единичных случаях как факультативные варианты они возможны и в устойчивых, и в переходных говорах (например, единичные случаи аканья в окающих говорах), но для таких говоров они не характерны, случайны и обычно могут быть объяснены теми или иными специфическими для каждого отдельного случая причинами.

Факторы, определяющие развитие в одном случае переходного, в другом — смешанного говора, относятся и к лингвистическим (характер взаимодействующих говоров), и к экстралингвистическим (условия развития говоров), что вновь подчеркивает их связь в развитии языка.

5. В качестве заключительного признака следует назвать диалектную принадлежность говора. Этот классификационный признак наиболее далек от экстралингвистических моментов, но все же не полностью: то, с какой диалектной территории шло переселение, определяется экстралингвистическими причинами.

Встает вопрос, насколько диалектные типы переселенческих говоров соответствуют диалектным типам исконной русской территории. В какой степени при классификации переселенческих говоров следует опираться на типологию говоров исконной территории и возможно ли наличие своих особых диалектных типов, свойственных говорам территорий позднего заселения?

Думается, что в основе выделения диалектных типов переселенческих говоров должны лежать типы, выделенные для исконной территории распространения русского языка. Первичные переселенческие говоры, очевидно, имеют достаточно полное соотношение с этими типами. Вторичные переселенческие говоры не дают столь отчетливого соотношения с диалектными типами исконной территории, но в основных, определяющих чертах такое соотношение сохраняется. Ведь в диалектных типах получили реализацию ведущие черты, общие особенности диалектной системы русского языка, и соответствие с ними вновь складывающихся говоров

[16] См.: А. Б. Пеньковский, О некоторых закономерностях звуковых замен при взаимодействии диалектов (в связи с вытеснением севернорусского взрывного *г* фрикативным γ в южнорусском окружении), сб. «Очерки по фонетике севернорусских говоров», М., 1967.

[17] Подробнее об этом см.: Л. И. Баранникова, Русские народные говоры в советский период, Саратов, 1967, гл. 1, § 5 и др.

естественно. Однако если всегда возможно установить соответствие с наречием, чаще всего и с диалектной зоной, то далеко не всегда возможно установить такое соответствие с определенной диалектной группой. И это опять-таки закономерно. Группы выделяются на основе комплекса отдельных, далеко не всегда взаимосвязанных черт, находящихся не в отношениях интерденденции или детерминированности, а в отношениях свободного соответствия: наличие одной черты далеко не всегда детерминировано другими чертами [18]. Поэтому правомерно ожидать появления иных комбинаций диалектных черт, иного их комплекса. Следовательно, на территории позднего заселения теоретически можно ожидать сложения новых диалектных групп с особыми комплексами характеризующих их признаков, выступающих здесь в иных комбинациях сравнительно с другими диалектами русского языка.

Действительно, в описаниях некоторых донских, сибирских, уральских говоров отмечается своеобразие в сочетании характерных для них диалектных особенностей. Так, Т. А. Хмелевская в итогах анализа фонетики донских говоров выделяет некоторые говоры, которые «не соотносятся ни с одной из групп первичных говоров южного наречия» [19]. В то же время проведенный ею анализ фонетической системы донских говоров не обнаружил явлений, которые не имели бы места в тех или иных говорах территории раннего заселения. Даже наличие особого донского типа диссимилятивного яканья исследовательница ставит под сомнение, считая его «одной из ступеней распада суджанского диссимилятивного яканья» [20]. Своеобразным оказывается и выделенный О. Н. Киселевой комплекс морфологических черт для кетских говоров (Томская область) [21]. Аналогичное соотношение их не обнаруживается в основных диалектных группах исконной территории. Подобное положение наблюдается в ряде среднерусских вторичных говоров Саратовского Правобережья.

Материалы показывают, что в процессе развития переселенческих говоров возможно появление черт, внешне аналогичных явлениям, наблюдающимся в исконных говорах, но генетически не совпадающих с ними. Примером может быть предударный вокализм. В процессе его развития в говорах поздней формации порой возникают явления, аналогичные отношениям, существующим в старых говорах. Так, в Поволжье наблюдаются говоры, в которых при разрушении ассимилятивно-диссимилятивного яканья ассимилятивность утрачивается раньше, чем диссимилятивность, т. е. произношение гласных типа *а* в первом предударном слоге чаще заменяется вариантом не-*а* в положении перед гласными нижнего подъема, чем перед гласными верхнего подъема. Так, в некоторых новоузенских говорах чаще отмечается *с'им'já*, *м'ин'áт'*, *т'ир'áл*, *ст'ип'áх* (и даже *в'исна́*, *з'ирна́*), чем *н'ис'и́*, *д'ис'ит'и́*, *с'им'ји́*. Появляется как бы вторичная диссимилятивность, генетически отличная от диссимилятивности говоров исконной территории формирования русского языка.

Видимо, особое происхождение имеет и широко распространенное в приуральских и сибирских говорах явление соканья и шоканья. Даже если считать это этапом перехода от цоканья к различению аффрикат, то широкое распространение именно такого пути не может не быть поставлено в связь с влиянием на переселенческие говоры языков коренного

---

[18] См. характеристику отдельных диалектных групп и перечень их признаков в «Русской диалектологии» под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой (М., 1964).

[19] Т. А. Хмелевская, Русские говоры Дона и их место в системе южнорусского наречия, стр. 28.

[20] Там же, стр. 20.

[21] О. Н. Киселева, Морфологическая система русских старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби. АКД, Томск, 1968.

населения. В отдельных же случаях можно предполагать появление соканья и шоканья вне зависимости от утраты цоканья. Такую внешнюю идентичность явлений при их генетическом различии нельзя не учитывать при сопоставлении переселенческих говоров с говорами исконных территорий.

Нельзя забывать и того обстоятельства, что формирование переселенческих говоров происходило в период, когда процесс диалектообразования в основном уже был завершен.

Все сказанное позволяет считать, что формирование диалектов с комплексом черт, отличных от комплекса черт в группах говоров основной территории, на территории позднего заселения возможно, но может происходить, по-видимому, лишь в ранних переселенческих говорах при наличии соответствующих языковых (характер диалектной основы, соотношение ее с окружающими и материнскими говорами) и внеязыковых (время переселения, его характер, особенности бытования переселенцев на новой территории) условий. Поэтому вполне возможно и необходимо сопоставление диалектов территорий позднего заселения с наречиями и диалектными зонами, но часто оно невозможно по отношению к группам говоров Специфика говоров территорий позднего заселения побуждает обратиться к выяснению соотношений диалектных типов переселенческих говоров с диалектными типами межзональных групп (чаще имеет место сопоставление их с основными группами).

В заключение необходимо подчеркнуть, что при классификации переселенческих говоров учет совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов необходим в значительно большей степени, чем при классификации говоров исконной территории.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

И. М. ОРАНСКИЙ

О СООТНОШЕНИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ЯЗЫКА С ПЕРИОДИЗАЦИЕЙ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ

(На материале истории иранских языков)

Вопрос, сформулированный в заголовке настоящей статьи, неизбежно возникает у каждого лингвиста, занимающегося историей языка (языков) с длительной письменной традицией. Особое значение имеет этот вопрос для историка иранской языковой семьи — языковой семьи, развитие которой засвидетельствовано подлинными письменными памятниками на протяжении огромного исторического периода. История иранских языков как самостоятельной языковой группы начинается с периода обособления, выделения иранских диалектов из арийской языковой общности, т. е. не позднее первой половины II тыс. до н. э.[1], и насчитывает таким образом во всяком случае около четырех тысячелетий. Два с половиной тысячелетия этой истории (начиная с середины VI в. до н. э.— времени составления древнеперсидских клинообразных надписей — первых точно датированных иранских текстов) зафиксированы памятниками иранoязычной письменности.

Разумеется, письменные памятники, отражающие развитие иранских языков на протяжении этого 25-векового исторического периода, распределены во времени весьма неравномерно. Если отдельные языки в отдельные периоды их развития представлены большим числом памятников, притом памятников различных жанров (поэзия, проза, научная литература, административно-хозяйственные документы и т. д.), то о других языках и других периодах приходится порой судить лишь по одному единственному случайно сохранившемуся и нередко фрагментарному документу. Длительные периоды в истории отдельных иранских языков вообще не зафиксированы никакими памятниками письменности, и эти лакуны в документации охватывают порою целое тысячелетие — отрезок времени, в который легко укладывается вся история многих отнюдь не младописьменных языков. Уже одно только это обстоятельство привязывает в значительной степени периодизацию истории иранских языков к периодизации памятников письменности. Но дело не только в этом. Установившаяся трехчленная периодизация истории иранских языков — древнеиранская (до IV в. до н. э.), среднеиранская (IV—III вв. до н. э.— IX—X вв. н. э.) и новоиранская (с IX—X вв. н. э. до наших дней) эпохи — покоится на относительно узком основании, именно на периодизации истории пер-

[1] Для хронологии этого периода решающим является установление того факта, что древнейшие дошедшие до нас памятники индоарийских языков (гимны Ригведы) сложились около середины II тыс. до н. э. и сложились уже в бассейне Инда (они отражают природу и этногеографические условия этого региона). См.: И. М. Оранский, Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 49—51. Последнюю сводку мнений о хронологии Ригведы и связанного с этим сложного круга вопросов см. в кн.: «Ригведа. Избранные гимны», перевод, комментарий и вступительная статья Т. Я. Елизаренковой, М., 1972, стр. 9 и сл.

сидского (и таджикского) языка. За исключением персидского (и таджикским) ни один из известных иранских языков не засвидетельствован письменными памятниками на протяжении всех этих трех эпох. В лучшем случае история этих языков может быть прослежена по письменным памятникам данного языка лишь на протяжении нескольких последних столетий: курдского — с XI—XII вв., афганского (пашто) — с XVI в., осетинского — с конца XVIII в.; во всех остальных случаях — и того меньше. Для некоторых иранских языков (татский и др.) письменность была создана лишь в XX в., другие (мунджанский, ягнобский, ормури, парачи и т. д.) остаются бесписьменными и по сей день, так что фиксированная их история может быть прослежена только по диалектологическим записям последних десятилетий. Лишь немногие из этих языков могут быть уверенно сведены к тем или иным средне- и древнеиранским языкам, зафиксированным в письменности. В первую очередь это относится к ягнобскому языку — продолжению согдийского, известного теперь по довольно многочисленным текстам IV—X вв. н. э.; к одному из периферийных среднеперсидских диалектов восходит татский, к скифскому (через аланский) — осетинский [2]. Но и здесь возникают многочисленные трудности. Между последними текстами на среднеперсидском и согдийском языках и первыми записями на татском и ягнобском простирается тысячелетняя недокументированная лакуна. При этом в обоих случаях нет уверенности, что современные татский и ягнобский языки продолжают те же диалекты, которые отражены соответственно в среднеперсидских и согдийских текстах [3]. Еще сложнее обстоит дело с историей осетинского языка. Связных текстов на скифском языке, как известно, не существует, а скифский словарь, составленный на основе дошедших до нас в иноязычной передаче скифских топонимов, этнонимов и имен собственных, очень невелик и насчитывает не более 200 основ [4]. К тому же между временем записи этих скифских имен и названий и современным осетинским языком — почти ничем не заполненная лакуна в 2000 лет.

Попробуем оттолкнуться теперь от древнеиранского материала. О скифском говорилось уже выше. От мидийского сохранилось всего несколько слов и имен собственных. Очень богата языковым материалом Авеста, и этот материал отражает наиболее архаичный из всех засвидетельствованных период развития иранских языков. Однако использование Авесты как лингвистического источника сопряжено со значительными, часто непреодолимыми, трудностями. Дошедшие до нас авестийские тексты прошли длительный путь сложения и многотысячелетней изустной передачи; они дошли до нас в редакции, относящейся ко времени, по-видимому, не ранее VI в. н. э. и в рукописях не ранее XIII в. н. э. Тексты эти неоднородны в диалектном отношении, и ни один из них не может быть точно локализован и датирован. Неизвестно, какие конкретные ираноязычные племена и народности говорили на языке, зафиксированном авестийскими текстами, и ни один из средне- и новоиранских языков не может рассматриваться как прямое продолжение авестийского.

Итак, остается персидский. Ни один из иранских языков не может сравниться с персидским (и таджикским) по древности, непрерывности и бо-

[2] Сохранилось также четыре кратких прозаических отрывка и 14 четверостиший из района Ардебиля (XIV в.), язык которых, по заключению Б. В. Миллера, близок современному талышскому (см.: Б. В. Миллер, Талышский язык, М., 1953, стр. 254—263).

[3] См.: М. Н. Боголюбов, Ягнобский (новосогдийский) язык. Исследование и материалы. АДД, Л., 1956, стр. 30. Ср. «Народы Средней Азии и Казахстана», I, 1962, стр. 152.

[4] См.: В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 141—244.

гатству письменной документации. Письменные памятники, отражающие развитие персидского (и таджикского) языка от точно датированных (VI в. до н. э.) древнеперсидских надписей до наших дней, предоставляют едва ли не уникальную в историческом, во всяком случае в индоевропейском, языкознании возможность проследить фиксированную текстами историю одного языка на протяжении 25 веков. Именно история персидского языка привлекала, естественно, в первую очередь внимание иранистов, и существующая периодизация истории иранских языков — это есть по существу и прежде всего периодизация истории персидского языка. Нетрудно убедиться в том, что эта периодизация целиком и полностью зависит от периодизации письменных памятников: древнеперсидский — это язык первой версии клинообразных ахеменидских надписей (VI—IV вв. до н. э.), среднеперсидский — это язык памятников пехлевийского и манихейского письма (III—IX-X вв. н. э.), новоперсидский — это персидский язык арабографичных, главным образом, текстов (с IX—X вв.).

Между тем, само появление и бытование тех или иных групп письменных памятников связано — особенно в древности — с теми или иными, обычно достаточно четко отграниченными друг от друга культурно-историческими эпохами. И каждая такая группа памятников характеризуется определенными культурно-историческими признаками, в первую очередь, резко различающимися системами письма. Древнеперсидские клинообразные надписи отражают историко-культурную обстановку ахеменидской эпохи (VI—IV вв. до н. э.); объединяясь по письменности, идеологии и другим культурно-историческим признакам, эти надписи составляют замкнутую в себе, четко обособленную группу. С падением Ахеменидов оборвалась и традиция создания древнеперсидских клинообразных надписей. Хронологически следующая группа памятников — памятники пехлевийского и манихейского письма — появляются лишь шесть веков спустя и отражают уже совершенно иную культурно-историческую эпоху — эпоху Сасанидского государства и господства зороастрийской церкви в Иране (III—VII вв. н. э.). После арабского завоевания Ирана и Средней Азии (VII—VIII вв.) и распространения на этих территориях ислама сфера употребления пехлевийского и манихейского письма резко сужается, эти системы письма выходят из употребления, сохраняясь лишь в небольших, конфессионально замкнутых общинах (например, традиционное пехлевийское письмо у парсов Ирана и Индии). На смену пехлевийскому и манихейскому приходит арабское, точнее, арабо-персидское письмо (с IX—X вв.), на базе которого возникает обширная тысячелетняя персидско-таджикская литература, отражающая так называемый «новый» период истории персидского языка.

Таким образом, традиционная периодизация истории персидского языка, а вместе с тем и периодизация истории иранских языков в целом обусловлена в значительной мере не процессами языкового развития, а периодизацией памятников письменности — периодизацией, опирающейся на признаки не лингвистические, а культурно-исторические. Временами периодизация по лингвистическим признакам может совпадать с периодизацией по признакам культурно-историческим. Так, например, зафиксированный пехлевийскими и манихейскими текстами среднеперсидский язык, отделенный от языка древнеперсидских ахеменидских надписей периодом минимум в шесть столетий, представляет качественно новый, резко отграниченный от языка древнеперсидских надписей этап развития персидского языка. Если древнеперсидский — это язык ярко выраженного флективного строя, сопоставимый по своей архаичности с языком Авесты и древнеиндийским, то среднеперсидский — это уже язык совершенно иной (аналитической) ступени развития. Однако провести лин-

гвистическую грань, скажем, между средне- и новоперсидским уже значительно труднее.

Нельзя не признать, что установившаяся трехчленная схема периодизации удобна (особенно в педагогической практике), что за ней авторитет традиции, однако при современном уровне лингвистических исследований эта схема уже не может считаться полностью удовлетворительной. В ряде случаев признаки периодизации лингвистической вступают в противоречие с признаками периодизации культурно-исторической (филологической), и тексты лингвистически однородные или близкие по языку оказываются отнесенными к разным периодам, и, наоборот, тексты, сильно различающиеся по языковой структуре, традиционно причисляются к одному периоду. Так, согласно существующей периодизации, персидские манихейские тексты принято относить к среднеиранской языковой эпохе, а персидские арабографичные тексты эпохи Рудаки — Фирдоуси (X—XI вв.) — к новоиранской. Между тем, как показал недавно В. Хеннинг, некоторые манихейские фрагменты отражают персидский язык первой половины X в. и принадлежат, возможно, перу одного из современников Рудаки. Уже a priori можно предположить, что такие тексты стоят по языку ближе к ранним памятникам новоперсидской литературы, чем к памятникам литературы среднеперсидской. И, действительно, если вчитаться, например, в манихейские стихотворные фрагменты Берлинского собрания, реконструированные и изданные Хеннингом [5], то можно убедиться, что язык их практически не отличается (вплоть до лексических арабизмов!) от языка ранних памятников новоперсидской поэзии. Ср., например, следующие отрывки:

[из персидской версии Bilauhar u Būdīsaf (Barlaam and Josaphat)]:

20. rftm (')knwn rn(ǰ) b(wr)d(m) [ ]
zwd m['n] dyd'r b'yd [ ]

«Теперь я пошел (ухожу), я перенес [много] страданий...,
Скоро наступит (bi-āyad) для нас [другая] встреча...»

[из «касыды»]:

8. čun Yūsuf-am pa-qahr furūd abganan^{d} pa-čāh
čāh-i ke bar-ne-y-āyam az-ū ǰuz gāh-i šumār

«Они в ярости бросают меня, подобно Иосифу, в яму,
В яму, из которой мне не выйти вплоть до Судного дня».

С другой стороны, персидский язык эпохи Рудаки — Фирдоуси и восходящие к нему современные персидский и таджикский относятся, согласно существующей периодизации, к одной и той же («новоиранской») языковой эпохе, между тем различия между языком, скажем, знаменитого «Шахнаме» Фирдоуси и современным таджикским настолько значительны, что в таджикской студенческой аудитории при чтении этого памятника требуется сегодня специальный грамматический и лексикологический комментарий, без которого текст далеко не всегда будет понятен.

При обращении к среднеиранскому материалу также нетрудно увидеть, что материал отдельных среднеиранских языков классифицируется не по лингвистическим и часто даже не по хронологическим признакам, а прежде всего по признакам культурно-историческим. Таково, например, деле-

[5] См.: W. B. Henning, Persian poetical manuscripts from the time of Rūdakī, в кн.: «A Locust's Leg», London, 1962, стр. 89 и сл. На «новоперсидский» характер некоторых манихейских фрагментов обратил, впрочем, внимание уже Мюллер. См.: F. W. K. Müller, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan, II, Berlin, 1904 (aus dem Anhang zu den «Abhandl. der Königl. Preuss. Akad. der Wiss.» vom Jahre 1904), стр. 4, 95, 106.

ние среднеперсидского языкового материала на язык текстов зороастрийских, дошедших до нас в оболочке традиционного пехлевийского письма с многочисленными идеограммами и исторической орфографией, и язык текстов манихейских, излагающих религиозное учение манихеев и зафиксированных другой системой письма. Внутри парфянского выделяют язык ранних эпиграфических памятников (I в. до н. э.—I—II вв. н. э.) и парфянских («пахлавик») версий сасанидских наскальных надписей (III в. н. э.), с одной стороны, и язык манихейских текстов (древнейшие сочинения — III—IV вв. н. э. в рукописях VIII—IX вв.), с другой. Характерным примером может служить также согдийский, внутри которого выделяются согдийско-буддийский, согдийско-манихейский и согдийско-христианский, т. е. язык соответственно буддийских, манихейских и христианских текстов, различающихся между собой прежде всего по признакам культурно-историческим (письменность и конфессиональная принадлежность текстов). В то же время по критериям собственно лингвистическим, в частности по системе именной флексии, а также по признаку наличия/отсутствия артикля, по его функциям, часть манихейских текстов должна быть объединена, как полагают исследователи, с текстами буддийскими, а другая их часть примыкает скорее к текстам христианским [6].

Значительные и — при нынешнем состоянии наших знаний — часто непреодолимые трудности, возникающие при сопоставлении языкового материала, зафиксированного разнородными текстами, вынуждают ученых ограничивать свои грамматические исследования материалом отдельных групп памятников. Имея, скажем, грамматические очерки (в том числе и новейшие) «книжного пехлеви» [7] и грамматические описания глагольной и именной системы языка среднеперсидских манихейских текстов [8], мы не имеем пока среднеперсидской грамматики, охватывающей весь известный среднеперсидский языковой материал [9]. Точно так же, располагая рядом исследований по языку отдельных групп согдийских памятников, в том числе новейшей грамматикой языка согдийско-манихейских текстов [10] и сжатым грамматическим очерком языка согдийских документов с горы Муг [11], мы не имеем пока исчерпывающей согдийской грамматики, охватывающей весь согдийский языковой материал [12]. Издано также немало глоссариев к отдельным памятникам (или к группам памят-

[6] См.: К. В. Кауфман, Некоторые вопросы истории согдийского языка, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», VI, 1956, стр. 486 и сл. Языковые различия между согдийскими текстами буддийского, манихейского и христианского содержания определяются в значительной мере переводным их характером, нередко рабским следованием оригиналу (китайскому и санскритскому для буддийских текстов, сирийскому для христианских, персидскому или парфянскому для манихейских), а также различной степенью консервативности согдийско-буддийской, согдийско-манихейской и согдийско-христианской письменности и орфографии (см. ниже).

[7] C. Salemann, Mittelpersisch, в кн.: «Grundriss der iranischen Philologie», I, Abt. 1, Strassburg, 1895—1901, стр. 249—332; В. С. Расторгуева, Среднеперсидский язык, М., 1966.

[8] См.: W. B. Henning, Das Verbum des Mittelpersischen der Turfan-Fragmente, ZII, IX, Hf. 2, 1933; А. Н. Рагоза, Существительное и прилагательное в среднеперсидских турфанских текстах, КСИНА, 67, 1963.

[9] Как кажется, только Залеман предпринял в свое время опыт дополнить свою грамматику «книжного пехлеви» материалами «манихейско-персидского». См.: C. Salemann, Manichaeische Studien. I, СПб., 1908, стр. 147—170.

[10] I. Gershevitch, A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1961 (1. ed.—1954).

[11] [М. Н. Боголюбов], Язык документов, в кн.: «Согдийские документы с горы Муг», III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой, М., 1963, стр. 16—23.

[12] При этом следует, разумеется, учитывать, что значительная часть согдийских текстов нуждается еще в филологической обработке и интерпретации. См.: I. Gershevitch, указ. соч., стр. VI.

ников) среднеперсидской, парфянской, согдийской, хотаносакской письменности, однако сводные словари, охватывающие всю дошедшую до нас лексику этих среднеиранских языков, пока не составлены. Существующее положение вещей объясняет, почему, даже располагая текстами, документирующими, скажем, среднеперсидский, парфянский, согдийский или хотаносакский языки на протяжении ряда столетий, иранское языкознание не в состоянии дать сегодня лингвистически обоснованную периодизацию истории этих языков.

Нетрудно убедиться и в том, что сами понятия «среднеиранские языки», «новоиранские языки» не определяют собою какое-то более или менее отчетливое структурно-лингвистическое единство. И к средне-, и к новоиранским относят языки, весьма различающиеся по своей структуре, отражающие самые различные ступени развития и преобразования древнеиранского языкового материала (отвлекаемся здесь от других факторов — ареальных контактов, субстрата и т. п.). Так, например, белуджский язык («новоиранский»), сохраняющий восьмифонемную систему вокализма с противоположением гласных по длительности (*āp* «вода» — *∂ap* «рот», *pīr* «старый» — *dil* «сердце»), как и древние поствокальные глухие смычные и аффрикату (*šap* «ночь» < др.-иран. *xšapa-*, *būt* «стал» < др.-иран. *būta-*, *ač* «из» < др.-иран. *hača*), по ступени преобразования древнеиранской звуковой системы стоит ближе к среднеиранским (скажем, к среднеперсидскому в древнейших его памятниках), чем к современным («новоиранским») персидскому и таджикскому (ср. ср.-перс. *šap*, *būt*, *hač* и совр. перс. *šäb*, *bud*, *äz*). По грамматической своей структуре современный («новоиранский») афганский язык, сохраняющий грамматическую категорию рода (мужской и женский) и двухпадежную систему склонения (прямой и косвенный падежи) стоит на более архаичной ступени развития древнеиранской грамматической системы, чем, скажем, среднеперсидский, утративший категории рода и падежа более полутора тысячелетий тому назад.

Количество подобных примеров легко может быть увеличено, и эти примеры убеждают в том, что объединение современного персидского, таджикского, курдского, афганского, белуджского, осетинского, памирских, татского, талышского и других современных иранских языков и диалектов под термином «новоиранские» имеет в виду отнюдь не структурную их общность, а только фактор хронологический: «новоиранские языки» — это языки, на которых говорят сегодня или же говорили и писали относительно недавно, так что письменная их традиция остается еще живой («новоперсидский»). Еще менее определенным в лингвистическом отношении является понятие «среднеиранские языки», к которым относят такие различные по своей структуре языки, как среднеперсидский, парфянский, согдийский, хорезмийский, хотаносакский и бактрийский. Достаточно сказать, что в языке хотаносакских, например, текстов выделяются по меньшей мере две [13], а скорее четыре ступени языкового развития и что диапазон различий между ними может быть сопоставлен с диапазоном различий между, скажем, латинским и французским языками [14]. Если формы «раннехотанские» сближаются с древнеиранскими, то формы «позднехотанские» стоят в ряде случаев по ступени своего развития на «новоиран-

---

[13] См.: M. J. Dresden, The Jātakastāva or «Praise of the Buddha's former births». Indo-Scythian (Khotanese) text. English translation, grammatical notes and glossaries, Philadelphia, 1955.

[14] См.: H. W. Bailey, Khotanese texts, V, Cambridge, 1963, стр. VII—VIII. В работе 1958 г. Бэйли выделяет в истории хотаносакского три ступени развития (H. W. Bailey, Languages of the Saka, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», Abt. I, Bd. IV, Iranistik, Abschnitt 1, Linguistik, Leiden — Köln, 1958, стр. 135). Ср.: R. E. Emmerick, Saka grammatical studies, London, 1968, стр. XI.

ском» уровне. Ср., например, окончание род. падежа мн. числа: «раннехотанское» *-āпи* и «позднехотанское» *-ā* [*-*o*] (< др.-иран. *-ānām*) или глагольную флексию 1-го лица ед. числа: «раннехотанское» *-īmä* и «позднехотанское» *-ū* [*-*u*] (< др.-иран. *-āmi*). Ср. также «раннехотанское» *aysu* [**azu*] и «позднехотанское» *a* «я» (< др.-иран. *azam*; ср. согд. *'zw*, осет. *äz*, афг. *zə*, семн. *a* и т. д.).

Среднеперсидский уже не имеет грамматических категорий рода и падежа, между тем другой современный ему по времени фиксации среднеиранский язык, хотаносакский (во всяком случае «раннехотанский»), сохраняет грамматическую категорию рода (мужской и женский, рудиментарно — также средний) и шестипадежную систему склонения. В противоположность западноиранским языкам этой эпохи (среднеперсидский, парфянский), где под действием законов ударения безударный конец слова, а вместе с ним и флективные показатели рода, падежа, частично также числа редуцировались и постепенно отпали и где подавляющее большинство слов имеет согласный исход, восточноиранские языки относительно хорошо сохранили (как в именной, так и в глагольной системе) характерный гласный исход слова. Поэтому, когда крупнейший авторитет в области среднеиранской филологии, покойный В. Хеннинг говорил об «единстве среднеиранского», он имел в виду отнюдь не структурную общность среднеиранских языков, а в первую очередь общность письменных систем, применявшихся для среднеперсидского, парфянского, согдийского и (с известными оговорками) хорезмийского языков,— общность, вытекающую из общего происхождения этих систем письма, общих тенденций в их развитии, некоторых общих орфографических приемов [15] и т. п., т. е. опять-таки признаки не лингвистического, а культурно-исторического характера.

Наряду с периодизацией, основанной на хронологии и культурно-исторических признаках письменных памятников, в периодизацию истории иранских языков вводится иногда противопоставление по признаку «мертвые языки» — «живые языки». В этом случае взятые вместе древне- и среднеиранские языки («мертвые») оказываются противопоставленными новоиранским («живым»). Если же основываться на признаках лингвистических, то, пожалуй, скорее языки древнеиранские, с одной стороны, могли бы быть противопоставлены взятым вместе средне- и новоиранским, с другой. Можно заключить, что установившаяся периодизация достаточно эклектична, что базируется она на разных признаках [16] и что выделение в истории иранских языков трех периодов далеко не всегда основывается на реальных процессах языкового развития. При этом, если языки древне- и новоиранские еще могут быть определены по признакам позитивным (древнеиранские характеризуются четко выраженной флективной структурой, не представленной в более поздних формах иранской речи; новоиранские — это языки «живые»), то языки среднеиранские выделяются скорее по признаку негативному: по справедливому замечанию Д. И. Эдельман, сюда относят все те языки, которые «не представляют

[15] См.: W. B. Henning, Mitteliranisch, стр. 21 (§ 2. «Die Schrift als Symbol der Einheit des Mitteliranischen»), стр. 58 и сл. Для хотаносакского применялось письмо иного происхождения; бактрийский был исключен Хеннингом из рассмотрения ввиду недостаточности имевшегося в 50-е годы материала.

[16] Наряду с примерами, показывающими, что при периодизации истории иранских языков факторы культурно-исторические и хронологические превалировали обычно над факторами лингвистическими, могут быть приведены и примеры противоположного характера. Так, основным источником для изучения хорезмийского языка служат хорезмийские глоссы, сохранившиеся (в арабографичной, разумеется, оболочке) в арабоязычных сочинениях X—XIV вв., т. е. относящиеся хронологически и по культурно-историческим признакам к новоиранской эпохе. Язык этих глосс, ближайше родственный, по-видимому, согдийскому, справедливо относят, однако, к числу языков среднеиранских.

древнего типа с характерным для него набором признаков, но и не являются живыми» [17].

В основе любого историко-лингвистического исследования, любой попытки периодизации истории языка (языков) лежат анализ и сопоставление текстов — текстов, которые могут быть представлены в самых различных системах письма от древнейших форм клинописи до самых современных записей методами фонетической транскрипции. Понятно поэтому, что один из первых вопросов, с которым сталкивается историк иранских языков, это вопрос об отношении письма к языку, о том, в какой мере отражает то или иное письмо фонетическую и грамматическую системы языка на данном этапе его развития. Многочисленны и разнообразны системы письма, которыми зафиксированы иранские языки на протяжении двух с половиной тысячелетий своей письменной истории. Древнеперсидская клинопись и арамейское письмо, с древнейших времен (во всяком случае, с III в. до н. э.) применявшееся для записи ираноязычных текстов; возникшие на основе последнего пехлевийское (версия «пāрсик» сасанидских надписей и «книжно-пехлевийское» письмо среднеперсидской зороастрийской литературы), авестийское, парфянское (версия «пахлавик» сасанидских надписей и другие памятники парфянской эпиграфики), манихейское (манихейские тексты на среднеперсидском, парфянском, согдийском и — позднее — на новоперсидском языках), сирийское («согдийско-христианские» и новоперсидские тексты), согдийское («согдийско-буддийские» тексты, документы архива с горы Муг и др.) и древнехорезмийское письмо; особая разновидность греческого письма (бактрийские надписи, эпиграфика) и модифицированные формы индийского письма брахми (хотанские или хотаносакские рукописи из Хотана и Тумшука), еврейское письмо (персидские и таджикские тексты) и многочисленные разновидности арабского, арабо-персидского алфавита (персидская, позднехорезмийская, афганская, курдская, белуджская письменность и т. д.). Упомянем еще о таких системах письма, как пазенд и парси (транскрипции пехлевийских текстов соответственно авестийским и арабо-персидским алфавитом) [18], об армянском (персидские и курдские тексты) и грузинском (осетинские и новоперсидские тексты) письме, наконец о многочисленных разновидностях латиницы (таджикский, осетинский, курдский, талышский, татский, шугнанский и другие алфавиты) и кириллицы (таджикский, осетинский, курдский, татский алфавиты), применявшиеся или применяемые в письменности современных иранских языков Советского Союза. Сюда же должны быть отнесены многочисленные современные транскрипционные системы, использовавшиеся — с большим или меньшим успехом — для фиксации различных (преимущественно бесписьменных) иранских языков и диалектов.

Само собой разумеется, все эти многообразные системы письма обладают неодинаковыми возможностями фиксации иранской речи, и вопрос о том, насколько адекватно тот или иной иранский язык той или иной эпохи отражен в анализируемом тексте, имеет решающее значение для любой попытки периодизации его истории. Древнеперсидская клинопись, различные модификации арамейского письма для среднеиранских и арабского для новоиранских языков, мало приспособленные для передачи звукового состава (особенно вокализма) иранской речи, не позволяют с достаточной объективностью установить реальное звучание того или

[17] Д. И. Эдельман, Вопросы периодизации индоиранских языков, не имеющих древней письменности, «Народы Азии и Африки», 1972, 3, стр. 115.

[18] Сохранились также транскрипции среднеперсидских и парфянских манихейских текстов согдийским и — через посредство последнего — тюркским руническим письмом (см.: W. B. Henning, Mitteliranisch, стр. 76—77).

иного иранского языка и изменения в его звуковом составе в ту или иную эпоху. В системах письма, использовавшихся для записи среднеиранских языков, гласные звуки, как правило, не отражались; буквы для многих согласных и лигатуры также не однозначны и допускают различное прочтение и фонетическое истолкование. Реальное звучание значительной части лексики скрыто, кроме того (в пехлевийском, согдийском, парфянском, древнехорезмийском письме), за идеограмматическими (гетерографическими) написаниями. Трудности, заложенные в самом характере письменности, усугубляются чрезвычайной консервативностью литературной нормы, исторической орфографией [19], скрывающими от исследователя ответ на вопросы о времени и месте возникновения тех или иных фонетических и грамматических инноваций, о диалектных особенностях языка тех или иных памятников и т. п.

Пожалуй, именно эти три фактора — несовершенство графических систем, историческое (традиционное) письмо и консервативность литературной нормы — должны быть названы в первую очередь среди факторов, в наибольшей мере затрудняющих исследование процессов и установление этапов языкового развития по письменным памятникам. Именно указанными причинами объясняется в первую очередь тот факт, что перед учеными, имевшими возможность исследовать персидский (новоперсидский) язык только по письменным памятникам, этот язык представал — и соответственно описывался и преподавался — как нечто почти совершенно неизменное на всем тысячелетнем (начиная с рубежа IX—X вв.) протяжении своего существования и на всей территории своего распространения. На одном из международных ориенталистических конгрессов среди вопросов для обсуждения числился и такой: «Какими причинами может быть объяснена неподвижность новоперсидского языка, не потерпевшего с X столетия (а, по всей вероятности, и ранее) до сих пор почти никаких изменений в своих грамматических формах?». И лишь обращение к живым формам современных персидского и таджикского языков показало, что эта «неподвижность» была только кажущейся, что в действительности на протяжении этого периода в языке произошли весьма серьезные сдвиги, развитие которых скрыто от глаз исследователя за оболочкой традиционной, консервативной письменности. Действительно, на примере персидского (новоперсидского) литературного языка, распространенного в средние века на огромной территории Средней Азии, современных Ирана и Афганистана, а также сопредельных областей Закавказья, Малой Азии и Индии, можно наблюдать явление очень ранней унификации языка письменности, выработки литературного стандарта, на который ориентировались авторы и переписчики, писавшие в разное время и в разных областях всей этой территории. По заключению компетентных специалистов, в период с конца IX по начало XVI в. на всей указанной территории «персидский литературный язык не обнаруживает признаков какой-либо дифференциации локального характера в области морфологии, синтаксиса и словарного состава» [20]. Это не означает, разумеется, что между живой персидской (таджикской) речью жителя Бухары и Нишапура, Кобадияна и Балха, Туса и Шираза, Герата и Газны не было в то время никаких различий.

[19] Поэтому при описании древне- и среднеиранского языкового материала в иранистической литературе применяется обычно не транскрипция, а транслитерация, передающая только написание оригинала и не претендующая на большее. Иногда применяются параллельно и транслитерация, и транскрипция. В этом случае транслитерация служит для воспроизведения оригинального написания, а транскрипция указывает на фонетическую (и грамматическую) интерпретацию данного написания исследователем.

[20] А. Н. Болдырев, Из истории развития персидского литературного языка, ВЯ, 1955, 5, стр. 79.

Сказанное означает только, что все различия диахронического и локального характера, существование которых нетрудно a priori предположить и которые подтверждаются рядом косвенных данных, не находило или почти не находило никакого отражения в письменности.

Тщательное изучение современных персидского и таджикского языков выявило, что за тысячелетие, отделяющее эти языки от языка эпохи Рудаки — Фирдоуси, в их развитии произошли весьма серьезные сдвиги, радикально затронувшие не только лексику (что признавалось и раньше), но и фонетику, и грамматический строй. В области фонетики могут быть отмечены такие характерные процессы, как утрата фонологического значения признаком длительности и переход от восьми- к шестифонемной системе вокализма,— процессы, общие для персидского и таджикского языков, но протекавшие в них различными путями и давшие различные результаты; в области морфологии, синтаксиса, словообразования — изменения в функциях предлогов и послелога *-rā*, энклитических местоимений, развитие категории сложноименных предлогов, интенсивное развитие сложноименных и новых префиксальных глаголов (с предлогами и наречиями в префиксальном употреблении). И в персидском, и в таджикском протекали — различными путями и с разной степенью интенсивности — процессы развития аналитических видо-временных форм глагола. Если таджикский использовал, например, для образования «продолженных» («определенных», «длительных», «конкретных») времен (типа англ. present continuous и past continuous) конструкции «причастие значащего глагола + личные формы вспомогательного глагола *istodan*», то современный персидский образует аналогичные по грамматическому значению конструкции из согласованных личных форм значащего глагола и вспомогательного *dâštän*. Ср. тадж. *xonda istodaam* «(я) читаю» (в настоящий момент) и перс. *dâräm mixânäm*; тадж. *xonda istoda budam* «(я) читал» (в определенный момент прошлого) и перс. *dâštäm mixândäm*. Специально для таджикского должно быть отмечено развитие аналитических образований с вспомогательным глаголом *giriftan* (*xondan gired* «начинайте читать»), новых причастных образований на *-agí* [*xondagí* «читавший; прочитанный», *mexondagí* «читающий (обычно); читанный (обычно); подлежащий чтению», *xonda istodagí* «читающий; читавший; читаемый; читавшийся» в определенный момент прошлого или настоящего] и причастных оборотов (*libosho-yi maktab dodagí* «одежда, выданная школой»), сложнодеепричастных глаголов [*xonda dod* «прочел (для кого-либо)», *davida omad* «прибежал», *davida raft* «убежал»], употребление послелогов, имеющих самостоятельное (неграмматическое) значение (*qati/kati* «вместе, совместно», *barin* «подобно» и др.) и т. д.

Однако, даже имея более или менее приближенное представление об исходном (для новоперсидского) и нынешнем этапах этих процессов, мы в силу указанных выше обстоятельств не можем рассмотреть эти процессы в деталях, в конкретном их развертывании, не можем установить по памятникам письменности время и место возникновения и закрепления в языке тех или иных грамматических инноваций, фонетических переходов, диалектных особенностей и т. п.[21]. Лишь изредка в этой стене традиционной,

[21] Общее направление и отдельные этапы этих процессов в некоторых случаях могут быть прослежены путем привлечения данных живых диалектов, отражающих — в силу неравномерности темпов языкового развития — различные этапы преобразования исходной системы. Так, например, последовательные этапы перехода от восьмифонемной (*a* — *ā*, *i* — *ī*, *u* — *ū*, *ē*, *ō*) к шестифонемной (*a*, *o*, *i*, *u*, *e*, *û*) системе вокализма в истории таджикского языка могут быть прослежены по вокализму таджикских говоров. Из последних работ по этому вопросу см.: В. С. Расторгуева, Диалектные данные при изучении процессов развития языка, в кн.: «Лингвогеография, диалектология и история языка», Кишинев, 1973.

консервативной письменности образуются небольшие «проломы», сквозь которые удается наблюдать реальные процессы языковой жизни. Так, например, анализируя язык происходящего из Ферганы сочинения XVI в. «Маджму' ат-тавāрӣх», А. Т. Тагирджанов выделил в нем ряд особенностей, не свойственных языку персидско-таджикской литературы того времени, но характерных для современного таджикского. Среди них: употребление аналитических глагольных форм «настоящего продолженного» [*tarāšida īstāda ast* «вытесывает, строгает» (в данный момент)] и «прошедшего продолженного» (*ǰang karda īstāda būd* «сражался») времен; употребление сложнодеепричастных глаголов (типа *girifta māndand* «задержали», *burida raft* «отсёк»), окончания *-ētān* во 2-м лице мн. числа повелительного наклонения (*dafn kunētān* «похороните»), личного местоимения *vaǰ* (3-е лицо ед. числа), некоторых характерных лексем (*ḥavli* «двор», *kalān* «большой») [22]. Насколько мне известно, указанное сочинение — это самый ранний из памятников письменности, в котором специфические грамматические и лексико-грамматические черты таджикского языка, отличающие его от персидского, фиксируются последовательно (эпизодически и разрозненно такие черты встречаются и в языке памятников ранненовоперсидской и даже среднеперсидской литературы). При этом отражение в тексте сочинения XVI в. указанных языковых инноваций отнюдь не означает, разумеется, что эти инновации только начали развиваться в период создания или переписки данного текста. Напротив, появление таких инноваций скорее указывает на то, что в период создания или переписки текста они уже закрепились в языке и были широко распространены в живой речи [23]. Точно так же вторжение лексических элементов народно-разговорной речи в язык некоторых сочинений начала XVI в., отражающих идеологию городских слоев того времени [24], может свидетельствовать о широком распространении этих лексических элементов среди горожан-таджиков Мавераннахра и Хорасана. Такие специфические таджикские черты «прорываются» и в некоторых других «среднеазиатско-персидских» («бухарско-персидских») текстах позднего средневековья [25], и только по этим «прорывам» исследователь может судить о процессах развития морфологических, синтаксических и лексических особенностей таджикского языка, которые отличают его от персидского.

Наиболее наглядно проявляются такие скрытые до поры до времени языковые изменения при переходе на новую для данного языка систему письма, что связано обычно с причинами историко-культурного или общественно-политического характера. С этими же причинами (в прошлом чаще

[22] Примеры см. в кн.: «„Собрание историй". Маджмӯ' ат-тавāрӣх», подготовил к изданию А. Т. Тагирджанов, [Л.], 1960, стр. 13—21.

[23] Как предполагает А. Т. Тагирджанов, «разговорный язык использован авторами сознательно, очевидно в целях распространения сочинения среди возможно большего числа людей или, по крайней мере, среди муридов из простого народа» (указ. соч., стр. 12, см. также стр. 54).

[24] См.: А. Н. Болдырев, Зайнаддин Васифи, Сталинабад, 1957, стр. 277—278, 301—304.

[25] Едва ли не первым исследователем, обратившим внимание на грамматические и лексические особенности «персидско-бухарского языка» («le persan de Bukharie»), был О. И. Сенковский (см.: J. Senkowski, Supplément à l'Histoire générale des Huns, des Turks et des Mogols..., St.-Pb., 1824, стр. 115—116, 131—132). Наиболее полная для XIX в. сводка «диалектических отличий употребительного у бухарских таджиков персидского языка» принадлежит известному историку Востока В. В. Григорьеву («О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре. Записки Мирзы-Шемса Бухари», изд. в тексте, с переводом и примечаниями В. В. Григорьевым..., Казань, 1861, стр. 111—125). Сводка Григорьева была дополнена впоследствии Ф. Тойфелем, одним из первых, если не первым, автором, применившим термин «таджикский» по отношению к языку (F. Teufel, Quellenstudien zur neueren Geschichte der Châuate, ZDMG, 38, 1884, стр. 241 и сл.).

всего с различной конфессиональной принадлежностью тех или иных слоев населения) связано сосуществование различных систем письма, единовременно употребляемых для фиксации одного и того же языка. Сопоставление одноязычных текстов, дошедших до нас в различных системах письма, нередко вскрывает парадоксальное, на первый взгляд, явление: памятник, хронологически более поздний, может отражать ступень языкового развития, значительно более раннюю, чем памятники, предшествующие ему во времени, и, наоборот, памятник, хронологически более ранний, может отражать ступень языкового развития, значительно более позднюю, чем памятники, следующие за ним во времени. Среднеперсидские манихейские тексты (древнейшие сочинения относятся к III в. н. э., списки преимущественно VIII—IX вв.), которые создавались и переписывались в иноверной, оторвавшейся от зороастрийской культурной и письменной традиции среде, фиксируют более поздний этап развития персидской фонетики и морфологии, чем памятники «книжно-пехлевийской» литературы, написанные позднее (основные сочинения датируются VI—IX вв. н. э., древнейшая рукопись — 1323 г.), но скованные окаменевшей орфографической традицией.

Точно так же неожиданные во многом результаты дало в свое время обращение к «иудейско-персидским» (точнее «иудейско-таджикским») текстам, происходящим из среды таджикоязычного, иудейского по вероисповеданию населения Средней Азии. Исследование этих текстов, писанных на таджикском языке вокализованным (пунктированным) еврейским письмом и не скованных орфографической традицией, позволило установить ряд важных особенностей таджикской фонетики, скрытых от исследователей арабографичных персидско-таджикских текстов за оболочкой арабо-персидской письменности. В этих текстах отражено, например, весьма существенное для таджикского, но отсутствующее в современном персидском противоположение между историческими долгими *ī*, *ū* и «маджхульными» *ē*, *ů*: *padīd* «видимый», но *zēr* «внизу», *būd* «был», но *růz* «день» (в арабской графике *ī* и *ē*, *ū* и *ů* обозначаются соответственно одним знаком). В этих текстах можно наблюдать и ряд других фонетических и грамматических явлений, характерных для живого таджикского языка, например, оглушение конечного *-d* в формах 3-го лица ед. числа (*na-tavānat* «не сможет») и 2-го лица мн. числа (*guzāret* «позвольте») (в арабографичном написании *ntv'nd*, *gz̲'ryd*), употребление личных местоимений *māyān* (1-е лицо мн. числа), *šumāyān*, *šumāhān* (2-е лицо мн. числа) (н.-перс. *mā*, *šumā*) и т. п.[26].

В последние годы внимание исследователей все больше привлекает древнеиранская, преимущественно древнеперсидская лексика, дошедшая до нас в иноязычной — вавилонской, эламской, арамейской, древнегреческой — передаче («Nebenüberlieferung»). По преимуществу это имена собственные, титулы, топонимия, лексика административно-хозяйственного и военного характера, заметно обогащающая однообразный и сравнительно бедный словарь древнеперсидских надписей. Весьма важное значение имело, в частности, открытие и публикация эламских табличек из

[26] См.: C. Salemann, Judaeo-Persica... I. Chudâidât. Ein jüdisch-buchârisches Gedicht, St.-Pb., 1897 («Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Pétersbourg», VII-e Série, XLII, 14). Как показывает анализ иудейско-персидских текстов, происходящих из различных пунктов Ирана, Афганистана, Средней Азии и сопредельных областей и отражающих развитие различных персидских (и таджикских) диалектов на протяжении более чем тысячелетнего периода (древнейший известный текст относится ко времени не позднее VIII в.), изучение их имеет весьма важное значение для персидско-таджикской исторической диалектологии. Из последних работ см.: G. Lazard, La dialectologie du judéo-persan, «Studies in bibliography and booklore», VIII, 2—4, Cincinnati (Ohio), 1968 (с литературой вопроса).

древнего Персеполя (509—458 гг. до н. э), относящихся к ахеменидскому времени и содержащих значительный иранский лексический материал, в том числе примерно 1700 древнеиранских имен собственных. Хотя эти таблички охватывают период всего в полстолетия, зафиксированные ими иранские имена собственные позволили автору монографического исследования по ономастике древнего Персеполя выделить в этих именах по фонетическим признакам три диахронических пласта — до-древнеперсидский, древнеперсидский, а также пласт с признаками post-древнеперсидскими [27]. Действительно, в некоторых словах, именах собственных, топонимах персепольских табличек наблюдаются фонетические сдвиги (падение конечного *-a*, переходы *-ϑʳ-* > *-hr-*, *-rn-* > *-rr-*, стяжение *-iyā-* > *-ā-* и т. п.), характеризующие последующий (среднеперсидский) этап развития персидского языка. Ср., например, *ha-na-ma-ak* = др.-перс. *anāmaka-* десятый месяц древнеперсидского календаря (букв.: «безымянный»), *šu-ur-ma-ir* = др.-перс. *ϑūravāhara-* второй месяц древнеперсидского календаря, *Har-ri-pir-tan* = др.-перс. **Āryabṛdāna-* (и. с.), *Mi-iš-ba-ik* = др.-перс. **Vispaka-* (и. с.); ср. также параллельные написания имен собственных *Ša-ti-par-tan-⌜na⌝* и *Ši-ya-ti-par-da-tan-na*, *Zi-ut-ra-me-sa-na* и *Zi-ra-me-sa-na*, отражающие переходы *-iyā-* > *-ā* (др.-перс. *šiyāti-* «благоденствие» > ср.-перс. *šāt*) и *-ϑʳ-* > *-(h)r* (др.-перс. *čiϑʳa-* > ср.-перс. *čihr*), или параллельные написания топонима *Par-na-ma-ti-iš* (**Farnahvatī-*) и *Par-rak-ma-ti-iš* (**Farraxvatī-*), второе из которых отражает уже произношение, характерное для среднеперсидского (*farr°*).

Различия в графической передаче этимологически тождественных иранских слов и имен собственных или же исторически одних и тех же звуков (групп звуков), наблюдаемые в древнеперсидских надписях и в иноязычных текстах, дают исследователям основание думать, что эти графические различия отражают различия диалектные (например, мидийско-персидские) [28] или же диахронические. В известной мере такие предположения, вероятно, справедливы, и вполне возможно, что эламские писцы слышали и передавали древнеперсидские слова уже не в той фонетической форме, в которой они зафиксированы древнеперсидскими надписями. При учете всех этих факторов следует, однако, иметь в виду, что эти различия, представляющиеся нам два с половиной тысячелетия спустя как различия диахронического (или диалектного) характера, могут в действительности в значительной степени объясняться синхронно сосуществовавшими в одной и той же языковой среде дублетными формами, произносительными вариантами, колебаниями в произношении, находившими то или иное отражение в письме — и не только в эламском или, скажем, вавилонском, но и в собственно древнеперсидском [29].

---

[27] См.: M. Mayrhofer, Onomastica Persepolitana. Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen, Wien, 1973, стр. 312 и сл.

[28] Трактовка этого вопроса, имеющего первостепенное значение для иранского сравнительно-исторического языкознания, вызвала в последние годы оживленную полемику, см.: I. Gershevitch, Dialect variation in early Persian, «Transactions of the Philological society» (1964), London, 1965; M. Mayrhofer, Die Rekonstruktion des Medischen, Wien, 1968 (Sonderabdruck aus dem «Anzeiger der Phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», Jg. 1968). Ср. также: В. И. Абаев, О перекрестных изоглоссах, «Этимология 1966», М., 1968, стр. 250—255 («„мидийские" элементы в персидском»).

[29] Эти различия могут быть также следствием неустоявшейся орфографической традиции, трудностей, возникавших перед писцами при попытках зафиксировать живой древнеперсидский язык средствами древнеперсидской — или какой-либо иной — клинописи. Следует учитывать, что Бехистунская и другие надписи Дария I были одной из первых (по мнению ряда ученых, первой) попыток применения только что созданной древнеперсидской клинописи, и трудно ожидать, чтобы к тому времени уже сложилась устойчивая писцовая традиция, обеспечивающая единообразное написание всех возможных произносительных вариантов слова.

С учетом всех этих обстоятельств анализ разнонаписаний дает обильный материал для истории персидского языка и ее периодизации. Если даже эти разнонаписания отражают в известной своей части не диалектные и не диахронические различия, а синхронно сосуществовавшие в одной и той же языковой среде дублетные формы и произносительные варианты, то и тогда сопоставление этих форм и вариантов позволяет судить о тенденциях, о возможных направлениях развития языковой системы, более того — об уже зарождающихся в ней элементах нового качества. Ибо сами сосуществующие варианты — фонетические, морфологические, синтаксические, словообразовательные [30] — соотносятся друг с другом не только синхронически, но и диахронически, «как архетипы с неотипами», и «любому переходу от архетипа к неотипу предшествует период сосуществования архетипа с неотипом (или с конкурирующими неотипами)» [31].

Сталкиваясь с наличием разнонаписаний в древних текстах — текстах обычно немногочисленных и ограниченных по объему, исследователь, как мне представляется, всегда будет стоять перед мучительным вопросом: отражают эти разнонаписания отсутствие устоявшейся орфографической традиции или писцовую ошибку, «неграмотное» написание, за которым — вопреки «грамотному» (историческому) написанию — скрывается реальное произношение; наличие синхронно сосуществующих в одной и той же языковой среде фонетических и грамматических вариантов или уже закрепившиеся сдвиги диахронического или диалектного характера [32]? И чем меньше текстов в распоряжении исследователя, тем, разумеется, труднее с уверенностью ответить на этот вопрос. В древнеперсидском устойчиво сохраняется, как известно, группа *-rt-*, однако уже на одной из ваз с именем Артаксеркса читается *a-r-d-x-š-ϑ^r* (*ardaxšaϑ^{r}a-*) против обычного *a-r-t-x-š-ϑ^r* (*artaxšaϑ^{r}a-*). Дает ли это основание считать, что уже в древнеперсидском наметилась тенденция к переходу *-rt-* > *-rd-*, отчетливо проявившаяся в значительно более поздний период истории персидского языка? Ведь еще тысячелетие спустя в пехлевийских текстах устойчиво сохраняется группа *-rt-* (*mart* «мужчина» < *martiya-*).

По-видимому, на протяжении всей истории ираноязычных текстов можно наблюдать две противоречивые тенденции — с одной стороны, архаизирующую тенденцию, выражающуюся в исторической орфографии и консервативности литературной нормы, с другой — тенденцию, обусловленную действием живого языка, под влиянием которого переписчики — вольно или невольно — приспосабливали орфографию, лексические и грамматические особенности переписываемого текста к произношению, грамматическим нормам и вкусам своего времени и, разумеется, соответствующей социальной среды. Изучая язык разнохарактерных текстов, от-

---

[30] Сосуществование некоторого числа варьирующих единиц является признаком любой живой языковой системы и необходимым условием ее развития. См.: Л. В. Щ е р б а, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 30—31, 36, 49—50.

[31] И. И. Ц у к е р м а н, Склонение имен существительных в хорасанском курманджи, в кн.: «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. IX годичная научная сессия ЛО ИВ АН», [М.], 1973, стр. 142. См.: е г о ж е, Вариантность как диахронический лимит языковой системы, «Палестинский сборник», 19 (82), Л., 1969, стр. 56 и сл.

[32] «Ошибочные» или «неграмотные» написания, непроизвольные нарушения грамматических конструкций и тому подобные явления дают историку языка важнейший материал для суждения о процессах языкового развития. Применительно к исследованию живой речи Л. В. Щерба называл такие явления «отрицательным языковым материалом» и указывал на то, что роль этого материала «громадна и совершенно еще не оценена в языкознании» (Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 33). Разумеется, при изучении языка текстов получить «отрицательный материал» значительно труднее, ибо пишущий обычно сознательно избегает всяких ляпсусов и «вольностей», отклонений от нормы, естественных для живой речи.

носящихся к самым различным эпохам, исследователь истории иранских языков не может отрешиться от всех этих обстоятельств, и в этом заключается одна из основных причин зависимости иранского исторического языкознания от уровня филологической интерпретации текстов.

Все сказанное дает лишь весьма относительное и неполное представление о трудностях и проблемах, возникающих при исследовании истории иранских языков, при попытках наметить принципы и вехи лингвистической периодизации их истории. Трудности заключаются и в самом характере материала, о чем говорилось выше, и в теоретической неразработанности проблем, связанных с периодизацией истории языка [33]. И тем не менее развитие работ по изучению языка памятников древне-, средне- и новоиранской письменности в сочетании с интенсивными исследованиями в области современных иранских языков и диалектов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Из изложенного ясно, что ни один из этапов традиционной схемы истории персидского языка (древне-, средне- и новоперсидский) уже не может рассматриваться как нечто абсолютно единое, никак не дифференцированное в пространстве и времени. Особенно наглядны успехи, достигнутые при изучении языка новоперсидских текстов, и это позволяет уже сегодня поставить вопрос об истории новоперсидского языка, о формировании на его основе современного персидского и современного таджикского литературных языков; возможно, также и вопрос о формировании третьей литературной разновидности этого языка на основе диалекта кабулй (Афганистан). Таким образом, внутри общей линии развития выделяются составные части, которые рассматриваются уже не в статике, а в динамике, как «микроистории» определенных этапов, вписывающиеся в «макроисторию» персидского и таджикского языков.

Осуществление большого сводного труда по истории иранских языков, подготавливаемого в настоящее время коллективом советских иранистов, отразит, надо надеяться, в полной мере современное состояние иранского исторического языкознания и откроет новые перспективы развития в этой области, в том числе и в решении вопросов периодизации.

---

[33] См.: «Лингвогеография, диалектология и история языка», Кишинев, 1973, стр. 4 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

М. А. БОРОДИНА

АРЕАЛОГИЯ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РОМАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1. Определение ареалогии [1]. Под ареалогией понимается область лингвистических исследований, связанных с закономерностями пространственного расположения языковых явлений, и те гипотезы, которые вытекают из этих закономерностей.

2. Объект исследования. Ареалогия как составная часть языкознания имеет свой объект исследования — ареал, который определяется местоположением и конфигурацией зоны бытования отдельных лингвистических явлений или их совокупности в изучаемой системе говора, диалекта, языка, группы языков. Ареал — это пространственно-временная лингвистическая единица, обусловленная как лингвистическими, так и внелингвистическими факторами (см. подробнее разд. 10 и 11) и противопоставленная окружающим ареалам. Говоря об ареалах, мы имеем в виду обобщенно-географическую проекцию ареала, которую условно называем термином «ареал» (см. ниже карты и их интерпретацию, разд. 11.2).

Ареалогия исследует как современное синхронное состояние языка, обнаруживая в нем разные исторические срезы, вплоть до самых глубинных, так и диахронию (праславянское или праиндоевропейское состояние)[2]. Однако в большей мере, с большей эффективностью, ареалогия применяется при исследовании современного среза, чему способствует и резко увеличивающееся количество лингвистических атласов.

3. Область исследования. Выработанные к настоящему времени приемы и методы ареалогии исторически складывались на материале индоевропейских языков, в частности, большую роль сыграла романская лингвогеография, основоположником которой, как известно, был Ж. Жильерон. Наряду с этим принципы ареалогии могут быть применены и для других групп языков, в том числе для бесписьменных и младописьменных языков, диалектные и ареальные особенности которых являются единственным источником реконструкции их прошлого состояния.

4. Диалектология. Лингвогеография. Ареалогия. Диалектологические, лингвогеографические и ареалогические исследования являются тремя последовательными ступенями развития ареальных исследований. Лингвогеография в качестве методики и теории создания и чтения атласов возникла на базе полевой диалектологии, имея

---

[1] Термин «ареалогия» в языкознании был впервые применен Ж. Сеги в 1956 г.: J. Séguy, Les cartes auxiliaires de l'Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne. Essai d'aréologie méthodique, «Via Domitia», III, Toulouse, 1956. См. также: H.-E. Keller, La linguistique occitane aujourd'hui et demain, RLR, 34, № 135—136, 1970, стр. 267 и 269.

[2] Именно этим термин «ареалогия» отличается от близкого по содержанию термина «ареальная лингвистика», под которым в индоевропеистике понимается изучение древних ареалов на основании современного распространения языковых явлений (А. Мейе, Э. А. Макаев, Д. И. Эдельман и др.). В истории языкознания термин «ареальная лингвистика» связан со школой М. Бартоли — Дж. Бонфанте (см. ниже стр. 50—51).

с ней единый объект исследования — исторические и современные диалекты. Эти области весьма отличны по источникам, методам, целям и результатам исследования[3], тем не менее, лингвогеография сохраняет связь с диалектологией.

Первоначально лингвогеография возникла как новый метод лингвистических (диалектологических) исследований, дополнявший, а частично и противопоставлявший себя сравнительно-историческому методу. Довольно скоро обнаружилась тенденция к обособлению этого метода в самостоятельную дисциплину. Если еще лет десять-пятнадцать тому назад выделение лингвистической географии в некий самостоятельный домен вызывало подчас оживленные дискуссии, то сейчас различение этих понятий почти общепринято. Неустойчивое отношение к толкованию терминов «диалектология», «лингвогеография» отразилось, например, в книге Й. Йордана «Романское языкознание». С одной стороны, автор определяет свое отношение к лингвистической географии как к лингвистическому методу или направлению, а не науке[4]. С другой стороны, рассматривая творческий путь Ж. Жильерона от составления атласа до его интерпретации, Й. Йордан утверждает, что прочтение и интерпретация записи на картах дали возможность постепенно проследить во всех ее предшествующих фазах зафиксированную неподвижно на картах жизнь языка. Это показывает, как и на какой основе сложилось нынешнее положение вещей. Только после всего этого, пишет Й. Йордан, «можно говорить о новой дисциплине, называющейся „лингвистическая география“»[5].

Все же вряд ли целесообразно видеть в лингвистической географии и диалектологии две самостоятельные дисциплины[6] — разграничение происходит лишь при включении лингвогеографического материала в один из уровней ареальных исследований. В диалектологии функциональны только локальные различия. В ареалогии лингвистическое пространство выступает в наиболее цельном и обобщенном виде, выявляя действующие структуры общеязыкового значения.

5. Языковые явления территориальные и надтерриториальные. Далеко не все явления могут быть охвачены ареальными исследованиями, хотя язык через его носителя — человека — исконно связан с территорией (страной, областью, провинцией). Пониманию языка как «территориального» явления вполне правомерно стало противопоставляться понятие «надтерриториальный» язык. «Надтерриториальность» характерна для национальных литературных языков и прежде всего для тех, которые имеют международное значение.

В понятие ареала входят те факты, которые непосредственно связаны с территориальным распространением: это диалектные явления в их лингвогеографической интерпретации, региональные особенности речи, одним из компонентов которых являются языковые реликты, а также диалектные и региональные особенности в их соотнесении с литературным языком, например, пути проникновения «литературных волн».

---

[3] См. подробнее: М. А. Бородина. Лингвистическая география и диалектология. Опыт разграничения лингвистических дисциплин, сб. «Omagiu lui Alexandru Rosetti», București, 1965.

[4] См.: Й. Йордан, Романское языкознание. Историческое развитие, течения, методы, М., 1971, стр. 217.

[5] Там же, стр. 229.

[6] Здесь я вступаю в противоречие с ранее высказанными мыслями, см., в частности: М. А. Бородина, указ. соч., стр. 79—82. Однако, если диалектология и ареалогия различаются по объекту исследования и уровням обобщения лингвогеографического материала, то лингвогеография не может быть противопоставлена ни первой, ни второй области исследований, являясь для них общим, и, пожалуй, основным источником сведений.

При учете того, что явления языка могут быть территориальными и надтерриториальными, следует признать, что существует немало фактов, которые имеют свободное распространение, не поддающееся ареальному изучению. Не нуждаются в нем явления литературного языка (к примеру — территория распространения французского литературного языка), в то время как некоторые явления диалектной и региональной речи не поддаются ареальному изучению (см. на карте ЛАФ № 594 перемежающееся распространение лексем *bois* и *forêt*).

6. О терминологии и понятиях ареалогии. Ареалогические исследования оперируют свойственной им системой понятий и терминов. Ареал — явление сложное и многообразное, его структура разнообразна и подчас весьма причудлива. Ареал — это родовой термин, который уточняется в зависимости от его местоположения и формы (конфигурации). По содержанию ареал может быть реликтовым, архаичным или инновационным и т. д.; по местоположению и форме — островным, маргинальным, подковообразным, клинообразным и т. д. Ареал относится к явлениям разных уровней — фонетике (фонологии), морфологии, лексике, семантике. Он может быть разного «возраста» [7] и разной „плотности" (интенсивности явления) [8].

Обязательной составляющей ареала является изоглосса (изолиния), которая отграничивает его от остальной территории. Иногда термин «изоглосса» употребляется только для выделения лексических явлений, как термин, параллельный возникшим позднее по аналогии с ним терминам: изофона, изоморфа, изосема. Отсутствие аналогичного термина для синтаксических явлений связано с тем, что синтаксис в наименьшей степени поддается картографированию и ареальной обработке (преимущественно в небольших отрезках речи).

Отсутствие термина «изолекса» и двусмысленность термина изоглосса (изолиния в широком смысле слова и изолиния, выделяющая лексические явления) приводит исследователей к употреблению термина «лексическая изоглосса». Как правило, изоглосса очерчивает ареал, но этот термин может также иметь значение линии, являющейся условным разделом двух территорий, характеризующихся разными лингвистическими признаками. Именно в этом значении он часто употребляется в диалектологических работах, которые либо не связаны непосредственно с лингвогеографическими источниками, либо в которых изучаются глубинные периоды формирования современных языков [9]. Таким образом, можно было бы говорить об «ареальных лексических изоглоссах» [10] (соответственно: об ареальных фонетических, морфологических изоглоссах) и об «разделяющих изоглоссах» (лексических, фонетических, морфологических).

Изоглосса обладает рядом отличительных признаков. Она может окружать ареал сплошной линией или частично отграничивать его от соседнего ареала. Изоглосса может быть прервана в случае вклинивания на небольшом участке другого ареала. Она может соответствовать одному

---

[7] См.: М. А. Borodina, Bestimmung des Alters lexicalischer Isoglossen, «Zeitschr. für Mundartforschung», Beihefte, Neue Folge, 3, 4, 1968.

[8] Существующую систему терминов ареалогии см. в кн.: «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии», Л., 1974 (далее — ПКЯЭ), стр. 307—312 — предметный указатель, составленный Н. Л. Сухачевым; здесь мы ограничимся сказанным о ключевых терминах «ареал» и «изоглосса».

[9] См., например: Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк, Л., 1972, стр. 630, 631, 632 и сл.

[10] Г. Ф. Благова, О межтюркских языковых контактах, «Народы Азии и Африки», 1962, 2, стр. 158.

явлению или целой совокупности явлений. Изоглосса может быть динамичной (однонаправленной, разнонаправленной) и статичной. Более того, для одного и того же ареала изоглосса может быть проведена поразному, в зависимости от того, что́ хочет подчеркнуть исследователь (например, цельность ареала или его размытость). Таким образом, изоглосса — это не просто линия, отграничивающая то или иное пространство, подобно тому как ареал — не просто любая часть территории. Это становится особенно очевидным, когда речь идет о позитивных и негативных изоглоссах: позитивные изоглоссы выделяют диалектное явление как таковое, негативные же характеризуют границы диалекта, обычно размытого литературными волнами (по признакам соседних диалектов) [11].

7. Источники ареалогии. Источниками ареалогии могут быть любые локализованные и датированные данные, собранные в лингвистических атласах и адекватных им источниках: текст в определенном временном и пространственном расположении, словари с указанием времени и места появления или употребления слова, табличные материалы. Большое значение имеет знание особенностей региональной речи. Вспомогательные источники — карты распространения языков и народов, политико-административные карты, исторические атласы или отдельные сведения об исторических границах. Немалое значение имеет точная осведомленность о рельефе и истории местности, знание элементов материальной и духовной культуры.

8. Связь ареалогии с пространственной лингвистикой и с соссюровскими концепциями. Современная ареалогия имеет своим прототипом пространственную лингвистику известных итальянских исследователей М. Бартоли, Дж. Бертони и Дж. Бонфанте, наметивших лишь в самых общих чертах ее сущность. Известный труд М. Бартоли был издан в 1925 г. [12], когда, кроме Лингвистического атласа Франции и немногочисленных других менее значительных работ, в этой области еще ничего не было сделано. Соответственно авторы работ о пространственной лингвистике могли лишь предвидеть развитие этой области языкознания, не имея еще того огромного диалектного и лингвогеографического материала, которым мы сейчас располагаем [13]. Некоторые их положения были раскрыты и развиты, другие были уточнены; многое подверглось критике [14].

Хотя понятие «ареал» (итал. l'area) лежало в основе работы М. Бартоли, оно понималось умозрительно, а не как результат обработки атласов или адекватных им источников, и имело место самое общее значение «пространства», далекое от современного терминологического значения «ареал». Понятия «центр—периферия», проиллюстрированные в основном на материале литературных индоевропейских языков, весьма отдаленно напоминают современные лингвогеографические представления о ядре, переходной зоне и маргинальном ареале.

Несколько в ином направлении пошел в своих рассуждениях Дж. Бонфанте, создавший, исходя из пространственной лингвистики, известную концепцию неолингвистики и выдвинувший ряд новых, подчас неожиданных, положений (например, переоценка роли индивидуального в языке). В частности, Бонфанте считает, что «основа лингвистической географии — это прежде всего семантика»

---

[11] См. подробнее: М. А. Бородина, Проблемы лингвистической географии, М.-Л., 1966, стр. 50—77, 90—108, 109—120.

[12] M. Bartoli, Introduzione alla neolinguistica, Genève, 1925.

[13] См. об этом: Н. Л. Сухачев, Лингвистические атласы и карты, ПКЯЭ.

[14] См., например: W. Manczak, La nature des archaïsmes des aires latérales, «Lingua», 13, 2, 1965.

(разрядка наша.— *М. Б.*), т. е. именно это — «истинная лингвистика» [15].

Совсем иначе веяния эпохи сказались в концепциях Ф. де Соссюра, который уделил одну из пяти частей своей работы лингвистической географии. Не останавливаясь на деталях и некоторых спорных положениях в понимании диалектологии и лингвогеографии, отметим, что Ф. де Соссюр хотя и в очень лаконичной и схематичной форме предугадал именно то развитие, которое лингвогеография получит в направлении ареалогии [16].

9. Методика ареалогических исследований и два основных направления в романской лингвогеографии. Методика ареалогических исследований прежде всего связана со сложным процессом установления границ ареалов («изоглоссирования»), которые подвергаются дальнейшей интерпретации. Качество этой работы зависит не только от овладения техникой и методами ареалогии, но и от осведомленности исследователя в вопросах как лингвистических, так и внелингвистических. Ареалогия — это та область языкознания, в которой наиболее тесно переплетаются данные лингвистической структуры языка с вопросами истории, географии и других внелингвистических факторов. В романском языкознании на конкретном материале, связанном с обработкой лингвогеографических атласов, это было убедительно показано в работах П. Гардета и его школы.

П. Гардет (1906—1973), автор первого регионального атласа новой серии Лингвистического атласа Франции «Лингвистический и этнографический атлас Лионэ» [17], по праву может быть назван одним из самых видных лингвогеографов нашего времени. Он не поднимает теоретических проблем ареального исследования языка, но вся его деятельность, равно как и его учеников и коллег (Ж. Тюайона, С. Эскофье, Б. Орио, П. Дюрдийи, Г. Жироде, М. Гонон и др.), вплотную к ним подводит.

Основываясь на материалах региональных атласов и старых текстов, П. Гардет показывает, как франкопровансальская территория оказалась вне общегаллороманского движения: здесь действовали свои законы, свидетельствующие о ее самобытности. Например, лат. *gallina* общее для всех галло-романских говоров, уступило место собирательному *poulaille* «много куриц», которое впоследствии стало обозначать единичный предмет. Впервые *poulaille* засвидетельствовано в значении единичности в XV в.; в этот период франкопровансальский с центром в Лионе (Lugudunum) был и лингвистически, и социально сформировавшимся центром, вследствие чего инновация *poulaille* была подхвачена и распространена по всей территории франкопровансальского; в других местах тоже наблюдались тенденции к такому распространению, но они не имели успеха. В карте, вычерченной по атласу Лионэ, как пишет ученый, «поражает совпадение ареала *jalena* и области франкопровансальского, за исключением клина (la poche) в области Соны-и-Луары» [18]. П. Гардетом выявлено значительное количество аналогичных инноваций, свойственных именно франкопровансальскому. Истоки их становятся видны при чтении лингвисти-

---

[15] G. Bonfante, La dottrina neolinguistica. Teoria e pràtica, Torino, 1970, стр. 33.

[16] См.: F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1971, стр. 269—289. Схемы на стр. 273 могут быть интерпретированы как рассмотрение лингвогеографического ареала в качестве модели языка, схемы на стр. 274 — как понятие изоглоссы и содержания ареала, схемы на стр. 277 и 278 — как понятие ядра и пучка изоглосс.

[17] См.: М. А. Бородина. О «Новом лингвистическом атласе Франции» (сравнительно с атласом Жильерона), ВЯ, 1956, 3; см. также: M. A. Borodina, Sur le développement du francoprovençal, RLR, 25, № 85—86, 1958.

[18] P. Gardette, Aspects du vocabulaire du francoprovençal, RLR, 24, № 95—96, 1960, стр. 360.

ческих атласов, которые показывают связь франкопровансальского с провансальским, в прошлом гораздо более тесную, чем теперь. Большинство карт раскрывает, как этот единый в прошлом ареал ныне распадается [19].

Наряду с трудами, связанными с задачей вычленения франкопровансальского ареала в целом, П. Гардет ряд статей посвятил появлению и истории единичных, раритетных слов, ранее нигде не засвидетельствованных в системе франкопровансальского [20]. Многие статьи трактуют этимологии слов, решаемые в ареальном плане [21].

Возможности исследования франкопровансальского расширились с появлением «Атласа Центрального массива» П. Нотона, в котором обследуется прилегающая с запада область окситанских говоров. Это дало возможность П. Гардету выделить западную границу франкопровансальского и дать очерк «контрастных говоров» [22]. Еще более расширило эту возможность появление «Атласа Юры и Альп», составленного Ж. Тюайоном. Последний служит своего рода территориальным продолжением Лионского атласа П. Гардета, отражая вместе с ним единую франкопровансальскую зону. Обнаружилось, что западная и северная часть франкопровансальского весьма проницаема для литературных волн и что восточный франкопровансальский сохраняет свое единство до наших дней. Лион, который в прошлом был столь активным центром иррадиации франкопровансальских форм и ядром франкопровансальского единства, теперь сам оказывается на территории, размытой литературными волнами, пассивно принимающими французизмы (так, *neige* вместо франкопрованс. *nei*, *ne*, *nai*) и при этом не способствует дальнейшему распространению этих слов [23].

Занимаясь вопросами истории, этимологии и семантики франкопровансальского лексического фонда, П. Гардет в своих исследованиях часто прибегал к операциям, связанным с установлением типов ареалов или, как он их иногда называл, «зон»: появляются такие понятия, как «регрессирующий ареал» (размытый или отступающий ареал); на территории схождения двух диалектных зон возможна зона разрушения патуа (zone de fragilité des patois), выделяется зона проникновения «официального французского» (zone de perméabilité du français), зона неопределенности (zone d'incertitude); все эти подтипы объединяются термином «маргинальный ареал» [24]. Выделение пространственного фактора наблюдается в работах и других диалектологов — Ж. Тюайона, Л. Ремакля, Т. Госсена, а ранее — у Я. Юда и А. Терраше. Однако наиболее последовательно, конкретно и разносторонне это формулируется в работах П. Гардета.

В последних статьях П. Гардета проявляется интерес и к проблемам современной семантики — разграничение формы слова и его содержания, дробление значения слова на мельчайшие единицы (семы), интерес к внутренней форме слова. Публикация статьи его ученика А. Маргирона сви-

---

[19] P. Gardette, A l'origine du provençal et du francoprovençal. Quelques mots du latin de Lugudunum, RLR, 26, № 101—102, 1962.

[20] См.: P. Gardette, Ancien lyonnais *cuer* «qui reste en dernier», RLR, 30, № 117—118, 1966.

[21] См.: P. Gardette, Étymologie lionnaises et foréziennes, RLR, 24, № 93—94, 1960.

[22] P. Gardette, Le Lyonnais et le Massif Central d'après les atlas linguistiques régionaux, RLR, 21, № 83—84, 1957.

[23] P. Gardette, Aspects géographiques du lexique francoprovençal, RLR, 36, № 143—144, 1972.

[24] См.: P. Gardette, Recontre de synonymes et pénétration du français dans les aires marginales, RLR, 34, № 135—136, 1970.

детельствует о том, что семантический (компонентный) анализ лексики совместим с задачами пространственных исследований, которые ставил перед собой П. Гардет [25].

Успех исследований П. Гардета заключается в том, что он сумел обобщить огромный атомарный материал, связанный с функционированием лексем в разные времена, в четкие контуры ареалов разных типов. Это нашло и внешнее адекватное выражение: П. Гардет предлагает читателю хорошо обозримые схематические карты, в которых отражено только главное.

Наряду с ареальной обработкой все большее распространение получают математические, в том числе статистические, методы обработки диалектного материала, часто в целях его ареальной интерпретации. Ведущее место в этом принадлежит создателю «Лингвистического и этнографического атласа Гаскони» Ж. Сеги (1914—1973), а также его ученикам и коллегам (Ж. Альеру, Кс. Равье, А. Гите и др.).

С самого начала работы над Атласом Гаскони Ж. Сеги занимала разработка точных методов в диалектных исследованиях; его интересовали также вопросы полиморфизма, получившие дальнейшее столь плодотворное развитие впоследствии. Свои теоретические взгляды на язык Сеги сформулировал в статьях «Региональные лингвистические атласы Франции» и «Диалектометрия в Лингвистическом атласе Гаскони» [26]. Отвечая на столь частый вопрос: «К чему атласы? что с ними делать?», Сеги убежденно защищал лингвистическую географию и отмечал, что во всех областях науки пытаются спасти, сохранить то, что когда-либо было сказано или сделано человеком, но никому в голову не придет спросить, к чему, например, охранять памятники старины или изучать старые обычаи. Сеги определяет диалект (язык), который, по его мнению, служит не только средством коммуникации людей, но и средством их разобщения, непонимания. Представляется спорной точка зрения Ж. Сеги, полагающего, что когда коэффициент дивергенции становится слишком большим, то диалект (говор) отмирает [27]. Возможно, этот путь и является одним из способов отмирания говора, но чаще мы встречаемся с постепенным отмиранием дивергентных черт, их перерождением в черты региональной речи, «вливанием» диалекта в литературную речь.

Математические построения Сеги первоначально были связаны с проблемой непрерывности лингвистического ареала, т. е. с точными вычислениями степени конвергентности и дивергентности между двумя близлежащими пунктами,— идея и методика Сеги, созревавшая более двадцати лет [28]. Однако в статье «Диалектометрия..», Сеги пришел к более общим вопросам, связанным с применением численных методов к диалектологии и лингвистической географии, отмечая начало этого направления, которое было заложено в работах А. Терраше (1914) и Т. Лаланна (1949). Последние два тома Атласа Гаскони составлены методом точ-

---

[25] См.: A. Marguiron, Essai sur les structures sémantiques et lexicales des voies de communication dans les parlers lyonnais actuels, RLR, 37, № 145—146, 1973, а также: M. A. Borodina, V. G. Gak, Essai sur la structure d'un champ sémantique (langue littéraire — dialecte), RLR, 38, fasc. 151—152, 1974.

[26] См.: J. Séguy, Les atlas linguistiques de la France par régions, «Langue française», 18, 1973; его же, La dialectométrie dans l'Atlas linguistique de la Gascogne, RLR, 37, № 145—146, 1973.

[27] См.: J. Séguy, Les atlas linguistiques de la France.., стр. 85—86, см. также стр. 66.

[28] См.: A. Dauzat, J. Séguy, L'atlas linguistique de la Gascogne, «Le français moderne», 1951, 4. Ср.: его же, La fonction minimale du dialecte, «Actes du colloque CNRS sur les atlas linguistiques de la France par régions (Strasbourg 1971)», Paris, 1973.

ного вычисления особенностей, зафиксированных в первых четырех томах (V т.— «Глагол», составитель Ж. Альер, VI т.— «Фонетика, фонология, морфология имени и синтаксис», составитель Ж. Сеги).

Ж. Сеги неоднократно подчеркивал, что составление атласов с использованием численных методов отнюдь не включает в себя интерпретацию материала, что чуждо жанру атласа, а лишь систематизирует и упорядочивает диалектный материал. Весь материал Альер и Сеги обработали вручную, что дало им возможность глубоко продумать методику исследования, названную Сеги «диалектометрией» (по аналогии с «экономометрией», «социометрией» и др. [29]). Математический подход, примененный к чтению атласа, вытекает из самой сути ареалогии, основоположником которой является Ж. Сеги. Именно ему принадлежит определение ареала как «основного оперативного понятия диалектологии» [30], и неслучайно он возвращается к «ареальной диалектологии» [31]. Теоретические рассуждения Сеги нашли практическое воплощение, как в появившемся уже после его смерти VI томе Атласа Гаскони, в сводных картах которого (карты изоглосс) учитываются не только лингвистическая, но и статистическая характеристики явления, так и в V томе этого атласа, составленном учеником и последователем Сеги — Ж. Альером.

10. Круг вопросов, решение которых подсказано пространственным расположением фактов (ареалом): а) внутрилингвистические — исследование структуры языка (диалекта), семантики и других языковых уровней; б) внешнелингвистические — проблема соотношения литературного языка и диалекта и динамика их развития, границы распространения диалектов и их деление на поддиалекты, языковая непрерывность (или прерывность) территории; в) внелингвистические — связь с историей, этнографией, зависимость от природных условий, а также от культурного и экономического состояния региона, связь слова с реалиями, т. е. вещью, понятием.

Установление ареала — это только техника работы и лингвогеографического исследования; важна его интерпретация, т. е. выявление и подтверждение тех гипотез, которые возникают при чтении ареала и приводят ареалогию к постановке широких задач. Эти задачи сформулированы во введении к «Лингвистическому атласу Европы»: семантические универсалии, фонология и морфология индоевропейских языков, структурное синхронное описание разных языковых уровней, проблемы языковых контактов в родственных и неродственных языках и др. Наряду с этими с собственно лингвистическими задачами поставлены и экстралингвистические задачи: «атлас должен служить также полезным пособием для изучения следов больших культурных движений народов Европы: доиндоевропейские языки, древнейший индоевропейский, взаимоотношение древнейших племен, большие миграции, греческая и римская культуры, соотношение между германскими и романскими языками, а также между славянскими и германскими, переселение викингов, торговые пути — сухопутные и морские, крупные государственные единства последнего тысячелетия, влияние факторов культурных, социальных и религиозных, пути распространения таких современных предметов, как опиум, табак, велосипед и др. Главное внимание будет обращено на проблемы субстрата, адстрата и суперстрата» [32].

---

[29] См.: J. Séguy, La dialectométrie dans l'Atlas linguistuque de la Gascogne, стр. 1.

[30] См.: J. Séguy, Les atlas linguistiques de la France..., стр. 86.

[31] См.: J. Séguy, La dialectométrie..., стр. 24.

[32] См.: «Atlas linguistique de l'Europe (ALE), Introduction. Deuxième projet», par Weijnen,. Nimègue, 1972, стр. 2—3.

В первом выпуске материалов к «Лингвистическому атласу Европы» на примере терминов, выражающих понятие «колесо» А. А. Вайнен выделяет две универсальные зоны: а) ром. *rota*, герм. *Rad*, литов. *ratas*, происходящие из **reth-*; б) русск. *колесо*, англ. *wheel*, швед. *hjul*, происходящие из **kwel-*. Эти два ареала являются результатом различий в культуре разных народов и различных контактов между ними. На примере того же понятия М. Л. Алиней, исходя из своей теории семантической плотности лингвистических ареалов, пересматривает некоторые вопросы романизации Италии и возникновения диалектных различий [33].

Этот первый опыт межъязыковой лингвистической географии раскрывает возможности диахронного подхода к синхронным языковым явлениям, которые объективно могут быть исследованы только ареальными методами.

11.1. Романские языки в ареалогическом освещении: внешнелингвистические явления. Основные четыре ареала романских языков имеют по три подтипа: ибероромансский — испанский, португальский, каталанский; галлороманский — французский, провансальский, франкопровансальский; италороманский — итальянский, сардский, ретороманский; дакороманский — румынский, молдавский, далматинский. Ретороманский может быть выделен в самостоятельный, пятый, ареал с подразделением на три подтипа: сельвский, энгадинский и фриульский. С точки зрения традиционного романского языкознания, учитывавшего прежде всего литературные языки, ибероромансские и дакороманские языки считаются краевыми, в то время как галлороманские и италороманские — центральными [34]. Эта точка зрения может быть подвергнута критике как со стороны внелингвистических данных, так и с позиции структурно-лингвистической организации этих языков. Признание одних языков центральными, других маргинальными в данном случае вытекает из упрощенно понятой географии и тех многочисленных и подчас случайных совпадений, которые существуют между испанским и румынским языками и которые с равным успехом могут быть найдены для любых других языков. С точки зрения лингвогеографической и ареалогической, учитывающей реальное функционирование языков и диалектов, на карте распространения романских языков центральными следует считать португальский, испанский, французский, итальянский и румынский языки; периферийная область охватывает зоны бытования галисийского, андалузского, каталанского, провансальского, валлонского, сардского, южноитальянского, ретороманского и молдавского языков [35].

Перечисленные языковые области представляют на фоне основного деления ряд типичных ареалов: провансальский — тип сплошного ареала, с тенденцией к превращению в размытый ареал; сардский — островной ареал (архаичный); валлонский — маргинальный ареал, находящийся за пределами государственной границы, но не оторвавшийся от основного (сплошного) ареала; ретороманский — промежуточный ареал между восточными и западными романскими языками; каталанский — маргинальный ареал сплошного ареала ибероромансских языков, находящийся в пределах государственной границы, но не имеющий контактов с востока.

---

[33] См.: A. A. Weijnen, M. L. Alinei, The wheel in the Atlas Linguarum Europae. Heteronyms and semantic density, Amsterdam, 1973.

[34] См.: M. Bartoli, указ. соч., стр. 6.

[35] См. карту и объяснение к ней в статье: M. A. Borodina, La géographie linguistique et la classification typologique des langues et des dialectes romans, сб. «Actele celui de-al XII-ea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică», I, București, 1970.

Для того чтобы показать, сколь различны по содержанию могут быть даже подтипы одного ареала, приведем примеры маргинальных ареалов, оказавшихся за пределами основного ареала, но не оторвавшихся от него, т. е. не превратившихся в островные. В пределах зоны распространения романских языков таковыми являются галисийский между португальским и испанским, каталанский на территории Франции, валлонский на территории Бельгии, диалекты Монако (франко-итальянский ареал), Андорры (испанский) и Сан-Марино (итальянский). Переходная франко-итальянская зона, французский и итальянский языки Швейцарии, французский язык в Люксембурге, литературные диалекты Италии, положение истро-румынского и молдавского — каждый из этих случаев имеет свою лингвистическую и внелингвистическую специфику, поскольку эволюция разных типов маргинальных ареалов весьма многообразна — от затухания до развития в самостоятельные языки.

Маргинальный ареал, обычно считавшийся архаичным, реликтовым, как показывают новейшие исследования, в равной мере может быть и инновационным. Последнее, как правило, является результатом контактирования маргинала с адстратом, в результате чего рождается новая структура. Так получилось в граубюнденском ретороманском (Швейцария), где органично слились романские и германские элементы, а также в Молдавии — в романско-славянской контактной зоне. В то же время лотарингский диалект французского языка почти не контактирует с соседним германским адстратом.

Традиционно зона распространения романских языков рассматривается как прерывный ареал: дакороманские языки оторваны от остальной территории, и это объяснялось тем, что их область захвачена в результате военной колонизации (а не постепенного покорения римлянами близлежащих земель). Более тщательное исследование зоны «разрыва» показывает, однако, непрерывность романского ареала. Диалектные данные дают возможность реконструировать структуру далматинского (Ж. Мульячич), острова́ истрорумынского, меглено-румынского и арумынского, рассеянные между дакороманским и италороманским массивами, романизмы в албанском — все это говорит не столько о разрыве, сколько о размытости непрерывного в прошлом романского ареала, что наглядно показано на одной из карт С. Попа [36].

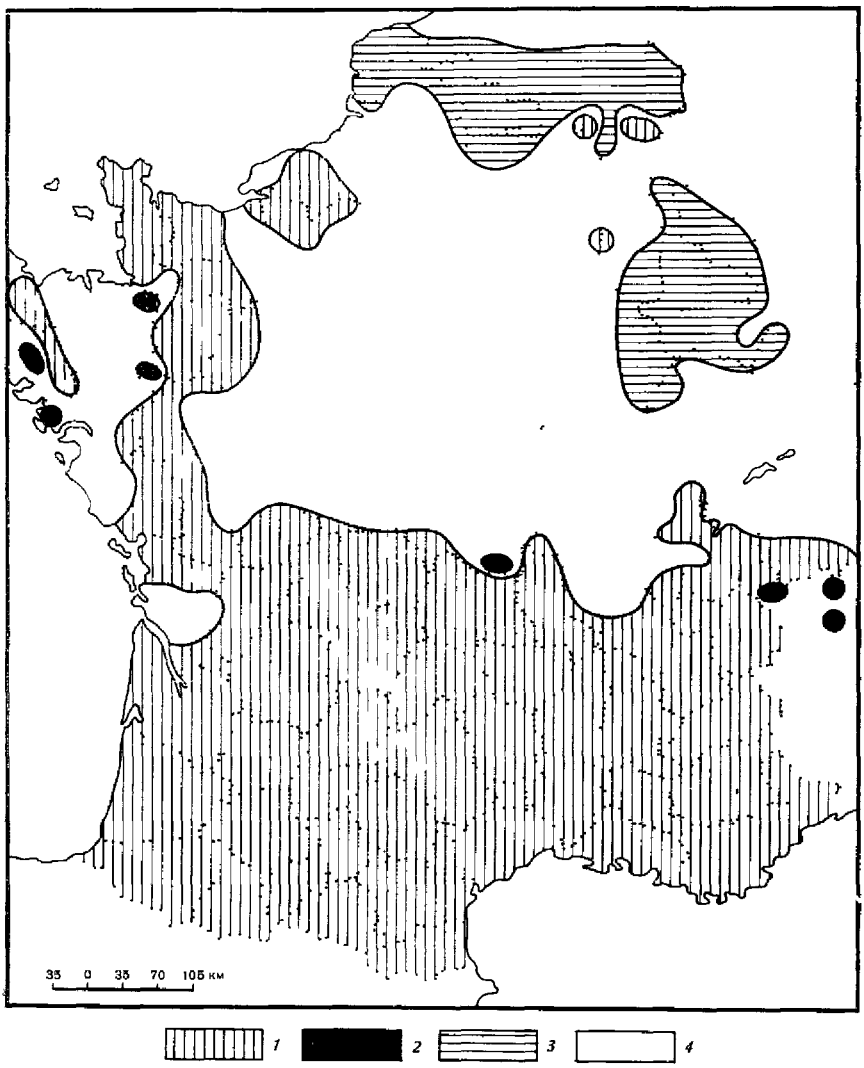
11.2. Собственно-лингвистические явления.

а) Из исторической фонетики французского языка. Развитие одного из наиболее частотных звуков классического латинского *ĭ* > вульг.-лат. *ē* в открытом слоге под ударением происходит примерно в течение пятнадцати веков — от раннего вульгарно-латинского периода до XVI в. включительно. Цепочка основных этапов (их всего пять) представляется в следующем виде:

	1	2	3	4	5
класс лат.	вульг.-лат.	VI в	XII в.	XIII в	XVII в.
ĭ	> *ē*	> *eɪ*	> *ɔɪ*	> *ue*	> *ua*
dĭgĭtŭs	*de, det*	*deɪ (t)*	*doɪ*	*due*	*dua*

Все эти этапы, начиная от самого раннего, сохраняются на современной лингвогеографической карте, образуя соответствующие ареалы (см. карта 1). Первый этап — отсутствие дифтонгизации — представлен в

[36] См : S. Pop, La dialectologie. Aperçu historique et methodes d'enquêtes linguistiques. I. pt.— Dialectologie romane, Louvain — Gembloux, [1951], стр. 670, карта № XLIX «Области, где в наши дни говорят на румынском языке».



Карта 1. *Doigt* (по Лингвистическому атласу Франции, карта 416): 1 — *de* (говоры Запада), *de*, *det*, *dit* (провансальские говоры); 2 — *dej*; 3 — *doj*, *dœj*, *do*, *dœ*, *dwo*, *dwe*; 4 — *dwe*, *dwa*

провансальском, где он образует сплошной (компактный) ареал, что и характеризует столь весомый и самостоятельный языковой регион в целом, а также западную зону. Второй этап (самая ранняя трансформация — VI в., по Ж. Страка) — расщепление *ē* > *ei* — охватывало в раннестарофранцузский период всю территорию французских говоров и в наши дни сохраняется в единичных островках, расположенных повсюду на периферии французских говоров, нигде не составляя сколько-нибудь компактного маргинального ареала. Третий этап — развитие *ei* > *oi* (связанное с огублением *o*, характерным для говоров северо-востока) — распространилось по всей территории французских говоров уже в XII—начале XIII в. В XIII в. начинается переход в *we* (четвертый этап). Это более позднее явление наблюдается в компактной маргинальной зоне на северо-востоке Франции.

Длительный, многовековой период колебании между формами *we ua* не мог не отразиться на лингвогеографической структуре современного ареала; действительно, в центре эти две формы встречаются вперемежку, без перевеса в ту или иную сторону. Соответственно и в городских подгодиалектах, равно как и в региональной речи, нередко можно услышать *we*, абсолютно недопустимое в литературном языке Так, в самом Париже, у людей родом из северо-восточного района Бельвиль, где эти формы были особенно устойчивы, еще и сегодня можно услышать /mwe/ вместо /mwa/ и т. д (по личным наблюдениям).

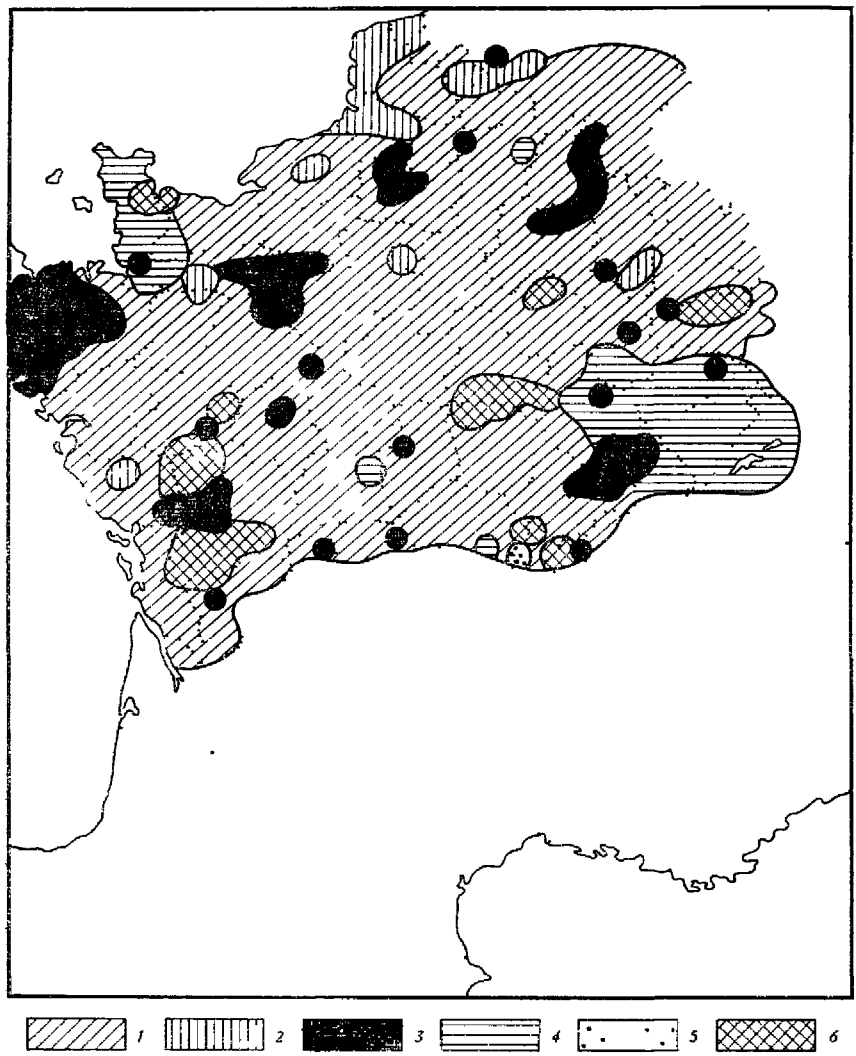
Как показывает современный северо-восточный ареал сохранения стадии *we* < *oi*, а также общая тенденция северо-восточных говоров к лабиализации, первоначально переход *ei* > *oi* произошел на северо-востоке, что отчетливо прослеживается и по письменным документам, согласно которым *oi* возникло на севере (Французская Бельгия) и постепенно спускалось на восток (конец XI в — конец XII в) Центрально-западные говоры сохранили стадию /ei/ иногда с последующей монофтонгизацией в /e/. А. Одрикур в своем структурно-фонологическом исследовании, посвященном франц. *ei* > *oi*, доказал, что северо-восточное *oi* > *we* > *wa* заимствовано центральными говорами, в которых в силу их фонологических особенностей оно не могло развиться [37]

б) Из современной морфологии французского языка. В картах отражается не только проекция в прошлое, но подчас четко выражены и новые тенденции, обусловленные всем ходом исторического развития В качестве примера приведем особенности флективного выражения категории рода прилагательных. Старофранцузскому языку, за редкими исключениями, было свойственно четкое флективное выражение категории рода, поскольку современный так называемый «немой е» произносился С утратой его произношения (при сохранении написания) в устной форме речи более половины прилагательных утратило форму рода, т. е. стало аморфными (ср *amer*, *ami*, *âpre*, *bel*, *bleu*, *braie*, *calme*, *cher*, *claire*, *courbe*, *dense*, *dur* и др производные прилагательные с суффиксами *—able*, *-ace*, *-aire*, *-esque*, *-ible*, *-iste*, *-ique*, *-oire*) [38].

Исчезновение в сознании говорящего обязательности категории рода, выраженной в самой форме слова, трудности образования форм этой категории у многих прилагательных, у которых она осталась, привели к дальнейшему распаду флексий прилагательных в народной речи и к еще большей ее деградации в диалектах. В диалектах исчезновение категории рода сказалось в двух противоположных тенденциях. форма рода выражена, но неправильно — форма рода не выражена. См на карте 2 ареальное распределение форм прилагательного *vif*, *-ve* «живой, -ая». Поскольку оглушение конечного звонкого согласного в диалектах весьма распространено и закономерно, наибольшее распространение получает аморфная форма *vif*, кстати, характерная и для литературной разговорной речи. Ареал *vif*, id. покрывает значительную территорию распространения французского языка. Остальные варианты (включая другие лексемы) представляют собой острова неологизмов, разбросанные без какой-либо закономерности по всей изучаемой территории Здесь не наблюдается соотношения ни с диалектными границами, ни с административными или субстратными, конфигурации ареалов однообразны. Исключением является лишь зона франкопровансальского, для которой характерна

[37] A G Haudricourt, Problèmes de phonologie diachronique français *ei* > *oi*, в его кн «Problèmes de phonologie diachronique», Paris, 1972

[38] См M A Borodina, L'adjectif et les rapports entre sémantique et grammaire en français moderne, «Le français moderne», 1963, 3,



Карта 2. Род прилагательных в говорах Франции (по Лингвистическому атласу Франции, карта 1391 *Vif*, *vive*): 1 — *vif*, id; 2 — *viv*, id; 3 — *vif*, *vive*, 4 — *vi*, *vive*, 5 — *vi*, id, 6 — другие лексемы (*abil*, id, *avisé*, *-ée*; *gai*, *-te*; *possedé*, *-ee*, *vigoureux*, *-se*, *violent*, *-te* и некот. др)

усеченная и тем самым как бы укрепленная форма муж. рода *vi* (литературная форма жен. рода — *vive*).

Ареальная интерпретация этих двух карт показывает, что, когда речь идет о сохранении старых форм (пример развития *ē* > *we*), то их распределение на современной карте неразрывно связано с целым рядом предсказуемых особенностей как экстралингвистических, так и ареальных. Иначе обстоит дело с новообразованиями (развитие прилагательных), возникновение которых связано со структурными взаимоотношениями сугубо лингвистического плана (образования по аналогии, образования, подсказанные фонетическими возможностями, и т. д), но не с факторами ареального и экстралингвистического плана. Таким образом, карта объясняет найденные явления, а не только их иллюстрирует, что особенно важно для языков, у которых нет столь большой письменной документации, как, например у фран-

цузского языка, а тем более для бесписьменных и младописьменных языков [39].

в) Из сравнительной лексикологии и семантики романских языков. В анкетах романских национальных атласов совпадает некоторое количество вопросов, что позволяет лингвогеографически исследовать общероманский ареал. Рекартографирование на сетке одного масштаба во всех романских языках понятия «виноградная лоза» показало, что лексемы, выражающие это понятие, не совпадают в ибероромансном, галлороманском, италороманском и западноромансном ареалах. Более 70 лексем, этимологически не возводимых к лексическому единству, характеризуют эту территорию. Наряду с этим раскрытие внутренней формы названных слов путем их исторического анализа по семам показало, что для всех четырех романских ареалов характерны образования, включающие следующие группы исходных понятий: а) палка, прут, ствол, ветвь; б) нечто вьющееся; в) куст, растение. Для трех романских ареалов в названиях лозы характерны группы исходных понятий: а) дно, основание; б) нога, в) голова, верхушка. На сводной семантической и лексической карте понятия «виноградная лоза» отчетливо прослеживается семантическое единство романского ареала при его лексическом многообразии [40].

Приведенные выше примеры показывают, что ареал не конструктивное абстрактное понятие, а непосредственно данная языковая действительность. Это не противоречит, однако, тому, что в ареалогии мы можем оперировать обобщенно-условными ареалами, точнее картографическими изображениями ареалов, т. е. картой (обычно условной) как моделью языка. В данном случае речь идет об абстрагировании географической формы, но не лингвистического содержания. Анализ карт показывает также, что ареал — понятие сугубо историческое.

12. Заключение. Понятием «ареал» оперируют самые разные науки — общественные (языкознание, история, этнография), естественные (география, геология, биология), физико-математические (климатология, геофизика). Общее, что объединяет эти науки,— это их отношение к пространству, в связи с чем их называют хорологическими науками, от греч. χορός «место, площадка (для хора)». Соответственно лингвистическая «изоглосса» транспонируется в изоэтну, изопрагму, изохору, изохрону и т. д., а под «изолинией» следует понимать линию, ограничивающую ареал, независимо от его принадлежности к той или иной дисциплине. Изолиния так же, как и ареал, является термином, общим для всех хорологических наук. При разном содержании и различной обусловленности ареалов методика и типология их исследования имеет много общего [41], поскольку в основе ареалогии лежат достижения теоретической географии, точнее — метакартографии [42].

[39] В ареалогии морфологический аспект представлен менее полно, чем другие аспекты языка, несмотря на то, что он является очень существенным. См. об этом: Г. Ф. Благова, К методике историко-ареальных сопоставлений в тюркологии, ВЯ, 1972, 5, где именно исходя из морфологического материала выделяется ряд методических принципов ареальных исследований.

[40] См.: М. А. Бородина, П. И. Рошка, С. П. Николаева, С. А. Кокошкина, Опыт рекартографирования и интерпретации общероманского ареала, ПКЯЭ.

[41] См.: А. И. Толмачев, Введение в географию растений, Л., 1974, стр. 15—110 «Основы учения об ареалах»; М. А. Бородина, О типологии ареальных исследований, ПКЯЭ, а также: A. Guiter, Geographie linguistique et biogéographie, «Revue des langues romanes», 76, 1964.

[42] См.: В. Бунге, Теоретическая география, М., 1967, а также: А. Ф. Асланикашвили, Метакартография. Основные проблемы, Тбилиси, 1974; Д. Харвей, Научное объяснение в географии. Общая методология науки и методология географии, М., 1974.

Из зарубежных романских диалектологов и лингвогеографов ближе всего к ареалогии подошел П. Гардет. Теоретически, однако, достижения ареалогии суммированы Ж. Сеги. Именно этот ученый, полагавший, что в плане эпистемологии диалектный факт должен вызывать не меньший интерес, чем другие аспекты языка, например, углубленное исследование стандартных языков, подчеркивает: «совсем недавно в диалектологии появились первые обобщения, и отныне диалектологи должны стараться влиться в общее языкознание» [43].

Ареалогия — это область исследований, тесно связанная с изучением всего многообразия конкретной языковой действительности. Исследование языка в этом направлении помогает обобщенно отразить действительность и тем самым глубже познать ее закономерности. Представляется, что лингвистические атласы как основные источники ареалогии вернут диалектологии ее истинное значение для языкознания, характеризовавшее диалектологию XIX — начала XX в. Впоследствии из-за первоначальных трудностей, которые испытывали составители атласов и их читатели, а также из-за положения Ф. де Соссюра, относившего диалектологию и лингвогеографию к экстралингвистике [44], на некоторое время первостепенное значение диалектологии было утеряно.

В заключение суммируем понимание терминов ареальных исследований. В сферу ареальных исследований входят: а) индоевропейская ареальная лингвистика, б) диалектология, в) лингвистическая география и г) ареалогия. Индоевропейские ареальные исследования базируются в основном на гипотезах и косвенных источниках: диалектология изучает определенный идиолект или систему идиолектов преимущественно в «полевых» условиях; под лингвистической географией (или лингвогеографией) понимается составление атласов и их первичная обработка, в то время как ареалогия, извлекая данные пространственных расположений из лингвистических атласов и других достоверных источников, путем построения системы ареалов и их моделирования способствует раскрытию истории лингвистического явления. Таким образом, ареалогия не занимается ни собственно диалектологией, ни созданием атласов, ни целенаправленно праиндоевропейскими проблемами (на которые, однако, могут быть транспонированы ее закономерности); она связана прежде всего с реконструкцией письменных, но также и бесписьменных языков [45] и тем самым может оказать неоценимые услуги сравнительно-историческому языкознанию.

Что касается термина «пространственные исследования», то он в известной мере синонимичен термину «ареальные исследования», но его лучше избегать, поскольку близкий термин «пространственная лингвистика» (равно как и термин «неолингвистика») относится к области истории лингвистических учений.

---

[43] J. Séguy, Les atlas linguistique de la France par régions, стр. 85—86, 88.

[44] F. de Saussure, указ. соч., стр. 41, 261.

[45] Система понятий ареалогии, разработанная на материале языков, для которых составлены лингвистические атласы и которые располагают достаточным количеством старых текстов, может быть применена также к младописьменным и бесписьменным языкам.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

В. Н. ТУРКИН

К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

В последнее время в советском языкознании вновь усилился интерес к вопросу о том, что и в какой мере социально обусловлено в языке [1].

Одни языковеды отрицают наличие «классовых» особенностей в языке: язык — не надстройка и не базис и поэтому безразличен к их судьбе. Другие подчеркивают, что классовые моменты вносятся в язык только экстралингвистическими факторами в процессе его функционирования. Наконец, третьи отмечают, что, хотя «классовое» возникает в процессе функционирования языка, все же в структуре языка, особенно в лексике, оно реально существует [2].

И действительно, если отрицать классовые особенности в языке классового общества, то вряд ли можно было бы объяснить появление в его системе общественно-политической, социальной и профессиональной лексики, т. е. разрядов слов, формируемых классами, социальными и профессиональными группами населения. Только крестьянскими, пожалуй, можно считать такие, например, русские слова производственного назначения, как *жать* «убирать хлебные злаки серпом, косами или жатвенными машинами» при общенародном *косить*, *обжинок* «колос, оставшийся несжатым», *обсевок* «случайно обойденное при посеве место, незасеянная полоска на пашне», *одонье* «снопы, сложенные особым образом для хранения под открытым небом», *нажин* «количество сжатого хлеба» и под. А такие слова, как *вабило* «крыло птицы, на котором ловчая птица получает приманку», *вабить* «манить к себе сокола или ястреба», *вервь* «шнур», *должик* «прочный ремень с утолщением на конце», *ворволки*, *вотолки*, *клобучок*, *колокольцы*, *нагрудник*, *нахвостник*, *обножи*, *сильца* «принадлежности соколиного или ястребиного наряда», *гвозди с сильями*, *кутень*, *опрометь*, *понож*, *помец* «приспособления для ловли птиц»; *гнездарь*, *дикомыт*, *молодик*, *розмыт*, *слеток* «виды соколов и ястребов по возрасту» являются принадлежностью профессиональной лексики ловцов птиц.

Возникновение подобных слов и выражений социально обусловлено общественным положением или профессией говорящих. Это наиболее сложный и чувствительный к изменениям в общественной жизни пласт слов. Ярко и наглядно в ней обнаруживается связь развития языка с историей народа. Как орудие познания она является объектом изучения как языкознания, так и истории.

К сожалению, этот структурный пласт словаря исчерпывающе не исследован до сих пор. Недостаточно изучены процессы формирования этой лексики, отношение к стилевым разновидностям, не установлено ее место среди иных разрядов лексики.

---

[1] См. сб. «Язык и общество», Саратов, 1967; «Язык и общество», М., 1968; «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, а также: Р. А. Будагов, История слов в истории общества, М., 1971; его же, Человек и его язык, М., 1974.

[2] Ср.: Ф. П. Филин, К проблеме социальной обусловленности языка, ВЯ, 1966, 4, стр. 31, Р. А. Будагов, История слов в истории общества, стр. 62.

Мы полагаем, что к общественно-политической терминологии следует относить систему номинативных единиц разного происхождения, которые специализированы лексически (термины-лексемы), семантически (семы общенародных слов) и фразеологически (устойчивые названия) в письменном и устном общении населения для выражения социальных реалий в сферах политической, экономической, административной, судебной, одним словом, в области производственных отношений как структуры общественных отношений.

Системный характер ее определяется как в экстралингвистическом, так и в интралингвистическом планах. Прежде всего носители языка, называя то или иное новое социальное явление, познают, естественно, не только его существенные, но и случайные признаки. Изучая и осваивая социальную реалию, ее признаки, люди соотносят познаваемое с уже познанным, устанавливаемое с установленным, только что называемое с уже названным. Чтобы представить социальную реалию в ее целостности, недостаточно просто ее обозначить, нужно установить название в системе. Это значит, что в основу новых названий кладутся признаки, имевшиеся в социальной действительности и осмысленные в терминологической системе. Состав этих признаков определялся конкретной историей и сферой социальных отношений.

Лексические сословные инновации Московской Руси XV—XVI вв., например, семантически мотивировались преимущественно названиями: объекта владения (*своеземец* [3] от *своя земля*); вида платы (*поземщик* от *позем*); способа службы (*послужилец* от *по службе*); места жительства (*окологородец* от *около города*, *посадские люди* от *люди посада*, *деревенщик*, *селянин* от *деревня*, *село*, *слободчик* от *слобода*); географического пункта (*Сурожанин* от *Сурож*); объекта торговли (*суконник* от *сукно*); производственной функции (*подворник*, *сосед*, *подсоседник*); способов расчета (*серебреник* от *серебро*, *закладчик* от *заклад*, *половник* от *половина*, *третник* от *треть*). Инновации, названия должностных лиц данного времени семантически мотивировались через набор нескольких иных признаков, которые выражались в названиях видов службы (*дозорщик* — *дозор*, *описчик* — *опись*); объектов службы (*истобник* — *истба* и *изба*, *векошник* — *векша*, *пищальник* — *пищаль*, *езовщик* — *ез*); должностных функций (*масляник* — обеспечивающий маслом, *померщик* — собирающий помер). Эти признаки и характеризуют образ представления русским населением той или иной социальной реалии.

С другой стороны, изменения в истории общества представляют собой все же не что иное, как импульс для перемен в социальной лексике. Лексический, семантический или фразеологический характер инновации устанавливается системой терминов, т. е. способом осмысления исходных экстралингвистических признаков. Последний же квалифицируется лексико-семантическим содержанием системы, местом новой номинации среди имевшихся, способом представления тех или иных признаков.

Все это значит, что если импульс для появления общественного термина нужно искать в экстралингвистике, то лингвистический характер новообразования следует объяснить терминологической системой. Именно она определяет способ специализации, квалифицирует сущность и развитие новой номинации, формирует ее свойства. В связи с тем, что в социальном термине переплетаются экстра- и интралингвистические факторы, при изучении общественной терминологии возможны три подхода (два из них соответствуют интралингвистическому аспекту, один — экстралингвистическому). В синтагматическом плане термины рассмат-

[3] Здесь и далее в примерах приводим современную орфографию.

риваются в контекстах, в линейном расположении, в закономерном сочетании друг с другом, а также с другими словами. В парадигматическом плане изучаются словарь терминов, отношения между их лексико-семантическими разрядами без обращения к контекстам. Наконец, в историческом и сравнительно-историческом аспектах исследуются термины в составе лексико-семантических или лексико-тематических групп с учетом связи истории лексики с историей народа. Не противопоставляя один аспект другому (они приводятся в порядке, соответствующем стадии обнаружения термина, установления его структурного положения в системе), рассмотрим общественно-политические термины (далее ОП) со стороны синтагматического и парадигматического подхода.

Прежде чем перейти к описанию синтагматики ОП, отметим, что общественно-политическая терминология не закреплена за определенным стилем. Если и говорить о какой-либо прикрепленности терминов к стилям, то речь может идти только о том, насколько часто ОП в них встречаются.

Если ОП в основной своей массе не сориентированы на конкретный стиль, то на уровне предложения может идти речь о каких-то закономерных сочетаниях между ОП, определяющих порядок их следования. Вступая друг с другом в однородные семантико-синтаксические связи, они в составе предложения занимают места, соответствующие степени важности реалии.

На уровне словосочетания о каких-то закономерных лексико-грамматических сочетаниях ОП с разрядами слов можно говорить менее уверенно.

Слова многозначны, термин — однозначен. Почти каждый из социальных терминов имеет определенный идеологический вес, его семантическая сущность определяется соотнесенностью с социальной реалией. В связи с этим общественно-политическая терминология испытывала и испытывает влияние классов, социальных прослоек в бо́льшей степени, нежели общенародная лексика. Факты внешнего влияния, которые весьма опосредствованно затрагивают систему значений общенародных слов, в социальной лексике играют большую роль.

Таким образом, в противоположность слову, ОП обладает следующими особенностями:

ОП	Слово (полнозначное)
соотносится с социальными понятиями;	не имеет такой соотнесенности;
обычно содержит классовую квалификацию;	обычно не содержит ее;
однозначен для одних разрядов и многозначен для других;	обычно многозначно;
специализируется системой;	допускает специализацию в словоупотреблении, речи;
автономен по отношению к системе языка в некоторых ее звеньях.	не обладает такой автономностью.

Несколько по-иному складываются парадигматические отношения между общественными терминами, с одной стороны, и номенклатурными знаками, с другой (под номенклатурой подразумеваем совокупность употребляемых в какой-либо специальности названий; например, в авиации ИЛ-62, ИЛ-62А, АНТ-25, ТУ-104, ТУ-144, ЯК-40 и под.):

Социальный термин	Номенклатурный знак
связан с социальными понятиями;	связан с предметами;
имеет меньшую автономность по отношению к системе языка.	имеет большую автономность по отношению к системе языка.

Парадигматически общественно-политический термин отличается от термина естественных наук следующими признаками:

ОП	Термин естественных наук
направлен на реалии социальной действительности;	направлен на реалии природы;
формирует понятия в результате познания и освоения социальной действительности;	формирует понятия в результате профессионального познания и освоения природы;
устанавливает социальные связи понятий, суждений и умозаключений;	устанавливает профессиональные связи понятий, суждений и умозаключений;
обычно различно воспринимается классами антагонистического общества;	обычно одинаково воспринимается классами антагонистического общества;
специализируется лексически, семантически и фразеологически;	специализируется так же;
обычно носит классовый характер (по семантике);	обычно носит бесклассовый характер (по семантике);
однозначен или многозначен (по разрядам);	однозначен;
специализируется на основе общенародного слова;	обычно не специализируется на основе общенародного слова.

Со стороны различия в речи все ОП можно подразделить на два основных разряда: 1) имплицитно классовые, но эксплицитно бесклассовые (названия должностных лиц, единиц территориально-административного деления, жанров литературы, учреждений, действий судебных и административных лиц и под.); 2) имплицитно и эксплицитно классовые (термины политэкономии, социологии, литературоведения, искусствоведения, философии и под.).

ОП второго рода окрашены в «цвет» того общественного класса, с позиций которого познается и осваивается социальная действительность. В его узуальное употребление и понимание входит классовый, социальный момент. Как видим, и в парадигматическом противопоставлении ОП терминам естественным устанавливаются общие и отличные черты. Общее в терминах обеих отраслей знаний проистекает из связи естественных наук с социальными. Отличное — из того, что при всей связи между ними сохраняются различия. И хотя это различие не абсолютно, все же с ним нельзя не считаться.

Именно классово-оценочный момент может явиться импульсом для изменений в общественной терминологии как подсистемы общенародного языка. Он может стать причиной как количественных, так и качествен-

ных изменений. В первом случае существующая терминология утрачивает свои конститутивные единицы или пополняется новыми, во втором случае преобразуется семантическое содержание социальных терминов. Если, скажем, за время с 1917 по 1930 г. вышли из обихода и появились сотни новых социальных терминов русского языка, то можно говорить о количественном обновлении социальной терминологии. И если на основе сохранившейся словоформы образуется новая семантика, то речь может идти только о качественном обновлении.

Классовым (имплицитно и эксплицитно) терминам противопоставляются имплицитно классовые, но эксплицитно бесклассовые термины. Последние, как показывает наша картотека, представляют собой нередко результат специализации общенародного слова. В этом случае лексико-грамматические границы между ним и общенародным словом размываются. Закон асимметризма в социальном термине этого рода особенно дает себя знать. В смысловой структуре такого термина сохраняются некоторые значения исходного слова или прослеживается сдвиг от однозначности к многозначности. Но эта тенденция в различных тематических группах проявляется по-разному. Так, сословные термины в истории, как правило, имели по два-три значения, тогда как должностные обычно являются однозначными. Ср. наименования различного рода должностей типа *заведующий*, *председатель*, *бухгалтер* и под. Это качество сближает социальный термин со словом, приводит к образованию переходных лексических пластов. Ведь в идеале ОП — слово, у которого между означаемым и означающим существует однозначное соответствие — термин-понятие. В данных же случаях, поскольку термин образуется на основе слова или обрастает созначениями, постольку он получает двоякую функцию: с одной стороны, означает социальную реалию, с другой — понятие.

Семантика многих социальных терминов второго рода включает стержневые и переносные значения. Если стержневые значения соотносятся с социальными реалиями, то для переносных такое соотношение не обязательно.

При системном подходе, разумеется, приходится переходить от естественного к формализованному языку посредством введения понятия «смысл». При этом исходят из того, что семантика социального термина имеет не один, а два параметра: значение и смысл. Значением его является реалия, обозначаемая этим термином. Смыслом — заключенная в термине информация о его значении. Изучение смысла, таким образом, показывает, как и каким образом проявляется значение в системе. Если признать такую семантическую бинарность, то при исследовании социального термина можно применить метод компонентного анализа. На основе смысла, составленного из сем, каждая из которых характеризует способ выделения каждого подмножества из множества реалий, строится семантическая модель группы терминов. При таком допущении семантическая структура термина образует внешнепарадигматические и внутрипарадигматические отношения, характеризуемые наборами семантических различительных признаков. Если внешняя семантическая парадигма, создаваемая группой терминов, которая состоит из квалифицируемого родовым признаком набора видовых семантических признаков, не выполняет смыслоразличительной функции, то внутренняя семантическая парадигма обладает этой функцией. Тем самым устанавливаем два основных вида структурных семантических отношений между социальными терминами. Термины в составе различных внешних семантических парадигм находятся в отношении оппозиции, термины в составе одной внутренней парадигмы — в отношении контраста.

Термины, составляющие парадигмы, в данной статье выделяются по методу Т. П. Ломтева [4]. При этом принимаются во внимание не только интралингвистические, но и экстралингвистические факторы. Это значит, что: 1) устанавливается, кем, когда, в каких условиях общения нарушается старая и вводится новая дистрибуция; 2) определяются последовательные корреляции между лексическими и экстралингвистическими фактами, которые выступают в качестве импульсов лексико-семантических изменений. Например, древнерусские термины *князь* и *царь* (*цесарь*) в IX—XII вв. находились во взаимном семантическом контрасте, потому что их смысл различался внутри парадигмы по релевантному семантическому признаку «исконный — иноземный» (при общих признаках — «высший, главный»); такой же тип отношений обнаруживается между смыслами терминов *варяг*, *русин*, *словенин*, *колбяг*, различающихся по семам «скандинавский, киевский, новгородский, литовский» (при общих семах «высший, старший»). Но по отношению к социальным терминам *купец*, *купчиха*, *гость*, *мастер*, *ремесленник*, *ремесленница*, как и *смерд*, *горожанин*, *кметь* они занимали положение семантической оппозиции, потому что различались не одним компонентом, а некоторым набором семантических компонентов, квалифицируемых разными родовыми признаками — «высший — средний — низший». Эти родовые семантические компоненты, как и квалифицируемые ими видовые, устанавливаются на основе исторического изучения общества. Метод компонентного анализа можно применить и при описании великорусской, староукраинской, западнорусской социальной лексики XIV — XVI вв., его можно ввести и в изучение современной общественно-политической терминологии.

Таким образом, в определение социального термина вводятся некоторые лингвистические признаки: синтагматические и парадигматические. С точки зрения первого подхода, социальные термины характеризуются закономерными сочетаниями между собой в предложениях в некоторых определенных контекстах. С точки зрения второго подхода, семантическое содержание термина определяет характер его парадигматических отношений между ним, с одной стороны, и номенклатурным знаком и естественным термином, с другой. Парадигматическое изучение приводит к наблюдению, что состав социальных терминов по своему семантическому содержанию не однороден. Существуют однозначные и многозначные социальные термины. Первые являются собственно терминами, вторые — словами. С точки зрения противопоставления языка и речи, социальные термины также бывают двух типов: классово эксплицитными и имплицитными и классово эксплицитными, но бесклассово имплицитными.

---

[4] См.: Т. П. Ломтев, Конструктивное построение смыслов имен с помощью комбинаторной методики, ФН, 1964, 2; его же, Принцип отражения и его значение для лингвистической семантики, ФН, 1970, 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Д. УОРТ

О ЯЗЫКЕ РУССКОГО ПРАВА

В работах некоторых исследователей история русского литературного языка предстает как почти тысячелетнее состязание двух враждебных стихий — импортированного, «чужого» церковнославянского языка, и «своего», автохтонного восточнославянского. Многочисленные и разнородные теории возникновения и развития русского литературного языка восходят к В. Е. Адодурову, М. В. Ломоносову, С. Т. Аксакову и др. и связаны, прежде всего, с именами А. А. Шахматова, С. П. Обнорского, Л. П. Якубинского, В. В. Виноградова, Б. О. Унбегауна, Ф. П. Филина и Р. И. Аванесова. Отдельные положения комментируются и разрабатываются также в работах Г. Хютль-Ворт, Н. А. Мещерского, М. А. Соколовой, Е. Т. Черкасовой, Л. П. Жуковской, И. С. Улуханова и других исследователей [1]. Работы даже крупнейших специалистов по истории русского языка нередко страдают прямолинейностью, увлечением предвзятыми схемами, неполным охватом всего сложного и отчасти — противоречивого фактического материала.

В многочисленных работах Б. О. Унбегауна защищается взгляд, согласно которому вплоть до XVIII в. существовало два письменных языка, один из которых — язык литературный, церковнославянский, а другой — язык нелитературный, русский; первый, по мнению Б. О. Унбегауна, употреблялся во всех видах религиозной письменности и в художественной литературе, а второй — в юриспруденции, административных документах, дипломатической и частной переписке и т. п. [2]. Эти два письменных языка оставались взаимно изолированными вплоть до XVIII в. Церковнославянские элементы, согласно этой точке зрения, смогли проникнуть в язык юридических документов лишь в эпоху Петра I, когда исчезли преграды, отделявшие приказный язык от языка церковнославян-

[1] Обзор имеющихся взглядов можно найти в многочисленных работах В. В. Виноградова. См., например: В. В. Виноградов, Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в., ВЯ, 1969, 6; его же, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2. Из новейшей литературы назовем статью: Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3. Понимание сложности исторического развития русского литературного языка в его жанровой многогранности представлено в работе: Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян, ВЯ, 1961, 1, а также в работах Б. А. Успенского и В. Д. Левина (см., например: «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II — Проблемы славянского языкознания, М., 1962).

[2] Из работ Б. О. Унбегауна отметим: Б. Унбегаун, Разговорный и литературный русский язык, «Oxford Slavonic papers», 1, 1950; его же, La formation des langues littéraires slaves: problèmes et état des questions, в кн.: «Langue et littérature. Actes du VIII Congrès de la Fédération internationale des langues et littératures modernes», Paris, 1961; его же, L'héritage cyrillo-méthodien en Russie, «Cyrillo-Methodiana: Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven, 869—1963», Köln — Graz, 1964; его же, Происхождение русского литературного языка, «Новый Журнал», 100, Нью-Йорк, 1970; его же, The Russian literary language: a comparative view, «The modern language review», 68, 1973.

ского [3]. Даже отмечая наличие некоторых церковнославянских слов и выражений вроде *крестное целование*, *искупление пленных*, *напраснство* и *небрежение* в Соборном Уложении 1649 г. и в предшествующих ему судебниках, Б. О. Унбегаун тем не менее утверждает, что «в „Русской Правде" нет церковнославянских слов. Нет их и в судебниках 1497, 1555 (? — *Д. У.*) и 1589 годов, как их нет и в Уложении 1649 года... Это положение изменилось лишь в XVIII веке, когда закончилось слияние русского административного языка с церковнославянским литературным языком» [4]. Таким образом, отрицается влияние церковнославянской стихии на язык русского права до XVIII в. Между «Русской Правдой» (древнейший список 1282 г.), судебниками 1497, 1550 и 1589 гг. (не упоминается почему-то так называемый Сводный Судебник 1606—1607 гг.) и Уложением Алексея Михайловича 1649 г. ставится знак равенства: они в равной степени свободны от церковнославянского влияния, и никакого языкового развития в этом отношении от XIII в. вплоть до XVIII в. не было.

Конечно, язык русского права с самого начала сильно отличался от языка собственно литературных текстов (в понятие «литературный язык» мы не включаем язык юридических текстов и новгородских берестяных грамот). Действительно, одним из существенных отличий приказного языка от языка литературных текстов является относительная свобода первого от церковнославянских элементов и относительная насыщенность ими последнего. Но это вовсе не значит, что язык русского права развивался (или, по Б. О. Унбегауну, скорее не развивался) в полной изоляции от церковнославянского языка. Нетрудно показать, что язык русского права с самого начала испытывал известное влияние со стороны церковнославянского языка и что это церковнославянское влияние постоянно возрастало в период от 1497 до 1649 г. Не претендуя на всестороннее изложение данного вопроса, мы хотим обратить внимание читателя на некоторый фактический материал.

Акад. С. П. Обнорский еще в 1934 г. утверждал, что язык «Русской Правды» свободен от церковнославянизмов (или считал их поздним наслоением). Несостоятельность его взглядов была доказана в 1941 г. А. М. Селищевым, приведшим целый ряд явных церковнославянизмов в языке «Русской Правды» вроде *разбой*, *разграбление*, *вражда*, окончаний *-аго* (*боярьскаго тиуна*, *до третьяго рѣза* и др.), *-ая* (*безъ всякоя свады*) и т. п. [5]. Аргументы А. М. Селищева представляются вполне убедительными. Менее известными являются некоторые данные из юридических документов XV—XVII вв., на которых мы здесь остановимся.

В Судебнике 1497 г., в котором, по словам Б. О. Унбегауна, «нет церковнославянских слов», мы находим целый ряд их. Этот первый большой законодательный текст Московского государства, сохранившийся в списке XVI в. [6], содержит и орфографические церковнославянизмы (по всей вероятности, употребленные под так называемым вторым южнославянским влиянием) вроде *рать татарскаа* 56 [7], *от церкви божиа* 59, *котораа*

---

[3] См.: Б. О. Унбегаун, Russe et slavon dans la terminologie juridique, RÉSl, 34, 1957.

[4] Б. О. Унбегаун, Язык русского права, «На темы русские и общие (сб. в честь проф. Н. С. Тимашева)», Нью-Йорк, 1965.

[5] С. П. Обнорский, «Русская Правда» как памятник русского литературного языка, «Известия АН СССР», 7-я серия, 1934, 10; А. М. Селищев, О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка [написано в 1941 г.], ВЯ, 1957, 4.

[6] Цит. по изд.: «Памятники права периода образования русского централизированного государства XIV—XV вв.» (= «Памятники русского права», 3, под ред. Л. В. Черепнина), М., 1953.

[7] Цифрами обозначаются отдельные статьи Судебника.

вдова 59, *чьа земля оранаа* 61, *подвойскым праваго десятка* 64, *перед великым князем* 68, и более традиционные церковнославянские написания окончаний вроде *с осмаго дня* 28, *до Новагорода до Великаго* 30, *по сына боярскаго* 45, *с списка суднаго* 64, *князь великий Иван Васильевич всея Руси* (Введение) (интересно отметить, что в следующем большом Судебнике 1550 г. имеется более архаизированная форма *всеа Руси*), *от правыя грамоты* 22, *от безсудныя грамоты* 25, *отпускныя грамоты не дати* 41 и др. В Судебнике 1497 г. находим и написание *-щ-* из **tj*, **kti*: *или кто стар, или немощен* 52, *хощет на поле с послухомь лезет* 48, *А ще кто пошлет пристава* 45. Префиксальное написание *раз-*, отмеченное Селищевым в «Русской Правде» в словах *разбой*, *разбоиникъ*, *разнаменати*, *разграбление*, в Судебнике 1497 г. отмечено, кроме слова *разбой* 7, 8, 38, 39, только в случае *по тому расчету* 4. Неполногласные формы засвидетельствованы исключительно от корня **perd*, а именно в наречиях и прилагательных *прежней*, *прежний*, *преж* и в предлоге *пред*, например: *а в ыной татбе и прежней довода на него не будет* 10, *в прежнем деле* 12, *в какове деле в прежнем* 14, *преж того неодинова крадывал* 13, *что пред ними купил* 46. Переписчик явно не ощущал никакой разницы между полногласными и неполногласными вариантами, как это видно хотя бы из примера *поставити пред наместником или пред волостелем или перед их тиуны* 37 [8]. Судебник 1497 г. содержит и традиционные выражения церковнославянского происхождения *по крестному целованию* 12, *без напраздньства* 55 и, наряду с более старым словом *послух*, нововведенное *свидетель*, *свидетельской* 59. В одном месте сохраняется (или скорее восстанавливается) рефлекс второго смягчения задненебных: *а езд на версту по дензе* 44. Таким образом, Судебник 1497 г. отнюдь не лишен церковнославянского влияния; наоборот, он содержит ограниченные, но тем не менее совершенно ясные следы того взаимодействия русского и церковнославянского языков, которое не прекращалось с киевских времен и которое можно проследить во многих жанрах русской письменности, включая и язык русского права.

В Судебнике 1550 г. [9] положение слегка меняется. Там менее часты искусственные южнославянские написания без йотации, хотя они и имеются, ср. *князь Иван Васильевич всеа Руси* (Введение). Сохраняются лексические славянизмы вроде *святитель*, *святителской* 91, *и тот товар погубит без напрасньства* 90. Слово *разбой*, восходящее к «Русской Правде» XIII в., встречается и в Судебнике 1550 г.: *А доведут на кого разбой, или душегубство, или ябедничество* 59. Как и в Судебнике 1497 г., в Судебнике 1550 г. употребляются формы *преж*, *прежний*, *пред*, но в еще большем количестве, ср.: *И будет по обыску в какове в прежнем деле прирочной человек з доводом* 57, *в прежних делах* 58, *а в ыной в прежней Татбы довода на него не будет* 55, *кого в прежних купчих в послусех нет* 85, *та вотчина прежнему продавцу безденежно* 85, *а где дворского нет и преж сего не бывал* 62, *которые дела преж сего Судебника вершены* 97 и т. п. Нововведениями в Судебнике 1550 г. по сравнению с Судебником 1497 г. являются числительное *седьмой* с *д* и прилагательное в неполногласной форме *градской*: *а не приедут сами к ответу... после срока за сто верст*

[8] Об истории этого корня см.: И. С. Улуханов, Предлоги *предъ* — *передъ* в русском языке XI—XVII вв., сб. «Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка», М., 1964, стр. 125—160, его же, Славянизмы и народно-разговорная лексика в памятниках древнерусского языка XV—XVII вв. (Глаголы с приставками *пре-*, *пере-* и *предъ-*), сб. «Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка», М., 1974.

[9] См.: «Памятники права периода укрепления русского централизированного государства XV—XVII вв.» («Памятники русского права», 4, под ред. Л. В. Черепнина), М., 1956.

в седмой день 75, *А государьскому убойце, и градскому здавцу... живота не дати, казнити его смертною казнью* 61. Таким образом, в Судебнике 1550 г. по сравнению с Судебником 1497 г. меньше орфографических южнославянизмов (первая большая волна архаизации уже прошла), но больше других церковнославянских форм (*седьмой, градской*). Это — переход к расцвету церковнославянской стихии, который отмечается со второй половины XVI в., особенно в Судебнике 1589 г.

Судебник 1589 г., хотя и остается в своей основе явно произведением собственно русского типа, все же свидетельствует о возрастающем влиянии церковнославянских по происхождению форм. В нем есть, конечно, и много восточнославянизмов вроде *по розчету* 10, *в розбое* 17, *похочет* 19, *перед судью* 29, *не мочно вершити дела* 30, *к намесничьим людем или к волостелным* 35, *по городцких и по волосных посылати пристава* 35, *з головы* 83 и т. д. Однако в целом ряде случаев Судебник 1589 г. показывает намеренную славянизацию текста: во многих случаях Судебник 1589 г. по сравнению с предшествующим ему Судебником 1550 г. заменяет окончание *-ого* на *-аго*, *розбой* на *разбой*, *семой* на *седьмой* и т. д. [10]. Вот некоторые из многочисленных примеров:

Судебник 1550 г.	Судебник 1589 г.
-ого	*-аго*
или дело запишет не по суду, ... без боярск*ого*, или без дворецкого... ведома 4	или список подпишет без боярск*аго* или без судьина ведома 4
и околничему полтина да за доспех убит*ого* три рубля 11	и околничему полтина да за доспех убит*аго* три рубли 15
-ие, -ей	*-ия, -ея*
и во всех городех Московск*ие* земли, и Ноугородцк*ие* земли 99	и во всех городех Московск*ия* земли и Наогордцк*ия* (sic) 202
а земли ему оставити в меру столко, сколко он сво*ей* земли променил 85	а земли ему оставить столко, сколко сво*ея* вотчины земли променил 167
роз-	*-раз*
да на пути у него тот товар утеряетца безхитростно... или *розбой* возмет 90	да на пути у него тот товар утеряетца безхитросно... или *разбой* возмет 181

В предыдущей статье, однако, первоначальное *розбой* 1550 г. сохранено в Судебнике 1589 г.:

А убьют которого крестьянина на поле в *розбое* или в ыном в котором в лихом деле 89	А убиют котораго крестиянина на поле в *розбое* ил в ыном лихом деле 180

(в тексте 1589 г. ь заменен на *и* в двух случаях, *-ого* на *-аго*, повторяющийся предлог устранен, т. е. текст вообще олитературивается).

[10] В этом смысле Судебник 1589 г. ближе к Судебнику 1497 г., чем к Судебнику 1550 г. Было бы весьма желательно установить точные преемственные связи отдельных рукописей всех цитируемых здесь судебников.

семой	*седьмой*
а подписати на его список за сто верст по сроце *семым* днем 69	а подписати на вину, будет не станет в *седьмой* день за сто верст 124

(напомним, что в другом случае церковнославянская форма с *д* уже введена в Судебник 1550 г.).

Самыми интересными заменами в Судебнике 1589 г. являются случаи с полногласной и неполногласной лексикой. Хотя неполногласные формы встречаются и в Судебнике 1550 г. (*прежний*, *градской*) и хотя полногласные формы далеко не единичны в Судебнике 1589 г., тем не менее сравнение этих двух судебников ясно показывает движение от восточнославянской полногласной лексики к лексике неполногласной, церковнославянской. Ср.:

Полногласие	Неполногласие
**gord*	
А детей боярских судити намесником по всем *городом* по... государевым жаловалным по их вопчим грамотам 64	А детей боярских судити намесником по всем *градом* по царевым грамотам по жаловальным 118
**serd*	
А торговым людем и посадцким людем и всем *середним* безчестья пять рублев 26	А торговым людем посадцким и всем *средним* безчестия петь рублев 47
**perd*	
и дьяку исцевы и отвечиковы речи велети записати *перед* собою 28	и дияку исцевы и ответчиковы речи велити записывати *пред* собою 75
и бояром велети его дати на крепкую поруку, хто ему будут *вперед* иные исцы 55	и судиям дать его на крепкую поруку, хто ему будет *впредь* исцы 107
а *вперед* кто ту кабалу оболживит, и та кабала вершити по суду 78	И *впредь* хто кабалу оболживит, и та кабала вершить по суду 141
А *вперед* всякие дела судити по сему Судебнику 97	А *впредь* всякие дела судити по сему Судебнику 200
А торханных *вперед* не давати никому 43	А тарханных грамот *впредь* не давати 92
А которому намеснику дан в кормленье город с волостьми,... а в которых волостех *наперед* сего старост... не было 68	А которому намеснику дано в кормление город с волостьми, а *преже* того в тех волостях, старост не было 122
**vold*	
А которые люди учнут искати на намесникех или на *волостелех* и на их людех по жалобницам 22	А которои люди учнут искати на намесниках, и на *властелях*, и на иных людех по жалобницам 34
как те намесники или *волостели*, едучи на жалованье 24	и как намесники или *властели*, едучи на жалованье 36

А намесником и *волостелем*, которые держат кормленья без боярского суда 66	А которой намесник или *властель* без боярскаго суда... 120
ино *волостелю* или посельскому имати на нем за боран два алтына 87	ино *властелю* на нем взять за боран два алтына 173
А намесником, и *волостелем*, ... в городех и в волостях непродажных и доморощеных лошадей не пятнати 96	А намесником, и *властелем*, ... в городех и волостех непродажных доморощоных коней не пятнать 198
А взыщет селецкой на селецком, а судит их же *волостель* 100	А взыщет его селецкой на селецком, ино их судити их же *властелю* 204
А кого намесничи или *волостелины* люди учнут давати от кого на поруки 70	А кого намесничии люди или *властелные* станут давать на поруки 125

Случаев противоположного характера (в Судебнике 1550 г.— неполногласная форма, в Судебнике 1589 г.— полногласная) не отмечено. Все это хорошо показывает возрастание удельного веса церковнославянского элемента в юридическом языке второй половины XVI в.

Увеличение церковнославянской стихии в языке русского права продолжается и в так называемом Сводном Судебнике 1606—1607 гг., но в несколько ином виде. С одной стороны, Сводный Судебник воспроизводит статьи из Судебника 1550 г. почти буквально, вовсе не стремясь заменить, например, полногласные формы неполногласными. Ср.:

Судебник 1550 г.	Судебник 1589 г.	Сводный Судебник
А намесником, и *волостелем*,... в городех и в волостях непродажных и доморощеных лошадей не пятнати 96	А намесником, и *властелем*,... в городех и волостех непродажных доморощоных коней не пятнать 198	А наместникам, и *волостелем*,... в городех и в волостех не продажных и доморощоных лошадей не пятнити [19] 95

В некоторых, правда, редких случаях Сводный Судебник является даже более «восточнославянским», чем Судебник 1550 г., например:

Судебник 1550 г.	Сводный Судебник
а не приедут сами к ответу ... после срока за сто верст в *седмой* день 75	А не приедут сами к ответу ... после сроку за сто верст в *семой* день [11] 75

С другой стороны, Сводный Судебник впервые вводит в юридический язык или употребляет в большем количестве некоторые церковнославянские по происхождению формы, которые впоследствии (например, в Соборном Уложении 1649 г.) становятся обычными. Сюда относятся:

1) неполногласный вариант *чрез*: *А хто вотчину свою бес царя великого князя ведома чрез сесь указ кому продаст*... [13] 125;

2) *владыка* «архиепископ» [3] 104, [13] 121, [25] 162 и др. и производное от него *владычний* [24] 166, 168 и др.;

3) топоним *Великий Новъгородъ* встречается и в неполногласной форме *Великий Новъградъ*: *А которой человек земьской Великого Новаграда*,

или псковитин... [5] 151 (наряду с *в Великом Новегороде* [12] 148; интересно заметить, что названия менее значительных городов всегда даются в восточнославянской форме: *Вышегорода*, *Звенигорода*, *Нижняго Новагорода*, *Иваня города* [6] 46.

4) *храм* «церковь» встречается в заглавии к 21-й грани Сводного Судебника (*О ругах в монастыре, и к храмом, которые даны внове*), хотя в самой грани употребляется только *церковь*.

Самым примечательным в Сводном Судебнике является то, что в нем впервые в истории языка русского права встречаются целые отрывки, написанные в явно церковнославянском «регистре». Эти отрывки, разумеется, касаются церковных дел. Первым из них является статья 164 13-й грани, воспроизводящая с некоторыми ограничениями Соборный приговор 1580 г., запрещающий дальнейшие земельные вклады в монастыри. Вступительное предложение 164-й статьи уже содержит славянизмы *всеа Русии* (2x), нефонетическое *о* в предлоге *со* (*со отцом своим*), *щ* из **tj* и вокализованную приставку в случае *освященным собором*. Сам текст приговора изобилует церковнославянскими формами, ср.: *милостию пречистыя и преблагословленныя владычица нашея богородица*; *собрахомся в преименитом граде Москве*; *с ним же совокупишася ярым образом Польша*; *роспыхахуся гордостию, дмящеся, хотяху потребити православие*; *мы... поболехом зелне*; *благочестивыи царь наш... со всем своим синглитом сотвори, яко довлеет его царьской власти*; *многия же в запустение приидоша, яко же убо по монастырем сия запустеваху* и т. п.

В 22-й грани «О крестном целованье», восходящей к указу 1558 г., хотя и нельзя говорить о церковнославянском регистре целого отрывка, но тем не менее встречается (причем во многих случаях впервые в юридическом языке) целый ряд отдельных церковнославянских форм, например, *в среду* 141, 145, *умрети* 141, *занеже* 141, *власть* (в переносном смысле) 142, *свещи* 142, *ис храмины* 143, *общую муку* 146 и т. п.

В этих двух отрывках отражены два типа нового церковнославянского влияния на язык права. В первом из них церковнославянский текст вносится целиком в Судебник и становится его составной частью, во втором возникает насыщенность текста отдельными церковнославянскими формами наряду с употреблением и многих восточнославянских слов (*свеча*, *полон*, *нужа* и т. п.). Оба случая свидетельствуют о том, что рост церковнославянских элементов в юридическом русском языке не прекратился и в начале XVII в.

Данные из Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 г. говорят об этом еще красноречивее. Церковнославянские элементы в этом памятнике детально исследованы [11], и мы ограничимся несколькими показательными примерами. В Уложении 1649 г. есть морфемы, встречающиеся исключительно в церковнославянской неполногласной форме (*блаженный*, *вражда*, *время*), но есть и морфемы, которые засвидетельствованы и в той, и в другой форме, причем варьирование может быть или свободным (*середний* — *средний*, *через* — *чрез*), или стилистическим, при котором выбор полногласной или неполногласной формы морфемы зависит или от сочетаемых с данной морфемой слов, или от «регистра» данного отрывка текста (*золото* — *злато*, *полоняной* — *пленный*, *серебро* — *сребро*, *хоромина* — *храмина*), или от лексических (или словообразовательных) факторов (*брань*, *бранитися* «ссориться» — *боронитися* — «защищаться», *волость* «территория» — *власть* «высший церковный чин», *поперек* — *прекословие*, *хоронити* «спрятать» — *богом хранимый* и т. д.). В Уложении

[11] См.: D. S. Worth, Slavonisms in the Uloženie of 1649, «Russian linguistics», 1/3, 1974.

1649 г. отмечаются не только многие новые, до тех пор в языке русского права не встречавшиеся церковнославянские формы, но и первые попытки распределить церковнославянские и исконно русские формы по лексической, а отчасти и по стилистической функции.

В истории языка русского права еще очень много несделанного. Не установлена точная филиация юридических текстов. Не исследованы различия между текстами южного и северного происхождения. Не выявлены возможные «диалекты» разных московских приказов, из которых новые юридические статьи вносились в судебники и в Уложение Алексея Михайловича. Предварительные данные как будто говорят о том, что в языке русского права второе южнославянское влияние отразилось прежде всего в орфографических приемах (написания вроде *-аа-* и под.), но не в формах лексических морфем — однако это пока только еще не проверенная догадка. Для того чтобы стало возможным всестороннее описание возникновения и развития русского юридического языка со времен «Русской Правды» до современности, нужна большая предварительная работа. Все же и сделанные предварительные наблюдения над проникновением церковнославянских элементов в язык русского права нам кажутся достаточными, чтобы отказаться от упрощенческих взглядов о полной изоляции приказного языка от языка церковнославянского. Более оправдан тезис о тесной и продолжающейся взаимосвязи этих двух типов языка. Может быть, придется и совсем отказаться от предвзятых бинарных схем, пока не исследовано достаточное количество фактического материала разных жанров.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

Т. Я. ЕЛИЗАРЕНКОВА

ОБ ЭМФАТИЧЕСКИХ МЕСТОИМЕНИЯХ В ХИНДИ

При описании местоимений в грамматиках хинди обычно встречаются упоминания о том, что в этом языке существуют эмфатические местоимения, образуемые путем сочетания простых местоимений с эмфатическими частицами (иногда их называют также суффиксами или аффиксами) *hī* или *ī*, и даются отдельные примеры таких местоимений — то на синтаксические сочетания местоимения с *hī*, то на слитные местоименные формы, в составе которых этимологически вычленяется тот или иной вариант морфемы, выражающей эмфатическое значение [1]. В «Нормативной грамматике современного хинди» впервые даются списком все употребляющиеся слитные формы эмфатических местоимений и их фонетические варианты [2] (при этом фонетическая трактовка их как результата сандхи простого местоимения с частицей *hī*, а не *ī*, не всегда оправдана [3]). Такое установление набора единиц по парадигматической оси является необходимым шагом для получения описания этого разряда местоимений. Оно должно быть дополнено наблюдениями над их синтагматическим распределением (т. е. над реальным функционированием в тексте членов этой парадигмы). В уточнениях нуждаются некоторые правила противопоставлений эмфатических местоимений в пределах парадигмы. Не все ясно в соотношении парадигм простых и эмфатических местоимений. Наконец, всестороннее изучение эмфатических местоимений неизбежно приводит к постановке вопроса о соотношении морфологического и синтаксического уровней при описании этого разряда местоимений. Попытку наметить пути решения этих вопросов содержит предлагаемая статья.

Эмфатические местоимения изучались на материале современной художественной литературы на хинди, представленной произведениями разных жанров: романами, рассказами, пьесами, сказками, переложениями на хинди классических сюжетов упанишад и «Панчатантры».

Эмфатическими бывают в хинди прежде всего личные и указательные местоимения. Поскольку в функции личных местоимений 3-го лица выступают указательные по происхождению местоимения, при морфологическом анализе парадигм личных местоимений семантическим противопоставлением «личное — указательное» можно на первых порах пренебречь.

---

[1] См., например: S. H. Kellogg, A grammar of the Hindi language, 3rd ed., London, 1938, стр. 176; G. Greaves, Hindi grammar, Allahabad, 1933, стр. 170, 179—180; H. C. Scholberg, Concise grammar of the Hindi language, 3rd ed., Bombay, 1955, стр. 70; Камтапрасад Гуру, Грамматика хинди, ч. II, М., 1962, стр. 73, 77, и др. Бывает, что эмфатические местоимения и вовсе не упомянуты, что особенно парадоксально выглядит, если грамматика написана на хинди, и эти местоимения неоднократно встречаются в языке описания: Bholānāth Tivārī, Hindī bhāṣā kā saral vyākaraṇ, Dillī, 1958. О них не говорится и в специальном исследовании по истории местоимений: В. С. Воробьев-Десятовский, Развитие личных местоимений в индоарийских языках, М.— Л., 1956.

[2] См.: «A basic grammar of modern Hindi» (English version), Agra, 1958, стр. 42.

[3] Так, например, вряд ли целесообразно трактовать *hamī* как *ham* + *hī* (интервокальное сочетание *-mh-* в хинди допустимо).

Ввиду того, что парадигма эмфатических местоимений исторически сформировалась на базе парадигмы простых личных местоимений (это легко прослеживается при формальном синхронном анализе), имеет смысл сначала дать парадигму простых личных местоимений в хинди.

Хинди располагает следующим набором личных местоимений, выражающих лицо и число с помощью разных лексических единиц: *mãĩ* «я», *tū* «ты», *vah* «он» («тот»), *yah* «он» («этот»), *ham* «мы», *tum* «вы», *ve* «они» («те»), *ye* «они» («эти»). Из них местоимение 2-го лица ед. числа, выражающее особую близость или грубость, употребляется очень редко, а в его функции обычно выступает местоимение 2-го лица мн. числа. В функции местоимения 2-го лица мн. числа для выражения особой почтительности употребляется возвратное местоимение *āp* «сам», с которым глагол согласуется в 3-м лице мн. числа. Местоимения 3-го лица противопоставлены по признаку «отдаленность — близость» (оппозиция, свойственная указательным местоимениям), причем немаркированным членом этой оппозиции является *vah* «тот», выступающий как нейтральное обозначение личного местоимения 3-го лица ед. числа; *yah* «этот» употребляется только тогда, когда нужно подчеркнуть близость к говорящему. В 3-м лице формы ед. числа часто употребляются в функции форм мн. числа.

Для личных местоимений в хинди характерна грамматическая категория падежа, которая складывается из оппозиции четырех граммем — прямого: косв.: дат.-вин.: эргат. С формальной точки зрения существует определенная иерархия этих падежей. Исходным является противопоставление прямого падежа косв. падежу, производным — противопоставление дат.-вин. и эргат. падежей, у которых флексия присоединяется к косв. падежу (что дает формы полуагглютинативного типа). Кроме того, одни падежи употребляются с послелогами, а другие — без них. Косв. падеж в хинди употребляется только с послелогами, причем для местоимений 1 и 2-го лица в состав этих послелогов не входит послелог со значением род. падежа *kā/ke/kī*, а для местоимений 3-го лица такого ограничения нет. С косв. падежом может употребляться и послелог дат.-вин. падежа *ko*. Эргат. падеж употребляется только с послелогом деятеля *ne*. Прямой и дат.-вин. падежи употребляются без послелогов.

Четырехчленная оппозиция падежей — максимальная для личных местоимений хинди. В таком виде она реализуется только у местоимений 3-го лица мн. числа. Для остальных личных местоимений характерен тот или иной тип редукции этой схемы. Трехчленная оппозиция падежей у личных местоимений хинди представлена двумя вариантами. Один вариант — прямой падеж: косв., эргат.: дат.-вин.— существует у местоимений 3-го лица ед. числа. Другой вариант — прямой, эргат.: косв.: дат.-вин.— существует у местоимений 1-го лица ед. числа. Двучленная оппозиция — прямой, косв., эргат.: дат.-вин.— характерна для местоимений 1-го лица мн. числа.

Система падежей личных местоимений в хинди может быть представлена в виде сводной таблицы (см. табл. 1).

Анализ парадигмы склонения личных местоимений в хинди приводит к следующим выводам. Местоимения 3-го лица в ряде отношений противостоят местоимениям 1—2-го лиц, вместе взятым. У местоимений 3-го лица в целом более разветвленная падежная парадигма (4-3 падежа), чем у местоимений 1—2-го лиц (3—2 падежа). Конфигурации падежей иные. В 3-м лице всегда различаются прямой и эргат. падежи (во мн. числе эргат. падеж противопоставлен также косв. падежу). В 1—2-м лицах всегда совпадают прямой и эргат. падежи (во мн. числе они совпадают также с косв. падежом). В 3-м лице косв. падеж может употребляться наряду с другими послелогами также с послелогом род. падежа *kā*. В 1—

Таблица 1

Лицо	Число	Падеж			
		прямой	эргат.	косв	дат.-вин.
1-е	ед.	*mãĩ*		*mujh*	*mujhe*
	мн.	*ham*			*hamẽ*
2-е	ед.	*tũ*		*tujh*	*tujhe*
	мн.	*tum*			*tumhẽ*
3-е	ед.	*vah*	*us*		*use*
		yah	*is*		*ise*
	мн.	*ve*	*unhõ*	*un*	*unhẽ*
		ye	*inhõ*	*in*	*inhẽ*

2-м лицах это запрещено, и в функции такого сочетания выступают местоименные притяжательные прилагательные: *merā* «мой», *hamārā* «наш», *terā* «твой», *tumhārā* «ваш».

Все простые личные местоимения характеризуются наличием особой формы дат.-вин. падежа, противопоставленной остальным падежам. Если грамматическая категория числа имеет формальное выражение у личных местоимений, то это проявляется в падежах, противопоставленных прямому падежу: в этих падежах мн. число сигнализируется конечными назализованными гласными *-õ*, *-ẽ* (*unhõ*, *inhõ*, *hamẽ*, *tumhẽ*, *unhẽ*, *inhẽ*).

Эмфатические местоимения в хинди образуются путем сочетания форм простых местоимений с эмфатической частицей. На этот счет разногласий среди исследователей этого языка нет. Некоторых уточнений требует форма этой частицы. В хинди существует в качестве самостоятельного слова эмфатическая частица *hī*, имеющая усилительное и ограничительное значение. Она может употребляться и с местоимениями, образуя с ними свободные синтаксические сочетания. В слитных эмфатических формах местоимений можно вычленить после основы местоимения несколько вариантов эмфатической частицы: *-hī*, *-ī* в ед. числе, *-hĩ*, *-ĩ* во мн. числе, из которых последние три формы в качестве самостоятельных слов в хинди не употребляются, будучи специфичными аффиксами эмфатических местоимений.

Эмфатические местоимения имеют свою парадигму словоизменения, характеризуясь грамматической категорией падежа, которая складывается из оппозиции двух граммем: прямого и косв. падежа. Прямой падеж употребляется без послелогов, косв. падеж — только с послелогами, включая послелог с эргативным значением *ne* и послелог со значением дат.-вин. падежа *ko*. Косв. падеж эмфатических местоимений 1 и 2-го лица не употребляется с послелогом род. падежа *kā/ke/kī*. В функции род. падежа употребляются свободные синтаксические сочетания соответствующих простых местоименных притяжательных прилагательных с эмфати-

Таблица 2

Лицо	Число	Падеж	
		прямой	косвенный
1-е	ед.		*mujhī*
	мн.	*hamī̃/hamī*	
2-е	ед.		*tujhī*
	мн.	*tumhī̃/tumhī*	
3-е	ед.	*vahī̃*	*usī*
		yahī	*isī*
	мн.		*unhī̃/unhī*
			inhī̃/inhī

ческой частицей *hī*: *merā hī*, *terā hī*, *hamārā hī*, *tumhārā hī*. В отношении эмфатических местоимений 3-го лица такого ограничения нет.

Бинарная оппозиция падежей является максимальной для эмфатических местоимений в хинди. Полностью она реализована только у местоимений 3-го лица ед. числа. Парадигмы эмфатических местоимений 1 и 2-го лица ед. числа, а также 3-го лица мн. числа являются неполными, поскольку в них отсутствует прямой падеж, и в его функции выступает синтаксическое сочетание прямого падежа соответствующего простого местоимения и эмфатической частицы *hī*: 1-е лицо ед. числа *mãi hī*, 2-е лицо ед. числа *tū hī*, 3-е лицо мн. числа *ve hī*, *ye hī*. У местоимений же 1 и 2-го лица мн. числа оппозиция падежей нейтрализуется в одном члене, употребляемом недифференцированно без послелога или с любым послелогом (кроме *kā*).

Систему падежей эмфатических местоимений хинди можно представить в виде сводной таблицы (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в прямом падеже представлены не все эмфатические местоимения, а в косв. все, и таким образом именно косв. падеж является сильной позицией для различения этих местоимений (кстати, в парадигме именного склонения в хинди сильной позицией также является косв. падеж).

Парадигма склонения эмфатических местоимений редуцирована по сравнению с парадигмой простых местоимений. В ней нет особой формы дат.-вин. падежа, противопоставленность которой остальным падежам релевантна для всех простых личных местоимений, и нет эргат. падежа, характерного для 3-го лица мн. числа простых местоимений. В этих функциях выступает косв. падеж, объем которого у эмфатических местоимений тем самым гораздо больше, чем у простых.

Грамматическая категория числа выражена у эмфатических местоимений по тому же типу, что и у простых. Маркированной является грамма мн. числа, которая символизируется конечным назализованным гласным *-ī̃* (*hamī̃*, *tumhī̃*, *unhī̃*, *inhī̃*). Правда, в отличие от простых место-

имений здесь всегда есть соответствующие фонетические варианты этого аффикса без назализации, хотя и более редкие в современном языке по сравнению с назализованными. Естественно предположить, что именно неназализованные варианты, фонетически совпадающие с эмфатической частицей *hī*, отражают некий переходный этап в процессе слияния в единую форму местоимения и частицы. Назализация же конечного гласного во мн. числе, которая могла произойти под влиянием парадигм простых местоимений, знаменует собой завершение этого этапа и грамматикализацию оппозиции.

В исследованном материале на многие десятки назализованных форм мн. числа эмфатических местоимений встретилось только три с неназализованным гласным, а именно: *hamī logō ke liye martī hai* 12, 233 [4] «Ведь это для нас она умирает»; *muliyā tinakkar bolī — sārā mohchoh tumhī ko hai ki aur bhī kisī ko hai*? 12, 27 «Мулия раздраженно сказала: „Ради тебя все это безумие или ради кого-нибудь еще?"»; *par jo un koṭhriyō mē hai, jo 'bhārat' mē hãi aur sazā bhugat rahe hãi, vah unhī kī taraf hogā, vah akṛegā aur laṛegā* 2, II, 51 «Но он будет на стороне только тех, кто живет в этих хижинах, кто живет в Индии и подвергается гонениям, он будет стоять на своем и сражаться».

Помимо того, что парадигма эмфатических местоимений редуцирована по сравнению с парадигмой простых местоимений, она неполна. Трудно сказать, почему именно у местоимений определенного лица и числа нет эмфатических форм. Не исключено и чисто фонетическое объяснение: не имеют эмфатических форм местоимения, оканчивающиеся на гласный звук (*mãi*, *tū*, *ve*, *ye*), в отличие от местоимений, оканчивающихся на согласный. В функции эмфатических местоимений 3-го лица мн. числа, правда, могут выступать соответствующие эмфатические местоимения ед. числа, например: *jinhē usne hameśā nīc samjhā, vah ī uspar hãsẽge* 12, 85 «Над нею будут смеяться те самые (люди), кого она считала низкими» или: *mujhe yah ī jīvan ke rog lagte hãi — inhī se to mãi bacā cāhtā hũ* 2, II, 141 «Как раз они-то и кажутся мне язвами жизни — от них я и хочу спастись». Надо сказать, однако, что такая функциональная замена не является специфичной именно для эмфатической парадигмы, она свойственна прежде всего парадигме простых местоимений, у которых в 3-м лице формы ед. числа выступают в функции мн. числа.

Синтагматическая характеристика эмфатических местоимений в хинди невозможна без учета той особенности, что все слитные эмфатические формы (кроме *vahī*, *yahī*) употребляются в текстах наряду со свободными синтаксическими сочетаниями соответствующих простых местоимений с эмфатической частицей *hī* с тем же значением. Иначе говоря, во всех лицах и числах, кроме 3-го лица ед. числа, существует в самых широких масштабах синтаксическая синонимия эмфатических слитных форм и свободных синтаксических сочетаний.

---

[4] Ссылки в тексте даются на порядковые номера использованных изданий в нижеприводимом списке: 1) Agyey, Apne — apne ajanbī, Kāśī, 1961; 2) Agyey, Sekhar, Vārāṇasī, 1966; 3) Ānandkumār, Bhāratīya kathāẽ, Dillī, 1951; 4) Upendranāth Aśk, Andhī galī, Ilāhābād, 1956; 5) Upendranāth Aśk, Alag alag rāste, Ilāhābād, 1954; 6) Upendranāth Aśk, Devtāõ kī chāyā mẽ, Ilāhābād, 1953; 7) Khvājā Ahmad Abbās, Cirāg tale, Dillī, [б. г.]; 8) Devrāj, Roṛe aur patthar, Dillī, 1958; 9) Devendra Satyārthī, Dūdh — gāch, Dillī, 1958; 10) «Pañcatantra». Anuvādak Ḍā. Motīcandra, Bambaī, [б. г.] 11) Premcand, Gaban, Banāras, 1948; 12) Premcand, Grāmya jīvan kī kahāniyā̃, Banāras, 1952; 13) Premcand, Jañgal kī kahāniyā̃, Ilāhābād, [б. г.]; 14) Rāmpratāp Tripāṭhā, Upaniṣadõ kī kahāniyā̃, Prayāg, 1950; 15) Vṛindāvanlāl Varmā, Rākhī kī lāj, Jhāsī, 1955.

Частотность употребления слитных эмфатических форм местоимений разных лиц и чисел весьма неодинакова. Самым редким является местоимение 2-го лица ед. числа косв. падежа *tujhī* (например: *vah t u j h ī p a r dā̃t lagāye baṭhā hai. tere sivā koī aur use bhātī hī nahī̃* 12, 34 «Он т о л ь к о н а т е б я и зарится. Ведь, кроме тебя, никакая другая ему и не светит»). Малая употребительность этой эмфатической формы зависит, несомненно, от того, что простое местоимение 2-го лица ед. числа *tū* в современном хинди оказалось в значительной степени вытесненным местоимением 2-го лица мн. числа *tum*.

К числу очень редких принадлежит слитная эмфатическая форма 1-го лица мн. числа *hamī/hamī*, хотя парадигматически она представляет и прямой, и косвенный падеж, к тому же в 1-м лице форма мн. числа может функционировать в качестве формы ед. числа для передачи высокого социального положения говорящего. Для выражения эмфатического значения здесь отдается явное предпочтение синтаксическому сочетанию, например: *śrīmatī seṭh*: (*rote hue*) *āp kyō cale jāyā*? *h a m h ī calī jāyā̃gī* 6, 111 «Госпожа банкирша (плача): „Почему Вы уходите? Это я уйду"».

Следующей по возрастанию употребительности является эмфатическая форма косв. падежа местоимения 1-го лица ед. числа *mujhī*. Наиболее частый случай синтаксической синонимии можно наблюдать в дат.-вин. падеже, когда в принципе возможен выбор между следующими способами выражения: 1) косв. падеж эмфатического местоимения + *ko*; 2) дат.-вин. падеж + *hī*; 3) косв. падеж простого местоимения + *ko* + *hī*. Третий способ выражения встречается совсем редко, поскольку форма дат.-вин. падежа у местоимений вообще заметно преобладает над аналитическим сочетанием косв. падежа с послелогом *ko*. Второй способ встречается чаще первого, при этом нужно отметить, что никакой разницы в степени эмфазы, видимо, не наблюдается. Ср., например: *faisalā to m u j h ī k o karnā hai* 4, 80 «Решение-то м н е принимать приходится» и *pūran kyā tum bhī m u j h e hī doṣī samajthe ho*? 5, 38 «Пуран, и ты тоже считаешь, что э т о я виноват?».

Из местоимений 1 и 2-го лица наиболее употребительна эмфатическая форма местоимения 2-го лица мн. числа *tumhī̃*, представляющая все падежи. Она хорошо засвидетельствована в текстах в функции разных падежей. Например: прямого — *t u m h ī̃ hotī̃*, *to paritāp kī zarūrat kis bāt ke liye hotī* 2, II, 101 «Будь э т о т ы, о чем было бы жалеть!» (наиболее частый случай — это прямой падеж *tumhī̃* в роли подлежащего при сказуемом, выраженном глаголом в императиве: *thoṛī jhijhak ke bād yānne kahā*: «*to t u m h ī̃ paros do*» 1, 96 «Ян сказал, слегка вздрогнув: „Так э т о т ы и угощай"»); эргат.— *t u m h ī̃ n e mujhko prem sikhāyā* 9, 256 «Э т о т ы научил меня любить»; косв. с разными послелогами — *to sūkhā prem t u m h ī̃ k o phale* 11, 15 «Так пусть т е б е и принесет плоды засохшая любовь!» (в том числе с аналитическим показателем мн. числа *log*: *kismat kyā t u m h ī̃ l o g ō k e l i y e rah gayī hai*? 5, 67 «Разве д л я в а с осталась счастливая судьба?»).

При всей употребительности слитная эмфатическая форма *tumhī̃* может дублироваться синтаксическими сочетаниями с *hī*; синонимичное употребление того и другого типа местоимения можно встретить совсем рядом у одного автора (например: «...*ciṭṭhī t u m h ī̃ likhnā apnī taraf se*!» «*nahī̃ t u m s e h ī likhvā̃ū̃gī*! *t u m h ē h ī likhnī hogī*!...» 9, 91 «„Э т о т ы напиши письмо от себя!" — „Нет, я его т е б е продиктую! Ведь его должна написать т ы"»), а также в аналогичных синтаксических

конструкциях (*t u m h ī batāo yār* 7,53 «Расскажи т ы с а м, друг!» и *ab t u m h ī̃ kaho, hāsī na āe yah sunkar ki kitne hī hinduõ ne ādhere mẽ pākistān mẽ dam toṛā aur kitne hī musalmānõ ne hindustān mẽ* 7, 113 «А теперь т ы с а м скажи: тут не до смеха, когда услышишь, сколько индусов погибло во мраке Пакистана и сколько мусульман — в Индии»).

Во всей местоименной парадигме чаще всего употребляются слитные формы эмфатических местоимений 3-го лица. В 3-м лице ед. числа не допускаются параллельные синтаксические сочетания с *hī*. Здесь необходимо принять во внимание также и ту особенность местоимений 3-го лица, что в тексте они выступают не только в синтаксических функциях имен существительных, подобно местоимениям 1 и 2-го лица, но и в адъективной функции, свойственной прилагательным (что объясняется происхождением личных местоимений 3-го лица из указательных).

В данной статье рассматриваются как личные местоимения 3-го лица, так и указательные, поскольку эмфатические формы имеются в равной мере и у тех, и у других, например: *mãine i s ī p e r̤ p a r janm liyā hai*; *isī par merā pālan huā hai*; *i s ī p a r mãine bāl — krīṛāyẽ kī hãi* 3, 97 «Н а э т о м с а м о м д е р е в е я родился; э т о н а н е м меня растили, и на нем играл я в детские игры» (слова попугая).

В текстах встречаются многочисленные эмфатические формы этих местоимений в функции разных падежей. Например, прямой падеж: *ham mājhiyõ kā netā v a h ī to thā* 7, 27 «Э т о о н был вожаком среди нас, лодочников»; *mãi jo hũ̃ v a h ī hũ̃*; *aur selmā — selmā mar cukī hai — hai hī nahī̃* 1, 111 «Я какая есть, т а к а я ж е и осталась; а Сельма — Сельма умерла — нет ее»; *y a h ī saccā dharm hai* 3, 26 «И м е н н о э т о истинная религия» (в функции им. падежа) или *mãi jo kahtā hũ̃ v a h ī kartā hũ̃ aur jo kartā hũ̃ v a h ī kahtā hũ̃* 6, 102 «Я что говорю, т о и делаю, а что делаю, т о и говорю», *y a h ī to mãi bhī kahtī hũ̃ — lekin dūsrī tarah se* 1, 104 «Я говорю это же самое — только иначе» (в функции вин. падежа прямого объекта прежде всего при глаголах говорения, восприятия и т. п.).

Форма косв. падежа употребляется со всеми без исключения послелогами, в том числе с послелогом эргат. падежа *ne*, например: *u s ī n e to pakṛā thā usko* 2, II, 49 «Э т о о н схватил его», *vah bolā „i s ī n e bulāyā thā»* 2, II, 91 «Он сказал: „Э т о о н а (меня) позвала“», *ek bār u n h ī r ā j ā janak ne ek bahut baṛā yagya kiyā* 14, 82 «Однажды э т о т с а м ы й раджа Джанак совершил грандиозное жертвоприношение», *yah to i n h ī̃ chuṭ-bhaiyõ ne ādher macā rakhā hai* 4, 113 «Это вот э т и с а м ы е младшие братья учинили безобразие». Необходимо отметить, что во мн. числе послелог *ne* употребляется с *unhī̃*, *inhī̃* только в атрибутивной функции (во всем исследованном материале не встретилось ни одного примера на *unhī̃ ne*, *inhī̃ ne* аналогично *usī ne*, *isī ne*).

Форма косв. падежа употребляется также с послелогом род. падежа (в отличие от личных местоимений 1 и 2-го лица и по аналогии с существительными), например: *yah sab u s ī k ā jādū hai* 9, 223 «Все это е е ж е колдовство», *i s ī k ā nām pativrat hai* 12, 167 «И э т о о н а зовется верною женой!» (буквально: «И это ее имя — верность!»), *u n h ī̃ k ī madad se ham donõ ghar pahũce* 13, 56 «Э т о т о л ь к о с и х помощью мы оба добрались до дому», *dekh lenā, i n h ī̃ k e bal par vah kumud kā vivāh murārī paṇḍit ke ghar karegī* 12, 79 «Посмотрите: при и х ж е поддержке она устроит свадьбу Кумуд в доме пандита Мурари».

Эмфатическая форма местоимения 3-го лица употребляется и с послелогом дат.-вин. падежа *ko*. Например: *jise vah mār cukā thā u s ī k o sāmne*

jīvit kharā dekhkar rājkumār ko barā āścarya hai 3, 62 «Увидев перед собой живым т о г о с а м о г о (человека), которого он убил, принц очень удивился»; *yah bānmāhus to śer se bhī zyādā khaufnāk hai. pahile i s ī k o kyõ na mārũ* 13,9 «А ведь эта горилла гораздо опасней, чем тигр. Почему бы мне е е не убить сначала?»; *senā ko lekar rākṣasõ se bhī i n h ī k o to larnā hotā hai* 7,31—32 «И и м вместе со (своим) войском приходится бороться против ракшасов»; *sardār ne i n h ī k o bhaṅg kā golā diyā thā jo inhõne khāyā thā aur apne sāthī sipāhiyõ ko bāṭā thā* 15,68 «Командир и е м у дал шарик (наркотика) бханга, которого он отведал и разделил со своими товарищами-солдатами». Названная форма употребляется также с другими послелогами.

Косв. падеж местоимений 3-го лица входит в состав целого ряда очень употребительных усеченных конструкций, в которых опущен послелог и которые функционируют в качестве наречных оборотов времени, образа действия, причины и т. п. Например: *isī samay* «в это самое время», *usī samay* «в то самое время», *inhī dinõ* «в эти самые дни», *isī bīc* «между тем», *isī tarah* «точно так же», *isī kārāṇ* «именно поэтому».

При всей употребительности косв. падежа эмфатических местоимений 3-го лица в хинди то же значение может быть выражено посредством синтаксических сочетаний простых местоимений с *hī*. Примечательно, что конструкции с *hī* выступают в текстах как синонимы именно к эмфатическим личным местоимениям 3-го лица с разными послелогами, а не к соответствующим указательным местоимениям. В одном случае можно отметить даже определенную синтаксическую противопоставленность: если эргат. послелог *ne* употребляется только с эмфатическими формами указательных местоимений 3-го лица мн. числа в роли определения, то эмфатическое значение при употреблении этих форм в функции имен существительных передается посредством конструкции с *hī*, ср. *unhõ ne hī* и *inhõ ne hī*, например: *aur u n h õ n e h ī kah diyā ki jis rājā ke pās kilā hogā, vah rājā vijayī hogā* 10,65 «А с а м о н провозгласил, что победителем будет тот раджа, у кого окажется крепость». Таким образом, в парадигме личных местоимений 3-го лица мн. числа противопоставление эргат. падежа косвенному имеет более высокий ранг, чем противопоставление эмфатической формы простой.

При употреблении со всеми остальными послелогами местоимений 3-го лица допускается выбор между двумя конструкциями: «слитное эмфатическое местоимение + послелог» или же «простое местоимение + послелог + *hī*». Синтаксическая конструкция с *hī* может быть синонимичной сочетанию слитных эмфатических местоимений 3-го лица ед. числа с послелогом деятеля *ne*, например: *ākh ke rogiyõ ke sambandh mẽ aisā hī ek samjhautā mãine kal ḍāktar kapūr se kiyā thā aur yah jo rogī abhī baiṭhā thā, yah u s n e h ī bhejā hai*, 6, 183 «Вчера я договорился с доктором Капуром относительно больных глазными болезнями, и э т о о н прислал того больного, который здесь только что сидел». Изредка конструкция с *hī* выступает как синоним слитных эмфатических местоимений 3-го лица с послелогом род. падежа, например: *devlok mẽ u n k ā h ī hukm to caltā hai* 7, 31 «На мир богов распространяется е г о ж е власть» (в исследованном материале совсем не встречалось *us kā hī* вместо *usī kā* или *is kā hī* вместо *isī kā*).

Гораздо чаще употребляется конструкция с *hī* в качестве синонима к слитным эмфатическим местоимениям с послелогом дат.-вин. падежа, например: *apakāriyõ ke prati jo sādhu hai, bhale ādmī u s e h ī sādhu kahte hãi* 10,68 «Добрые люди называют святым т о л ь к о т о г о, кто святой

по отношению к злодеям», *jo karm nindārahit hãi*, *u n h ẽ h ī karnā*... 14,I, 162 «Надо совершать т о л ь к о т е поступки, которые не вызывают осуждения...». Оба эти способа выражения эмфатического значения местоимений могут встречаться в текстах совсем рядом, например: *balki qabr ban kyā jāyagā, qabr to banī — banāyī taiyār hai aur u n h ī k o marnā bāqī hai! qabr to samay se hī ban gayī hai — u n h ẽ h ī marne mẽ der ho gayī hai* 1,13 «Но зачем рыть могилу, могила уже вырыта и готова, а е й т о л ь к о осталось умереть! Могила-то вырыта вовремя, а о н а в о т задержалась со смертью». Таким образом, граммема дат.-вин. падежа, противопоставленность которой другим граммемам характерна для всех разрядов простых личных местоимений, в значительной степени сохраняет силу и при выражении эмфатического значения.

Эмфатические конструкции аналитического типа могут встречаться и с другими послелогами, например: *kyā yahī rahasyā thā ...ki varaṇ kī svatantratā nahī̃ hai lekin racnā phir bhī sambhao hai aur u s m ẽ h ī mukti hai?* 1, 112 «Не в том ли заключалась тайна, что свободы нет, однако созидание возможно, и н е в э т о м л и состоит освобождение?», *...isī tarah i s ā t m a s e h ī ūpar kī sabhī vastuõ kā janm hotā hai* 14, I, 108 «...вот так о т э т о г о с а м о г о д у х а родились все высшие субстанции».

Самыми употребительными из всех эмфатических местоимений являются местоимения 3-го лица ед. числа *vahī*, *yahī* — единственные местоимения, не допускающие синонимии аналитических конструкций с простыми местоимениями и *hī*. Высокой частотностью этих форм объясняется и некоторая стертость их эмфатического значения, ср. случаи дополнительного употребления *hī* после них, например: *v a h ī «s a t» h ī in sab kā mūl āśray aur adhiṣṭhān hai...tum bhī v a h ī «s a t» h ī ho aur mãi bhī v a h ī «s a t» hī hũ* 14, I, 139 «В о т э т а с а м а я „с у щ н о с т ь“ и есть главная опора и основа... И ты — э т а с а м а я с у щ н о с т ь, и я тоже э т а с а м а я с у щ н о с т ь»; *marne ke bād y a h ī k a r m a h ī śeṣ rah jāte hãi* 14,I, 89 «После смерти остаются э т и ж е с а м ы е к а р м ы» (следует отметить, что в таких конструкциях эмфатическое местоимение всегда бывает в атрибутивной функции).

Большая употребительность этих местоимений объясняется тем, что они выступают и в функции личных (т. е. заменяя имена существительные), и в функции указательных (т. е. заменяя прилагательные). Кроме того, местоимение *yahī* в определенного типа сложных предложениях функционально приближается к относительному местоимению или союзному слову главного предложения, с которым соотносится союз *ki* «что» в придаточном. Так, в сложных предложениях изъяснительного типа [5] *yahī* иногда может использоваться в этой функции и как дейктическое местоимение, и как местоимение 3-го лица. Для дейктических местоимений характерно употребление, во-первых, в составе сказуемого главного предложения, типа *kāraṇ yahī hai ki...* «Причина в том (такая), что...», *bāt yahī hai ki...* «Дело в том (такое), что...», *arth yahī hai ki...* «Смысл в том (такой), что...» и т. п., во-вторых, в качестве определения к какому-либо члену главного предложения, с которым соотносится придаточное определительное или изъяснительное, например: *iskā arth y a h ī hai ki pratyek bhāratīy naujavān apne mã — bāp kā gulām hai* 2, I, 223 «А это значит (буквально: „значение этого т а к о е есть...“), что каждый

[5] О содержании этого несколько расплывчатого термина, с помощью которого описывается целый ряд определительных и дополнительных предложений, см.: В. П. Л и н е р о в с к и и, Сложные предложения в хинди, М., 1972, стр. 43 и сл.

индийский юноша — раб своих родителей», *śart y a h ī hai ki vah apnī gosṭhī ke sāth kiye kā phal bhogne ko taiyār rahe, hāstā — kheltā phāsī par caṛh jāy* 11, 238 «Но условие т а к о в о, что он должен быть готов пожинать плоды того, что сделано по его совету,— улыбаясь лезть в петлю». В такой функции в сложных предложениях может встречаться и простое дейктическое местоимение *yah*: *kāraṇ yah hai ki...*, *bāt yah hai ki...*, *arth yah hai ki...* и пр. Таким образом, в данном типе конструкций возможен выбор между эмфатическим и простым местоимением.

Иная ситуация имеет место в тех синтаксических конструкциях, в состав которых входят местоимения 3-го лица, заменяющие имена существительные. В этой связи надо сказать несколько слов об особенностях выражения значения вин. падежа в хинди у имен существительных и у местоимений. Известно, что значение вин. падежа имеет две формы выражения, которые условно можно назвать прямым падежом (он же выражает значение им. падежа) и непрямым падежом (он же выражает значение дат. падежа). У имен существительных в функции непрямого падежа выступает косв. падеж с послелогом *ko*. У местоимений, кроме этого способа выражения, есть еще один — особая форма дат.-вин. падежа. Употребление прямого или непрямого падежа при выражении прямого объекта переходного глагола регулируется определенным семантическим противопоставлением, объем которого для имени и местоимения различен. Как показывают последние исследования этого сложного вопроса [6], у имени существительного этот выбор обусловливается семантическими оппозициями: «лицо — не-лицо» (заданной лексическим значением имени) и «конкретизированный объект — неконкретизированный объект» (заданной субъективным отношением говорящего к предмету). Это можно проиллюстрировать следующими стандартными фразами: *mãine laṛke ko dekhā* «Я видел мальчика» (мальчик — лицо, поэтому употребляется непрямой падеж), *mãine kitāb dekhī* «Я видел книгу» (книга — не-лицо, поэтому употребляется прямой падеж), но возможно и *mãine kitāb ko dekhā* «Я видел (определенную) книгу» (книга понимается конкретизированно, поэтому употребляется непрямой падеж).

Семантические оппозиции, регулирующие употребление падежа прямого объекта-местоимения, отличаются от тех, которые характерны для имени. Оппозиция «лицо — не-лицо» для местоимения нерелевантна — вин. падеж местоимений, заменяющих имена со значением лиц или предметов, всегда бывает оформлен (т. е. прямой падеж здесь недопустим). Во фразе *mãine u s e dekhā* «Я е г о (е е) видел» местоимение *use* может соотноситься и с лицом, и с не-лицом. Ср., например, такие примеры из текстов: *khāṇḍikya ke mantriyõ ne u s e dūr se dekhar apne svāmī se kahā* 3, 78 «Увидев е г о издали, советники Кхандикьи доложили своему господину» («его» — т. е. раджу, прямой объект — лицо); *uddālak bole — «vatsa»! unmẽ ek bīj le lo aur u s e toṛkar dekho ki usmẽ kyā cīz hai* 14, I, 142 «Уддалак сказал: „Дитя мое! Возьми одну косточку из них, разбей е е и посмотри, что в ней есть“» (прямой объект — не-лицо, конкретный предмет); *dūsrā upāy kuch kaṭhin hai par tum adhyavasāyī ho, u s e bhī sādhya kar sakte ho* 14, I, 150 «Другое средство несколько сложнее, но ты настойчив, е г о ты тоже сможешь сделать доступным» (прямой объект — не-лицо, абстрактное понятие).

Во всех этих примерах прямой объект, выраженный местоимением, характеризуется конкретностью, членимостью класса, к которому при-

[6] См.: Г. А. З о г р а ф, О грамматической категории одушевленности в новых индоарийских языках, сб. «Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона», М., 1968.

надлежит данное понятие, на отдельные единицы. Если же прямой объект выражен прямым падежом местоимения, то это значит, что прямой объект интерпретируется как нечто нечленимое. Так, стандартная фраза *mãi ne y a h dekhā* значит «Я э т о видел» (что-то, о чем было рассказано ранее и что воспринимается как единая, нечленимая картина). Например: *y a h sunkar ve tīnõ śām tak van mẽ ghūme, par koī prāṇī nahī̃ milā* 10, 101 «Услышав э т о, они втроем до вечера пробродили в лесу, но не встретили ни одного живого существа» («это» — предложение отправиться в лес в поисках добычи); *śekhar kī mānasik gaṛhan kī kis sāmarthya ne, yā śikṣā ke kis siddhānt ne, yā kis apar śakti kī kis preṛṇā ne us din use bacāyā, y a h vah nahī̃ jān sakā* 2, I, 180 «Какая особенность психического склада Шекхара, или какая доктрина учения, или какой импульс какой иной силы спасли его в тот день,— э т о г о он не мог понять» (содержание «этого», как видно из перечисления, понимается как нечто весьма неконкретное).

В сложных предложениях изъяснительного типа содержание прямого объекта при глаголе говорения или восприятия раскрывается посредством придаточного предложения, причем употребление местоимения *yah* в главном предложении нейтрального стиля сугубо факультативно. Точнее сказать, большей частью в предложениях такого типа *yah* отсутствует, например: *...lekin jab ve dekhte hãi ki bacat dūsre haṛap jāte hãi, to ve socte hãi, agar dūsrõ ko hī khānā hai, to ham kyõ na khāẽ* 11, 174 «Но когда они видят, что доход присваивают другие, то они думают: если другим тоже надо есть, то почему бы и нам не поесть?». Употребление *yah* в таких предложениях приобретает легкую эмфатическую окраску, например: *aur phir nahī āte. kyõki aise kitne māsṭar hãi, jo y a h nahī samajhte ki paṛhāī tabhī tak sambhao hai jab tak śiṣya par guru kā rob rahe* 2, I, 55 «И он больше не приходил. Потому что, есть ли такой учитель, который не понимал бы т о г о, что обучение возможно лишь до тех пор, пока у ученика остается уважение к наставнику». Эмфатический характер *yah* в этих конструкциях может подчеркиваться порядком слов, частицами, например: *y a h b h ī kah denā ki unke gahne mãine hī curāye the* 11, 310 «И о т о м (ей) также скажите, что это я украл ее драгоценности». Нормой является употребление эмфатического местоимения *yahī* в этой позиции, например: *jī to merā y a h ī cāhtā hai ki tum hindustān mẽ hī raho...* 7, 56 «Я от всей души хочу т о г о, чтобы ты остался в Индии...» или *saṃkṣep mẽ y a h ī samjhiye ki is jīvan ke sukhõ kī cintā choṛkar vah agle jīvan kī taiyārī mẽ lagā rahtā thā* 3, 14 «Короче говоря, представьте Вы себе т о, что он оставил мысль о радостях этой жизни и был занят приготовлениями к будущей жизни». Такое же соотношение в употреблении простого и эмфатического местоимения в сложных предложениях изъяснительного типа наблюдается и в случае атрибутивной функции местоимений [7].

Кроме личных и указательных местоимений, эмфатическая форма существует у определенного местоимения *sab* «все» — *sabhī* «все до одного», но особой эмфатической парадигмы *sabhī* не имеет (впрочем в современном языке парадигма очень слабо выражена и у *sab*). Неопределенно-личное местоимение *koī* «кто-нибудь» (косв. падеж ед. числа *kisī*, косв. падеж мн. числа *kinhī*) является эмфатическим по происхождению (ср. вопросительное местоимение *kaun* «кто», косв. падеж ед. числа *kis*, косв. падеж мн. числа *kin*), но не по значению в современном языке.

[7] См.: В. П. Липеровский, указ. соч., стр. 45—46.

В хинди существуют регулярные соответствия между простыми и эмфатическими слитными формами нескольких разрядов наречий. Таковы наречия места — *yahã* «здесь»: *yahī*, *vahã* «там»: *vahī*, *kahã* «где?»: *kahī*, *jahã* «где»: *jahī*; времени — *ab* «сейчас»: *abhī*, *tab* «тогда»: *tabhī*, *kab* «когда?»: *kabhī*, *jab* «когда»: *jabhī* [8]. У наречий образа действия эмфатическое значение может передаваться как соответствующими слитными формами, так и синтаксическими сочетаниями простого наречия с частицей *hī*, ср.: *yõ* «так»: *yõ hī*, *tyõ* «также»: *tyõ hī*/*tyõhī*, *kyõ* «почему»?, «как?»: *kyõ hī*, *jyõ* «как, каким образом»: *jyõ hī*/*jyõhī*. Не имеют слитных эмфатических форм наречия направления: *idhar* «сюда», *udhar* «туда», *kidhar* «куда?», *jidhar* «куда». Эмфатическое значение выражается здесь только посредством синтаксических сочетаний с частицей *hī*. В этом ряду отсутствие слитных эмфатических форм может иметь чисто фонетическое объяснение: в хинди нет придыхательного сонорного *rh*, и поэтому формы типа **idharhī* невозможны.

Регулярность формального соответствия простых и эмфатических наречий нарушается на семантическом уровне. Не все наречия, структурно принадлежащие к эмфатическому ряду, имеют в современном хинди эмфатическое значение. Так, *kahī* значит «где-нибудь; куда-нибудь; не; никогда; больше; гораздо; если» и семантически не является эмфатическим соответствием к *kahã*; *kabhī* значит «когда-нибудь; всегда» — ср. значение *kab* [9]. Семантические сдвиги произошли также в значении эмфатических местоимений образа действия по сравнению с соответствующими простыми. Так, *tyõhī* значит «тогда же; в тот же момент», а *jyõhī* «как только», т. е. они являются наречиями времени, а не образа действия, подобно простым *tyõ* и *jyõ*.

Вся совокупность фактов, относящихся к области эмфатических форм местоимений и наречий в хинди (а рассматривать эти два класса слов изолированно в данном случае было бы неправильным), приводит к заключению, что эти формы нельзя интерпретировать как грамматическую категорию. Они не образуют полной регулярной парадигмы словоизменения, обязательной для всех единиц данного класса (не все личные местоимения и не все разряды наречий образуют слитные эмфатические формы), не являясь единственным способом выражения данного значения (почти всегда у местоимений и очень часто у наречий возможен выбор между слитной эмфатической формой и синтаксической конструкцией с частицей *hī*); наконец, ряд эмфатических форм имеет новое лексическое значение по сравнению с соответствующими простыми формами. Интерпретация эмфатических форм должна охватывать смежные области формообразования, словообразования и синтаксиса (ср. аналогичную ситуацию с интенсивными глаголами в хинди).

Местоимения обладают способностью присоединять к себе эмфатические частицы в целом ряде новоиндийских языков. Материально различного происхождения (хинди *hī*, бенгали *i*, маратхи *ć*, гуджарати *j* и т. д.), все эти частицы имеют усилительное и выделительное значение [10] (иногда

[8] По своей структуре эти наречия образуют изоморфные ряды с указательными местоимениями, а по своей семантике являются, по терминологии Бенвениста, «указателями», соотнесенными с моментом речи, что объединяет их с местоимениями 1—2-го лица (см.: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 287).

[9] На этот семантический сдвиг обращено особое внимание в кн.: «A basic grammar of modern Hindi» (стр. 106).

[10] См.: J. Bloch, Indo-Aryan from the Vedas to modern times, Paris, 1965, стр. 196.

эмфатический характер прослеживается лишь диахронически [11]). Обычно эти частицы обладают самой широкой синтаксической валентностью и способны употребляться со всеми классами полнозначных слов. Иногда с одним определенным классом слов они могут образовывать более тесные сочетания, чем с другими (например, *-ć* с наречиями в маратхи [12] или *hī* с притяжательными местоимениями в синдхи [13]). В отдельных языках эмфатические частицы могут трактоваться то как формообразующие, то как словообразующие, то как компонент синтаксического сочетания. На фоне других новоиндийских языков хинди обладает наиболее развитой системой слитных эмфатических форм местоимений.

---

[11] См. историю ряда таких форм в кн.: S. K. Chatterji, The origin and development of the Bengali language, II, Calcutta, 1926, стр. 845.

[12] См. об этом: Т. Е. Катенина, Очерк грамматики языка маратхи, М., 1963, стр. 274.

[13] См.: Р. П. Егорова, Язык синдхи, М., 1966, стр. 88.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

И. Д. КЛЕНИН

МОРФЕМНАЯ КОНТРАКЦИЯ И ЕЕ ТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Вводные замечания. Одна из важнейших особенностей китайского языка состоит, как известно, в морфолого-семантической значимости слогоделения. Слог, естественная единица сегментации речевого потока, всегда является звуковой оболочкой либо отдельного односложного слова, либо значимой части слова — морфемы [1]. Единичные исключения связаны, по-видимому, с заимствованными словами и не влияют на общую картину. Односложные слова в китайском языке — это всегда слова простые; их можно считать одноморфемными (если отвлечься от понятия «нулевых морфем»).

Основная тенденция развития словарного состава китайского языка за последние два тысячелетия состояла, как установлено в китаистике, в переходе от односложного слова к двусложному. Подавляющее большинство двусложных слов возникло в результате сложения двух простых односложных слов и состоит соответственно из двух знаменательных морфем. Начавшееся с конца XIX в. бурное развитие терминологии, получившей особое развитие в XX в., повлекло за собой появление значительного количества трехсложных, четырехсложных и даже пятисложных слов-терминов. Так же, как и двусложные слова, эти многосложные единицы образовались в результате сложения односложных простых единиц и насчитывают в своем составе соответственно три, четыре или пять компонентов-морфем. Кроме того, в языке возникло значительное количество терминологических сочетаний более чем пятисложного (и, соответственно, более чем пятикомпонентного) состава. Развитие многосложных лексических единиц породило и противоположную тенденцию — сокращения многосложных единиц чаще всего до двусложной (т. е., по выражению Е. Д. Поливанова, статистически-доминирующей) нормы и реже — до трехсложного или четырехсложного состава (в случае более чем пятисложных единиц) [2]. В китайском языке «прием сокращения слов и словосочетаний является одной из важнейших форм развертывания словарного состава языка» [3].

---

[1] Морфема, понимаемая здесь как значимая часть сложного или производного слова, в звуковом отношении соответственно односложна. Знаменательная морфема, по выделении из сложного или производного слова, во многих случаях становится неотличимой от простого односложного слова. В этом, в частности, проявляется близость свойств простого односложного слова и морфемы (см.: В. М. Солнцев, Морфема и слово, сб. «Языки Юго-восточной Азии, М., 1970, стр. 46—47). Ниже будет использован термин «морфема» для обозначения значимых односложных компонентов как сложных и производных слов, так и словосочетаний терминологического характера.

[2] На «большую склонность китайского языка к сокращениям» обратил внимание еще Е. Д. Поливанов (А. И. Иванов, Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930, стр. 34—35).

[3] В. М. Солнцев, Проблема слова и корня в китайском языке. КД, М., 1953, стр. 369.

Наблюдаемый в современном китайском языке процесс стяжения многосложных единиц не позволяет развиваться процессу стяжения (контракции) гласных и согласных фонем внутри слога или процессу создания инициальных аббревиатур (акронимов), как это имеет место в языках с иным фонетико-морфологическим строем; иероглифическая письменность, в которой каждый знак — иероглиф записывает односложное слово или морфему, также не способствует созданию инициальных аббревиатур даже в письменном языке.

Процесс выпадения из многосложного (многоморфемного) слова или терминологических словосочетаний тех или иных значимых компонентов (морфем) в китайском языке мы называем морфемной контракцией [4].

Морфемная контракция сложных по структуре и поэтому не очень удобных для языковой коммуникации лексических единиц ведет к появлению большого количества новых единиц, получающих в китайском языке статут обычных сложных лексических единиц.

Полученные в результате морфемной контракции единицы внешне не отличаются от обычных сложных единиц, образованных по правилам словосложения: и те, и другие состоят из значимых односложных компонентов (морфем), их грамматические свойства (цельнооформленность, отнесенность к части речи, синтаксическая сочетаемость с другими лексическими единицами) аналогичны свойствам сложных слов. Поэтому сложносокращенные слова можно считать особым разрядом сложных слов, хотя сложносокращенные и сложные слова возникают в результате различных (противоположных) процессов. Сложные слова появляются в итоге наращивания количественного состава слова, а сложносокращенные слова возникают в результате уменьшения количества морфем, входящих в состав многосложного слова или терминологического словосочетания. С семантической точки зрения основное отличие сложносокращенных слов от сложных заключается в том, что «компоненты первых зачастую не дают возможности вскрыть этимологию слова, компоненты же вторых, как правило, позволяют это сделать» [5]. Причина этого состоит в том, что в сложных словах составляющие их компоненты употребляются в собственном значении, а в сложносокращенных словах по крайней мере один компонент употребляется не в собственном прямом значении, а в значении замещаемой им части сокращаемого комплекса. Например, *бэй-да* «Пекинский университет» (букв. «север-большой»), где *бэй* «север» представляет слово *бэйцзин* «Пекин» (букв. «северная столица»), а *да* «большой» — слово *дасюе* «университет» (букв. «большой-наука»). В силу этого сложносокращенное слово по сравнению со сложным обладает менее прозрачной семантической структурой. Кроме того, оно имеет в качестве стилистического синонима полную несокращенную форму [6].

В морфемной контракции проявляется тенденция к экономии языковых средств. Образование и использование сложносокращенных единиц позволяет повысить коммуникативные возможности языка, ограниченные физиологическими пределами скорости артикуляции и пропускной способностью восприятия органов слуха и зрения. Единицы, возникающие в

---

[4] Термин «слоговая контракция», применявшийся нами раньше, заменен на термин «морфемная контракция» по той причине, что первый отражал больше фонетическую сторону этого явления, в то время как контракция (стяжение) является по своему существу семантико-морфологическим процессом.

[5] В. М. Солнцев, Очерки по современному китайскому языку, М., 1957, стр. 89. Ниже используется термин «сокращение», под которым понимаются сложносокращенные слова, а также окказиональные графические эквиваленты сложных лексических единиц.

[6] Подробнее см.: И. Д. Кленин, Военная лексика современного китайского языка, М., 1970, стр. 41—42.

результате как обычного словосложения, так и морфемной контракции более чем двусложных единиц, стремятся к двусложной норме. Выход за двусложную норму при словосложении часто компенсируется возвращением к ней благодаря процессу морфемной контракции, правда, на несколько иной основе. «Тенденция современного китайского языка... к биному как к статистически-доминирующему речевому минимуму проявляется в том, что, наряду с объединением однослогов в двуслоги, одновременно происходит и обратное — сокращение многослогов (полиномов), доведение их до двусложного минимума» [7].

Поскольку в китайском языке количество слогов в слове и, тем самым, длина слова, помимо фонетического, имеют также морфолого-семантическое значение, исследователи китайского языка иногда говорят о том, что для китайского языка важны не столько величины качественного, сколько количественного порядка [8]. По-видимому, именно поэтому способ и характер морфемной контракции зависит не только от морфолого-семантической значимости компонентов сокращаемой единицы и их комбинационных возможностей, но также от их количества.

Вследствие этого представляется целесообразным рассмотреть типы и способы стяжения морфем раздельно для количественно различных сокращаемых единиц — количество компонентов в сокращаемом комплексе непосредственно влияет на способы образования сокращенных единиц.

Морфемная контракция, являясь особым видом аббревиации, в китайском языке, в отличие от иносистемных языков, опирается на морфологические и семантические свойства элементарных единиц китайского языка и поэтому имеет более глубинный характер и более широкие границы. К морфемной контракции, по-видимому, можно отнести также так называемое «включение», эллиптические пропуски отдельных слов в составе многочленных терминов, а также сокращение глагольно-объектных словосочетаний.

2. Морфемная контракция трехсложных (трехморфемных) лексических единиц [9] всегда ведет к образованию двусложных сокращений. При этом чаще всего опускается вторая, несколько реже — первая морфема (для большей наглядности сложные слова разделяются дефисом на морфемы; сокращения даются в слитном написании): *фэй-цзи-чан* («летать-машина-площадка») → *цзичан* «аэродром», *цянь-шуй-цзянь* («погружаться-вода-корабль») → *цяньцзянь* «подводная лодка». Последняя морфема опускается исключительно редко: *ба-лу-цзюнь* («восемь-маршрут-армия») → *балу* «восьмая армия». Это объясняется тем, что она, как и суффикс, играет словообразовательную роль и ее исчезновение обычно ведет к ликвидации трисиллабов как самостоятельных лексических единиц (например *ню-най-чжань* «молочно-товарная ферма» и *фэй-цзи-чан* «аэродром» без последних морфем обозначают «молоко» и «самолет»).

Морфемной контракции подвергаются только такие трехсложные слова, которые по своей внутренней структуре делятся на двусложную поясняющую и односложную поясняемую части. Сочетания типа «односложное определение + бинарное определяемое» (*чжунцзи-цян* «тяжелый пулемет») в отличие, например, от соответствующих словосочетаний японского языка не допускают упрощения своего состава.

---

[7] А. А. Драгунов, Структурные единицы китайской речи, сб. «Вопросы корейского и китайского языкознания», Л., 1958, стр. 231.

[8] А. А. Драгунов. Грамматическая система современного китайского разговорного языка, Л., 1962, стр. 44.

[9] Бинарные (двусложные) комплексы в изолированной позиции не подвергаются сокращению.

3. Морфемная контракция четырехсложных лексических единиц состоит в опущении одной или двух морфем. При их стяжении до двусложного состава возможны самые различные модели (ниже они приводятся в порядке убывания частотности). Так могут исчезать вторая и четвертая [*чжэн-чжи вэй-юань* («политика-управлять-комитет-член») → *чжэнвэй* «комиссар»], вторая и третья [*ши-фань сюэ-юань* («показывать-пример наука-двор») → *шиюань* «педагогический институт»], третья и четвертая [*цзун цань-моу-бу* («главный участвовать-обдумывать-отдел») → *цзунцань* «Генеральный штаб»], первая и третья [*чжань-чжэн фу-лу* («война-борьба пленник-пленник») → *чжэнлу* «военнопленный»], первая и четвертая [*сы-чуань да-сюэ* («четыре-река-большой-наука») → *чуаньда* «Сычуаньский университет»], первая и вторая морфемы [*у-сянь-дянь-тай* («отсутствовать-провод-электричество-станция») → *дяньтай* «рация»].

Несмотря на многообразие возможных видов морфемной контракции четырехсложных единиц, здесь выявляется определенная упорядочность. Четырехсложные единицы по своему строению состоят из двух частей, более или менее автономных по смыслу и находящихся в отношениях определительных или глагольно-объектных. Каждая часть (будем именовать ее составляющей) в свою очередь может состоять из одной, двух или трех морфем. При том или ином виде морфемной контракции в каждой составляющей может опускаться одна из входящих в нее морфем. Иногда опускается вся составляющая целиком — либо первая, либо вторая. Опускаются обычно наименее важные в семантическом отношении морфемы или наименее важная в смысловом отношении составляющая. Сокращение состоит из двух морфем, каждая из которых употребляется либо в значении сокращенной части, либо в своем собственном значении, если опущена двусложная составляющая целиком.

Когда опускается одна из двусложных составляющих, чаще первая [*фан-ду мянь-цзюй* («против-отравление лицо-прибор») → *мяньцзюй* «противогаз»] и реже вторая [*шан-цзи шоу-чжан* («верхний-ранг лидер-командир») → *шанцзи* «старший начальник»], то мы имеем дело с так называемым процессом включения, под которым понимается «такое расширение значения слова, которое осуществляется за счет семантики другого слова, не получающей в данном слове отдельного морфемного выражения» [10].

Процесс включения в известном смысле можно назвать морфемной контракцией особого типа, которая по своему характеру и результатам значительно отличается от обычной контракции: если при обычной морфемной контракции в сокращенном варианте остаются представители обеих составляющих, то при включении сохраняется только одна составляющая целиком. В первом случае образуется сложносокращенная единица, новая по форме, но старая по своему значению. При контракции особого типа уже существовавшая единица (сохранившаяся составляющая) принимает на себя значение всего четырехсложного комплекса. В данном случае не происходит, строго говоря, образования сложносокращенного слова, а появляется новое значение у уже имевшегося лексического комплекса. Именно в этой области процесс морфемной контракции наиболее тесно смыкается с семантическим словообразованием.

Четырехсложные лексические единицы (термины-словосочетания) по своей структуре относятся большей частью к определительному типу (между составляющими имеются определительные отношения) и состоят из двухсложных составляющих [*дань-цзо фэй-цзи* («единичный-место

---

[10] Н. А. Янко-Триницкая, Процессы включения в лексике и словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 18.

летать-машина») → «одноместный самолет»] или же из одно- и трехсложных составляющих [*цзун дянь-хуа-цзи* («главный электричество-слово-аппарат») → «коммутатор»].

Морфемная контракция терминов первого типа приводит к образованию так называемых полных сокращений, состоящих из двух усеченных основ [*цзо-цзя се-хуй* («писать (книгу)-специалист сотрудничать-общество») → *цзосе* «союз писателей»]. Неполные (частичные) сокращения представляют собой комбинации односложной (первой) составляющей и усеченной части трехсложной (второй) составляющей [*цзун гань-бу-бу* («главный стержень-подчиненный-отдел») → *цзунгань* «Главное управление кадров»].

Помимо четырехсложных определительных терминов, в сферу морфемной контракции втягиваются и четырехсложные сочетания глагольно-объектного типа [*ши-фан фу-лу* («распускать-освобождать пленник-пленник») → *шифу* «освобождать пленных», *сао-чу вэнь-ман* («мести-устранять письменность-слепота») → *саоман* «ликвидировать неграмотность»].

По нашим наблюдениям, самым продуктивным типом морфемной контракции четырехсложных терминов является выпадение второй и четвертой морфем, на втором месте находится опущение второй и третьей морфем; реже всего опускаются первая и третья морфемы.

При морфемной контракции четырехсложных терминов определительного типа опускается одна, как правило, третья морфема: *чжи-шэн фэй-цзи* («прямо-подниматься летать-машина») → *чжишэнцзи* «вертолет», *цзы-син хо-пао* («сам-ходить огонь-орудие») → *цзысинпао* «самоходное орудие». В результате появляются сокращения, состоящие из полной составляющей (определения) и усеченной составляющей (определяемого). Они не имеют ярко выраженного характера сложносокращенных слов, что можно объяснить следующим. Первая составляющая не подвергается усечению, а в основном она определяет семантику данного термина, в то время как опускаемая морфема второй составляющей в составе последней семантически мало существенна и ее исчезновение не отражается ощутимо на семантической структуре термина [11].

Наряду с этой наиболее продуктивной моделью контракции четырехсложных терминов встречается и другая: опускается последняя морфема. Это происходит обычно в тех случаях, если вторая составляющая представляет собой именную копулятивную основу, состоящую из морфем с одинаковым или очень близким значением (семантическая реляция дублирования по терминологии А. Л. Семенас) [12]. В таких составляющих значения морфем как бы дублируют друг друга, что создает предпосылки для удаления одной из них: *су-цзюэ чжань-доу* («скоро-решать война-борьба») → *суцзюэчжань* «скоротечный бой», *фан-ду и-фу* («против-отравления платье-одежда») → *фандуи* «защитный костюм».

Морфемная контракция четырехсложных определительных словосочетаний ускоряет их лексикализацию и способствует увеличению в составе специальной лексики китайского языка удельного веса трехслож-

---

[11] Например, в термине *хо-пао* «орудие» (букв. «огненное орудие») морфема *хо* «огонь» по сути дела не привносит в его семантику ничего нового, появляясь там в соответствии с переходом от односложной нормы слова к двусложной.

[12] Из 14 основных видов семантических реляций копулятивного сложения, выделенных А. Л. Семенас, наиболее легко поддается действию контракции реляция дублирования. См.: А. Л. Семенас, О синтагматической семантике копулятивного сложения в китайском языке, сб. «Исследования по китайскому языку», М., 1973, стр. 68—74.

ных терминов [13], которые наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к терминам.

Данный тип морфемной контракции интересен еще тем, что здесь отчетливо проявляется тенденция к превращению конечной знаменательной морфемы в словообразовательный полусуффикс, а затем и в суффикс. Именно в конструкции, где первые две морфемы выступают выразителями основного индивидуального признака предмета, а последняя имеет родовое классифицирующее значение, происходит становление таких полусуффиксов, как *цзи* — этимологически «машина», *ци* — этимологически «прибор» и др.

Когда, например, в четырехсложных определительных терминах *чжи-шэн фэй-цзи* → *чжишэнцзи* «вертолет», *дань-и фэй-цзи* → *даньицзи* «моноплан» опускается морфема *фэй*, обозначающая видовой признак родового понятия, выраженного морфемой *цзи* «аппарат, машина» (комбинация морфем *фэйцзи* представляет собой слово со значением «самолет» вообще), то за морфемой *цзи* закрепляется значение «летательный аппарат» вообще. Это способствует тому, что морфема *цзи* получает возможность использоваться в любых словах, обозначающих разные виды летательных аппаратов без конкретизации их посредством морфемы *фэй* «летать». Тем самым значение этой морфемы расширяется. Все это способствует превращению *цзи* в своего рода словообразовательный полусуффикс.

4. Морфемная контракция пятисложных единиц обуславливает опущение двух или реже трех морфем. Во втором случае образование двусложных сокращений идет, в основном, по одной модели: выпадают 2, 4 и 5-я морфемы (*гэ-мин вэй-юань-хуй* («лишать-жизнь назначать-член-комитет») → → *гэвэй* «ревком», *чжэн-чжи чжи-дао-юань* («политика-управлять указывать-руководить-член») → *чжэнчжи* «политрук», *цзюнь-ши вэй-юань-хуй* («военный-дело назначать-член-комитет») → *цзюньвэй* «Военный совет»).

Превращение пятисложных терминов в трехсложные проявляется в форме выпадения 3 и 4-й морфем [*нэй-жань фа-дун-цзи* («внутри-гореть приводить-движение-машина) → *нэйжаньцзи* «двигатель внутреннего сгорания»]; 1 и 2-й [*хуань-жань дао-хо-сянь* («медленно-гореть вести-огонь-нитка») → *даохосянь* «бикфордов шнур»]; 2 и 4-й [*цзин-цзи вэй-юань-хуй* («основа-спасать назначать-член-комитет») → *цзинвэйхуй* «экономический комитет»]; 2 и 3-й [*дуань-ци сюнь-лянь-бань* («короткий-период обучать-тренировать-группа») → *дуаньсюньбань* «курсы ускоренной подготовки»] и 1 и 4-й морфем (*фэй-цзи цзян-ло-бин* («летать-машина снижаться-опускаться-солдат») → *цзицзянбин* «посадочно-десантные войска»).

Среди названных моделей контракции пятислогов (образование трехсложных сокращений) можно выделить две наиболее продуктивные: выпадение 3 и 4 и 2 и 4-й морфемы.

Пятисложные термины в китайском языке обычно представляют собой определительные словосочетания. Так, в примере *цзин-цзи вэй-юань-хуй* «экономический комитет» пятисложный комплекс состоит из двух слов: *цзинцзи* «экономика» и *вэйюаньхуй* «комитет». Первое слово в этом словосочетании обычно двусложно (двуморфемно), второе — трехсложно (трехморфемно). Трехморфемное слово в свою очередь делится на две части: первая по позиции, состоящая из двух морфем, выступает в качестве конкретизатора, замыкающего одноморфемную часть. Эта одноморфемная часть имеет значение родового понятия и конкретизируется первой (двуморфемной) частью. Таким образом, в пятисложном термине обнаруживается три семантически автономные (относительно) части: два двуслога

[13] Так, например, из 4961 словарной единицы, включенной в «Толковый словарь китайских военных терминов» (Пекин, 1953, на китайском языке) 26% приходится на долю трехсложных единиц.

(две двуморфемные части) и конечный однослог (конечная морфема). Назовем их, как и составные части четырехсложных единиц, составляющими. Первые две составляющие, несмотря на разный статут в составе пятисложного термина (первая составляющая — отдельное слово, вторая — часть трехсложного слова), семантически связаны между собой. Каждая из них по отдельности, вне пятисложного комплекса, представляет собой слово, принадлежащее к той или иной части речи. Так, например, в термине *гао-ду цэ-дин-цзи* («высота-мера измерять-определять-прибор») «высотомер» это существительное и глагол, в *кун-цзюнь чжэн-чжи-бу* («воздух-армия политика-управлять-отдел») «Политуправление ВВС» — существительное и прилагательное, в *чжэн-чжи чжи-дао-юань* «политрук» — прилагательное и глагол.

Обе двусложные составляющие, в составе пятисложного термина образующие семантическое единство (*гаоду цэдин* «высота-измерять»), могут быть противопоставлены последней составляющей, которая является абстрактно-классифицирующей морфемой с родовым значением для всего комплекса (в примере «высотомер» — это морфема *цзи* «аппарат, прибор»). При образовании пятисложных терминов последняя морфема входит в состав трехсложного слова. Однако при терминологизации пятисложного комплекса он трансформируется таким образом, что замыкающая морфема начинает относиться уже ко всем предшествующим ей четырем морфемам, образующим две составляющие.

Интересно отметить, что двусложная глагольная составляющая в пятислогах всегда примыкает к заключающей односложной составляющей, причем первая составляющая — глагол — может быть как переходным [*фэй-цзи шэ-чу-цзи* («самолет-выстреливать-аппарат») «авиационная катапульта»], так и непереходным (*чжэн-чжи чжи-дао-юань* «политрук»).

В зависимости от того, какими частями речи выражены двусложные составляющие, пятисложные определительные термины можно разделить на два подтипа: к одному из них относятся термины, у которых первая по позиции составляющая представлена именной основой, а вторая — переходным глаголом. Образованные таким способом пятисложные термины обычно имеют значение «предмет, производящий действие, которое выражено второй составляющей и уточнено, конкретизировано первой составляющей». Все остальные термины относятся ко второму подтипу.

Различие морфологической и семантической структуры пятисложных терминов обуславливает в известной степени специфику их контракции, определяет ее конкретные формы. В определительных терминах первого подтипа не наблюдается выпадения трех морфем, но имеет место такой вид упрощения их структуры, как морфемная контракция с инверсией, иначе говоря, стяжение, сопровождаемое инверсией компонентов двусложных составляющих: глагольная основа меняется местом с именной. При сокращении термина *ди-лэй тань-цэ-ци* «миноискатель», где первый двучлен означает «мина» (букв. «земля-гром»), второй — «искать» (букв. «выискивать-вычислять»), а заключающая морфема — «аппарат, прибор», возникает трехсложный термин *тань-лэй-ци* (букв. «искать-мина-прибор»). Если в пятисложном термине именная (двусложная) основа предшествовала глагольной (тоже двусложной) основе, то в трехсложном сложносокращенном слове они поменялись своими местами, превратившись при этом из двусложных в односложные. Контракция с инверсией вероятнее всего объясняется аналогией с широко распространенной в китайском языке словообразовательной моделью трехсложного существительного: «глагольная + именная основа (определение) + именная основа (определяемое)». Например, *по-бин-чуань* («разрушать-лед-судно») «ледокол», *да-хо-цзи* («бить-огонь-прибор») «зажигалка». Пятисложные термины пер-

вого подтипа представляют собой переходную ступень между свободными словосочетаниями и сложными словами [14]. По фонетическому признаку они примыкают к словосочетаниям. В то же время им присущи почти все признаки цельнооформленного слова: они обладают семантической целостностью, выступают в качестве одного члена предложения, принимают грамматическое оформление как единая лексическая единица, в их состав нельзя ввести служебное слово *ды*, в определенных условиях выражающее атрибутивные отношения между знаменательными словами.

5. Морфемная контракция лексических единиц более сложной структуры. Шестисложные термины, которые, как правило, состоят из трех двуморфемных составляющих, в результате морфемной контракции обычно сокращаются до четырехсложного или двусложного состава. Наиболее распространенной моделью образования сокращенных эквивалентов шестисложных терминологических словосочетаний является опущение по одному компоненту из двух первых (слева) составляющих. Причем в одних случаях сохраняется последняя (справа), замыкающая составляющая [*цзюнь-ши чжэн-чжи сюэ-сяо* («военный-политика-школа») [15] → *цзюньчжэн сюэ-сяо* «военно-политическое училище»], в других она опускается [*чжэн-чжи се-шан хуй-и* («политика-консультация-совещание») → *чжэнсе* «Политический консультативный совет»].

Иногда в сокращении сохраняется по морфеме из всех трех составляющих: *чжун-ян цюань-ти хуй-и* («ЦК-все-совещание») → *чжунцюаньхуй* «пленум ЦК», *бэй-цзин ши-фань да-сюэ* → *бэйшида* «Пекинский педагогический институт».

В четырехсложных сокращениях типа *чжэн-чжи гун-цзо жэнь-юань* («политика-работа-персонал») → *чжэнгун жэньюань* «политработники» первый двуслог имеет ярко выраженный характер сокращения и отличается зависимостью от других лексических единиц, в частности, он обычно не употребляется в изолированной позиции, а выступает в качестве определения к замыкающему двуслогу, в изолированной же позиции, используется полная форма.

В сферу морфемной контракции попадают и семи и более сложные лексические единицы [*жэнь-минь гэ-мин цзюнь-ши вэй-юань-хуй* («народ-революция-военный-комитет») → *цзюньвэй* «Народно-революционный военный совет», *цзяо-юй кэ-сюэ вэнь-хуа цзу-чжи* («образование-наука-культура-организация») → *цзяокэвэнь цзучжи* «организация ЮНЕСКО»). Чем сложнее название учреждения, органа или общественно-политического движения, тем выше коэффициент избыточности и, следовательно, сильнее тенденция к его сокращению. Реализация этой тенденции во многом зависит от частоты употребления этого названия, поскольку длина слов и частота их употребления находятся в обратной пропорции друг другу. Следовательно, процесс морфемной контракции в определенной степени способствует ликвидации противоречия между этими параметрами.

6. Другие виды морфемной контракции. Особой разновидностью морфемной контракции является объединение в единый лексический комплекс двух, а иногда и большего количества близких по значению слов с общей морфемой. В итоге образуются лексические единицы, у которых первые компоненты находятся в копулятивном синтаксическом соотношении. Например, *чжи-хуй-юань* + *чжань-доу-юань-чжичжаньюань* «бойцы и командиры», *шан-юань* + *бин-юань-шанбинюань* «раненые и больные». В результате такого стяжения обычно образуются временные, неустойчивые

[14] Блумфилд называет образования такого типа «полусинтаксическими сложными словами» (Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 253).

[15] Здесь, как и в некоторых других примерах, дается буквальный перевод слова, а не каждой морфемы.

терминологические комплексы, не имеющие фонетической цельнооформленности (между первым и вторым компонентом при произнесении существует небольшая пауза), хотя это отнюдь не исключает возможности их лексикализации в случае частого употребления. Своеобразным случаем контракции является образование сокращений с числительным в качестве первого компонента; при этом в сокращенном термине появляется числительное, которым обозначается количество слов или словосочетаний, подвергающихся контракции. Тем самым числительное обозначает количество явлений или событий, передаваемых данной группой терминов. В возникший новый сокращенный термин, помимо числительного, входит морфема, имеющаяся в составе каждого из слов или словосочетаний, подвергающихся сокращению. Например, *сы па* (букв. «четыре боязни») является сокращением четырех словосочетаний: *па ечжань* «бояться ночного боя», *па цзинь-чжань* «бояться ближнего боя», *па юйхуйчжань* «бояться обхода», *па чжаяо* «бояться взрывчатых веществ». Второй компонент в сокращенной единице иногда может быть двусложным словом; например: *сань ти-гао* (букв. «три повысить») «повысить (у студентов) уровень общественного сознания, производственных навыков и учебы».

7. Факторы, влияющие на процесс морфемной контракции — семантического, структурного и отчасти фонетического порядка. Ведущую роль играет фактор семантического порядка: в составе сложносокращенного слова сохраняются самые важные в смысловом отношении компоненты, которые позволяют наиболее отчетливо выразить внутреннюю форму сокращаемого термина.

Возьмем, например, термин *фа-шэ су-ду* «скорострельность» и посмотрим, какие значения имеют его односложные компоненты [16]: *фа* 1) «выбрасывать, летать, стрелять», 2) «отправлять, посылать», 3) «выплачивать, выдавать», 4) «предпринимать» и др. значения; *шэ* 1) «стрельба; стрелять»; *су* 1) «скорость, скоро», 2) «звать, приглашать»; *ду* 1) «мера, измерять», 2) «норма, градус»; 3) «закон, система»; 4) «поведение».

Наиболее существенные признаки понятия скорострельности выражены морфемами *шэ* «стрелять»; стрельба» и *су* «скорость; скоро», остальные морфемы семантически дополняют названные выше две морфемы в составе тех слов, в которые они входят (*фашэ* «стрелять» и *суду* «скорость»). Поэтому именно эти две морфемы избираются для образования сложносокращенного слова *шэсу*. Это сокращение наиболее близко к обычному сложному слову, поскольку семантика *шэсу* непосредственно связана со значением его морфем. Определение обозначает чаще всего наиболее важный в смысловом отношении признак того родового понятия, которое выражено морфемой, стоящей на последнем месте.

Семантический фактор при морфемной контракции проявляется и иначе. В тех случаях, когда перед последней морфемой имеется несколько определений или конкретизаторов (по терминологии И. М. Ошанина), уточняющих ее родовое значение, тенденция к достижению краткости приводит, как правило, к выпадению ближайших к ней определений и сохранению первого по порядку расположения определения, которое чаще всего обозначает наиболее важный в смысловом отношении признак родового понятия.

Приведем пример. В конце XIX в. в китайском языке появился термин *фэй-син-цзи* «летательный аппарат; самолет». В процессе морфемной контракции из его состава выпала менее важная в смысловом отношении морфема *син* «двигаться». Позднее для обозначения самолетов различных видов и назначения возник ряд терминов, имеющих одинаковое двуслож-

[16] «Китайско-русский словарь» под ред. И. М. Ошанина, М., 1952.

ное определяемое *фэйцзи* «самолет» и различные определения, указывающие на дифференцирующие видовые признаки: *хунчжа фэйцзи* «бомбардировочный самолет», *цзяньцзи фэйцзи* «истребительный самолет», *юньшу фэйцзи* «транспортный самолет», *чжэньча фэйцзи* «разведывательный самолет», *чжишэн фэйцзи* «вертолет» и др. При сокращении этих терминов была опущена морфема *фэй* «летать», конкретизировавшая родовое понятие *цзи* «аппарат, машина». Теперь морфема *цзи* приобрела значение «летательный аппарат». В результате появились сложносокращенные термины типа *хунчжацзи* «бомбардировщик» (букв. «бомбить-аппарат»). С появлением различных видов бомбардировщиков: легких, тяжелых, сверхтяжелых, реактивных, пикирующих, ракетоносных, космических и других — создаются объективные предпосылки для выпадения из обозначающих их терминов морфем, указывающих на их признак как бомбардировщиков. И, действительно, не так давно в китайской печати появился, например, термин *фучунцзи* «пикирующий бомбардировщик». Так, стремление сохранить первое по порядку определение, обозначающее наиболее существенный признак, послужило причиной того, что вместо громоздкого и неудобного для нужд языкового общения термина *фучун хунчжа фэйсинцзи* появился трехслог *фучунцзи*.

Таким образом, сокращение, являясь экономнее соответствующего развернутого словосочетания в количественном отношении (по числу морфем), осложняется семантически и ведет себя так, словно в его составе присутствуют все опущенные морфемы [17].

Фактор структурного порядка проявляется в стремлении создать сложносокращенные слова по образцу и подобию существующих в языке словарных единиц, в частности, двусложных и — реже — трехсложных единиц. Сложение слов в китайском языке идет, как известно, по пяти моделям, которые определяются характером синтаксических отношений между их компонентами [18]. Образование сложносокращенных слов в результате усечения многосложных лексических единиц происходит, в основном, по этим же моделям, что, однако, не позволяет полагать, что эти способы принципиально не отличаются друг от друга [19]. Морфемная контракция является, с нашей точки зрения, самостоятельным способом словообразования, который тесно связан со словосложением, лексикализацией словосочетаний и семантическим словообразованием, но все же достаточно четко отграничивается от них [20].

Фактор фонетического порядка также играет определенную роль, хотя его действие распространяется, в основном, на заимствования из европейских языков. Длинные и непривычные для китайского названия государств, видов самолетов, ракет и т. д. также сокращаются до двух-, трехсложного состава, часто получая при этом своеобразные суффиксы-классификаторы.

Фонетический фактор, влияющий на процесс морфемной контракции, проявляется еще в том, что из состава сокращаемых единиц выпадают морфемы, на которые не падает экспираторное ударение (*бэй-цзин да-сюэ* → → *бэйда* «Пекинский университет», *чжэн-чжи-вэй-юань* → *чжэнвэй* «комиссар» и т. д.). В этом случае семантический фактор как бы отступает на

---

[17] Р. А. Будагов, Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?, ВЯ, 1972, 1, стр. 23.

[18] Тип А — определительный, тип В — копулятивный, тип С — глагольно-объектный, тип Д — результативный, тип Е — субъектно-предикативный. Сокращения образуются по первым трем моделям.

[19] Н. Н. Коротков. Проблема слова в китайском языке, «Спорные вопросы грамматики китайского языка», М., 1963, стр. 68.

[20] Подробнее см.: И. Д. Кленин, указ. соч., стр. 47—50.

второй план. Полученные таким образом сложносокращенные единицы резко отличаются от обычных слов невозможностью прямого вывода значения целого из семантики компонентов. Разобранные в статье типы морфемной контракции и влияющие на ее осуществление факторы далеко не исчерпывают всего многообразия процесса образования сокращенных единиц.

Изучение морфемной контракции, отражающей глубинные процессы сочетаемости единиц современного китайского языка, помогает понять его морфолого-семантическую структуру, дает возможность вскрыть валентные связи корнеслогов (морфем и односложных слов), определяющие их комбинаторику в каждом конкретном случае, в известной степени раскрывает процессы, связанные с одной из главных особенностей китайского языка — морфолого-семантической значимостью слогоделения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

Г. С. КЛЫЧКОВ

ВАРИАТИВНОСТЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ ДОПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА

Реконструкция индоевропейского праязыка дает две хронологически различные системы. Первая из них, ближайшая к исторической эпохе, предполагает континуум диалектов общеиндоевропейского языка. Вторая располагается на нижней временной границе применения сравнительно-исторического метода и предполагает восстановление единообразного бездиалектного языка, к которому могут быть возведены явления позднейших диалектов общеиндоевропейского языка. Терминологически мы будем их различать как языки прото- и общеиндоевропейский. При восстановлении более древних состояний материальная содержательность реконструкций уменьшается, и протоиндоевропейский, уже в силу применяемого метода, приобретает абстрактный характер, а объединенные в нем единицы оказываются лишь условно единовременными. Синхронизация эта всегда проецируется в более древнюю эпоху по сравнению с прототипами единиц, которые восстанавливаются. Протоиндоевропейский праязык является моделью и лишь частично может соответствовать какому-то реальному языку VI—V тысячелетия до нашей эры.

Подобное неполное соответствие модели своему прототипу предусматривается теорией: каждая из создаваемых моделей должна последовательно приближать нас к познанию объекта. В сравнительно-историческом языкознании этот принцип осложнен рядом моментов. Компаративистика предполагает объяснение явления через его генезис, и каждый новый шаг в познании лингвистической действительности означает увеличение хронологической глубины реконструкции. Для общеиндоевропейского расхождение модели и прототипа еще незначительно, в некоторой степени обобщенность реконструкции обещеиндоевропейского языка отражает тенденцию нормализации, характерной для позднейшей индоевропейской эпохи. Возникает, однако, момент, когда отношения между результатами реконструкции и языковой реальностью существенно меняются; это происходит между обще- и протоиндоевропейской эпохой, когда исследователь доходит до границы существования наддиалектной нормы. Сравнительная грамматика индоевропейских языков с самого начала опиралась на факты литературно-письменных языков, за которыми стояло значительное многообразие диалектов. Поэтому реконструкция становилась обобщением и рафинизацией реальной речи.

Компаративистика XIX в. исходила из убеждения, что письменная фиксация является основным условием изучения лингвистического факта. «Комбинация членораздельных звуков, образующих слово,— писал У. Д. Уитни,— является почти такой же объективной сущностью, как полип или окаменелость. Она может быть сохранена на листе бумаги подобно растению в гербарии для последующего неторопливого исследования» [1].

[1] W. D. Whitney, The life and growth of language, London, 1889, стр. 311.

В конечной инстанции реконструкция дала язык, который воспринимался как система в высшей степени правильная, регулярная и симметричная [2]. Понятие системы как совокупности, в которой сущность каждого элемента определяется взаимными отношениями со всеми другими, сформировалось при реконструкции праязыка [3] вопреки обычному для младограмматиков требованию изучать язык, расчленяя его на отдельные факты (атомизм). Это особенно ясно при морфологическом анализе праформ: одна отдельно взятая праформа не дает возможности определить ее статус как слова, основы или корня [4]. Вместе с тем единовременность реконструированных форм условна, любая из них может относиться к иной эпохе, чем остальные [5], поэтому, согласно младограмматической теории, история каждой формы должна быть прослежена независимо от остальных по императивным звуковым законам.

Возведение каких-либо языков к статической системе единого праязыка стало необходимым и достаточным основанием для установления их родства. Ряд соображений приводит к противоположной мысли о том, что глубина реконструкции протоиндоевропейского языка характеризуется резким возрастанием вариативности языка, свойственной дописьменной истории языковых семей. При этом особый интерес получает теоретический вопрос о типе вариативности языка в дописьменную эпоху [6].

Вариативность протоиндоевропейского языка, если подходить к нему как к реальному языку, видимо, характеризовалась континуальностью, отсутствием дискретных границ вариаций, нечеткостью возникающих семантических категорий, цикличностью, регенерацией тенденций, преобладанием ономасеологической вариативности. Все это вело к типологической изменчивости протоиндоевропейского языка. Эпоха развития индоевропейской семьи языков дописьменной эпохи характеризовалась очень быстрыми темпами развития. Если отвлечься от ностратических концепций [7], этот период можно охарактеризовать переходом от языка корневого строя через агглютинацию к флексии.

Большинство теоретических коллизий в сравнительной грамматике индоевропейских языков связано с недостаточно строгим различением реалий, моделей [8] и глубин реконструкции. Так, теория корня Э. Бенвениста, созданная для протоиндоевропейского, не получает подтверж-

---

[2] A. Schleicher, Die deutsche Sprache, Stuttgart, 1874.

[3] См., например, замечания К. Бругмана о реконструкции значения падежной формы на основании всех восстановленных падежных форм (K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg, 1904, стр. 418, § 529).

[4] Там же, стр. 283, § 365.

[5] Там же, стр. 283, примеч.; см. также: H. Osthoff, K. Brugmann, Morphologische Untersuchungen, I, Leipzig, 1868, стр. 136.

[6] О типах вариативности языка см., например: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 211—239; А. Л. Воронов, К вопросу о роли вариативности языковых средств в развитии языка, «Уч. зап. Горьковск. гос. пед. ин-та ин. яз.», 45, 1971; Т. Н. Лазарис, К вопросу о синтаксической вариантности (на материале сложноподчиненного предложения в современном английском языке), ФН, 1971, 3; М. М. Маковский, Вариативность лексико-семантических систем, «Ин. яз. в шк.», 1971, 4; Н. Н. Семенюк, Некоторые вопросы изучения вариативности, ВЯ, 1965, 1; О. И. Москальская, Норма и варьирование в современном немецком литературном языке, «Ин. яз. в шк.», 1967, 6.

[7] Внеиндоевропейские сопоставления, если принимать их некритически, свидетельствуют скорее о древнейшей флективной системе.

[8] Ср., например: E. Pulgram, Indo-European reality and reconstruction, «Language», 35, 3, 1959; I. W. Marchant, Was ever a uniform Proto-Indo-European, «Orbis», IV, 2, 1955; W. Lehmann, A definition of Proto-Germanic. A study in the chronological delimitation of languages, «Language», 37, 1, 1961; В. В. Иванов, В. Н. Топоров, К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских языков (Доклады IV Международного съезда славистов), М., 1958, и т. д.

дения в реальности общеиндоевропейского праязыка [9], что ни в коей мере не снимает ее значения для сравнительной грамматики. Под влиянием структурализма то или иное наблюдение и построенная на нем теория оценивается только в полихронической концепции развития языка, где место явления можно найти только на одном из «срезов» [10], который рассматривается как уравновешенная соссюровская система. Переход от одной системы к другой описывается на основании комбинаторики или дистрибуции единиц. Язык в этой концепции выступает как исчисление. В этом наплавлении шло большинство работ, опиравшихся на ларингальную теорию в фонологии, в морфологии делались также попытки представить словообразование и словоизменение индоевропейских языков посредством комбинаторики простейших формантов. Такой поход дал положительные результаты только в ограниченных пределах.

Камнем преткновения, как правило, становится проблема расширителей корня (детерминативов) в протоиндоевропейском и вопросы хронологии — в общеиндоевропейском. К этому можно добавить проблему инфиксов и чередования согласных. Описание развития языка в виде исчисления и комбинаторных возможностей компонентов предполагает описание какого-либо этапа развития в терминах предыдущего, что влечет за собой потерю информации. Единицы в разное время своего существования могут быть не только неидентичны, но и неконгруэнтны. Лингвистическое изменение означает возникновение новых свойств, содержание которых не исчерпывается усложнением структуры.

Текучесть, недискретность языкового материала («ἐνέργεια», а не «ἔργον» В. Гумбольдта) снимается в соссюрианской лингвистике путем отвлечения от вариативности языка, введения понятия статической уравновешенной системы. Это решение, отнюдь не единственное в принципе, господствовало в языкознании XX в. и, как сейчас начинает выясняться, во многом исчерпало себя. Представляется, что в историческом и сравнительно-историческом языкознании возникает необходимость создания аппарата описания языка как процесса. Основанием для этого являются имплицитно содержащиеся в практике компаративистики теоретические предпосылки, продолжающие эволюционистские традиции [11] классического сравнительно-исторического языкознания. Здесь следует указать на принцип хронологической относительности лингвистического родства [12], классификации индоевропейских диалектов, при которой нарушается схема последовательности «срезов» [13], а главное — на накопление материала, свидетельствующего о значительной изменчивости практически всех грамматических категорий, восстанавливаемых в праязыке.

Тип теории развития во многом определяется используемой моделью времени. Можно пользоваться дискретным полисистемным временем, описывающим изменение как смену систем, изолированным внутрисистемным временем, в котором происходят видоизменения одной и той же системы. Обе эти модели лежат в основе большинства диахронических исследований структурального типа; более содержательной является, однако, модель

---

[9] См.: Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 35—36.

[10] То же наблюдается и в теории порождающих моделей. См.: P. Kiparski, On comparative linguistics. The case of Grassmann's law, «Current trends in linguistics», The Hague — Paris, 1973, vol. 11 — Diachronic, areal and typological linguistics, стр. 115—133.

[11] См. раздел «Лингвистическая непрерывность» в кн.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 52—60.

[12] V. Pisani, Parenté linguistique, «Lingua», III, 1, 1952.

[13] «Ancient Indo-European dialects. Proceedings of the conference on Indo-European linguistics (1963)», Los Angeles, 1966.

прерывистого фазового времени, в которой предусмотрен кризис системы и момент нарушения дискретности лингвистических единиц, фаза подвижности элементов компонентного уровня, дифференциальных признаков внутри дистинктивных единиц, больших, чем фонема [14]. В фонологии последние представляют собой группофонемы [15] или силлабофонемы [16]. В морфологии идет процесс варьирования морфемы внутри словоформы. Результат фиксируется как диасистема, определяемая сосуществованием двух подсистем.

Пользование понятиями динамической теории требует отказа от понятия единицы как практически единственного термина описания лингвистической действительности. Язык есть, прежде всего, множество изменений; он состоит не из констант, а из переменных. Язык следует описывать в терминах элементов, растянутых во времени и предполагающих тождество в диалектическом единстве с изменчивостью.

При подобном представлении языка могут получить лучшее отражение факты длительного проявления или регенерации тенденций группы родственных языков. Так, закон открытых слогов в праславянском является продолжением основной индоевропейской тенденции объединения в слоге дистинктивной функции и гласных и согласных (силлабофонемика). Падение редуцированных [17], которое многие считают границей общеславянского периода, казалось бы, сняло действие этой тенденции. Закон открытых слогов, однако, почти полностью остался действительным для неконечных слогов, а процесс нейтрализации дифференциального признака глухости — звонкости в абсолютном конце слова во многом носит черты продолжения старой тенденции дистинктивности слога. На месте старых еров в абсолютном конце слова после ударной гласной может быть представлен краткий глухой гласный. В дефонологизации этого гласного отступа конечного согласного и состоит процесс «падения» редуцированных и нейтрализации глухих и звонких.

Разделение этого процесса на этап падения гласных и этап оглушения, когда конечные глухие и звонкие согласные совпадают в одной архифонеме, едва ли правомочно. Может быть, более точно описывать этот процесс как изменение силлабической структуры: из двух открытых слогов возникает один закрытый, а редуцированный сохраняется в абсолютном конце слова как глухой отступ согласных, закрывающих слог; глухие согласные в этой позиции характеризуются твердым примыканием с ударным гласным, который несет субфонологическое повышение тона. Старые звонкие согласные также имеют глухой отступ, но отличаются слабым примыканием, гласный перед ними продлен и имеет понижение тона. На уровне сегментных фонологических единиц в обоих случаях возникает архифонема, совпадающая с глухим согласным, а глухой гласный паузвук служит сигналом абсолютного конца слова. Следует подчеркнуть невозможность строгого установления здесь четких границ изменения.

В процессе изменения языка исходная ступень вариаций может сосуществовать с производной, а варьирование звуковой стороны единицы служит толчком, вызывающим флуктуацию значения, причем исходный и производный семантические варианты также сосуществуют и допускают изотропные переходы.

---

[14] См.: Г. С. Клычков. Моделирование языка во времени: процесс и система, BPTJ, XXIX, 1971.

[15] См.: В. К. Журавлев, Формирование группового синтармонизма в праславянском языке, ВЯ, 1961, 4.

[16] См.: Г. С. Клычков, Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка, ВЯ, 1963, 5.

[17] См.: В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань, 1964.

В определенный момент изменения новая форма может оказаться более частой, чем старая; тогда старая оказывается маркированной. В условиях изотропного варьирования ее следует считать производной. Раз прошедшее изменение может повториться, но уже после того, как варьирование стало анизотропным, на фоне результатов, уже закрепившихся в языке. Так, чередование двух форм основы, по Э. Бенвенисту, затем вновь повторяется между основой и ударным суффиксом, например, в **prk-ské-ti* устанавливается тот же тип отношения, что и в основе типа **pr-ék* [18]. Лингвистическое изменение отчасти напоминает сонатное аллегро и содержит как бы экспозицию — разработку — репризу — коду. В этой цепочке возможно возникновение замкнутых участков. Одна и та же вариация языкового элемента, например сигматическая форма основы, генерируется вновь и вновь как фреквентатив, аорист, претерит, будущее, дезидератив, прекатив; йотированные основы также многократно регенерируются с разными значениями. Каждый тип лингвистической вариации в этом случае дает максимальные результаты, изменение становится функционально более емким, в единицу внешнего хронологического времени оказывается включено гораздо больше шагов лингвистического времени, чем при обычном прямолинейном развитии.

Обычно под вариантом слова понимается такая его модификация, которая полностью определяется лексико-семантическим окружением, контекстом. В этом случае фактически варьирует не слово, а синтаксические модели и их лексическое наполнение. В отличие от такой семантико-синтаксической вариативности, которая характерна для литературно-письменных языков, для дописьменных языков, лингвистических ареалов, потерявших связь с письменной традицией, характерны варианты слова как такового, или ономасеологическая вариативность языка.

Несколько иные процессы представлены в жаргонах, социально обусловленных говорах, существующих на фоне литературного языка. Последняя область требует отдельного рассмотрения, но представляется, что там преобладает лексическая вариативность, заключающаяся в замене слова, обычно путем заимствования, а варианты одного и того же слова не получают семантической значимости. Так в описании Ч. Диккенса: в уличном крике *Paper*! «газета» в говоре уличного разносчика Адольфуса Тетерби «первая гласная заменялась в разное время на все остальные в алфавитном порядке» [19] — без изменения смысла.

Ономасеологическое варьирование связано с тем, что словарная форма слова зачастую нивелируется. Таковы, например, в территориальных бесписьменных диалектах слова-синтагмы, например, в шотландском английском [fustikat] «How is it ye call it» [20]. По свидетельству Х. Вагнера, исходная форма определенного слова в островных ирландских диалектах, потерявших связь с литературно-письменной традицией, «обладает очень малой реальностью» [21]. Ономасеологическая вариативность, таким образом, происходит на стыке фонологии и семантики слова и характеризует в большей степени языки дописьменной эпохи; с возникновением литературно-письменных нормализующих языков эпицентр изменчивости сдвигается в синтаксис. Поэтому индоевропейские языки ис-

---

[18] Th. H. Maurer, Unity of the IE ablaut system. The disyllabic roots, «Language», 23, 1, 1947.

[19] Ch. Dickens, The haunted man and the ghost's bargain. A fancy for Christmas time, London, 1848, стр. 68. (Ч. Диккенс, Собр. соч. в тридцати томах, М., 1959, т. 12, стр. 472; в переводе описание утеряно).

[20] W. Grant, I. M. Dixon, Manuel of modern scots, Cambridge, 1921, стр. 63.

[21] W. Wagner, A linguistic survey of Irish dialects, «Lochlann. A review of celtic studies», 1, Oslo, 1958, стр. 38.

пытывают значительно бо́льшую типологическую перестройку в период от протоиндоевропейской до конца общеиндоевропейской эпохи, чем во время развития письменности. Последняя и в других геолингвистических регионах задерживает процессы как типологического развития, так и генетические процессы дифференциации языковой семьи.

Материал дописьменной эпохи, однако, труднодоступен. Лучшим источником наших представлений о вариативности языка дописьменного периода могут быть ведические тексты, долгое время существовавшие в устной форме и несущие широкий спектр вариантов. Процессы данного типа моделируются в терминах знаковой теории С. Карцевского, которая предполагает связанное (совместное) варьирование звуковой и смысловой стороны знака.

Совместное варьирование дает первичные ономасеологические варианты, варианты корней [22] как носителей основного предметного значения слова. В результате возникают пары слов, близких по значению и отличающихся на один элемент фонетического варьирования, т. е. синонимы-рифмы, аллитерирующие синонимы — минимальные пары. В таких ономасеологических вариантах фонетически варьирующая часть слова еще не является морфологически выделимой, не образует отдельной морфемы. Варианты здесь заменяют одно слово-название на другое. Такие названия могут быть полностью самостоятельны, и один из вариантов может трактоваться как «ошибка». Например, замена *vācam* от *vāc* на *vājam* от *vāja* может быть в ведических текстах просто ошибкой, но, как отмечают Л. Блумфилд и Ф. Эджертон, она повторяется регулярно в разных контекстах [23]. Первое слово значит «речь; язык; молитва, ритуальный текст, гимн», второе — «очищенное масло, смесь воды и муки, употребляемые при жертвоприношении; вода; заключительная молитва в конце жертвоприношения; быстрота; звук; речь; крыло; оперение стрелы». Здесь идентичность двух разных слов не нарушена, однако перекрещивание объемов их значений не вполне случайно, варьирование объединяет их в одно динамическое поле [24]. Отношения между словами, возникающие в таком поле, как справедливо указывал Э. А. Макаев при анализе цитированной работы, не может быть приравнена к этимологической и детерминированной словообразовательной связи.

В других случаях близость значения постепенно становится более существенной. Так, вед. *dhāman* со значениями «пребывание; жилище, дом; состояние; тело (жилище души); место; место рождения, происхождение; блеск, богатство; сила» альтернирует с *nāman* «имя», причем оба слова в переносных своих употреблениях перекрещиваются в значении «имя» — «значимость, положение, происхождение». В группе *lubh* — *yup*, *lup* — *rup* устанавливаются варианты звучания и значения: *yup* — *yupāti* «мешать, стеснять, нарушать (порядок), переступать (закон)», *lubh* — *lubhyati* «желать; любить», *lubhāti* «нарушать, бередить, возбуждать», *lup* — *lupyāti* «возбуждать, приводить в смущение», *lumpati* «разрушать, разбивать, нарушать (закон)», *rup* — *rupyāti* «возбуждать, приводить

---

[22] В работе 1964 г. мною была сделана попытка показать возможность вывести все формы индоевропейского корня из вариативности протоиндоевропейских финалей силлабофонем и их комбинаторики (см.: Г. С. Клычков, Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка и проблема становления индоевропейских флексий, в кн.: «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков», М., 1964, стр. 31—35).

[23] L. Bloomfield, Fr. Edgerton, Vedic variants. A study of the variant mantras of the Veda, 1—3, Philadelphia, 1932, 2 — Phonetics, стр. 15. Значения приводятся по кн.: E. Burnouf, Dictionnaire classique sanskrit-français, Paris, 1866.

[24] См.: Г. К. Флусова, Развитие группы индоевропейских слов, восходящих к одному корневому архетипу. ДК, М., 1973.

в смущение». В паре *jinv* — *pinv* первое слово значит «радоваться, расти, увеличиваться, любить», второе — «проливать (дождь), орошать, наполнять (вымя), набухать», в среднем залоге: «быть полным, жизенерадостным, наполненным (молоком — о вымени)». Наиболее тесно связаны значения в парах типа вед. *śvetá* «белый» (гот. *ḫeits* «белый») и вед. *śyetá* «бело-розовый» (эпитет зари), *śyāmā́* «черный» — *śyāvā́* «темный». Иногда вариативность приводит к возникновению длинной цепочки слов: *ak-* «идти (согнувшись или кругами), извиваться»; *añk-* «идти, отмечать», *añc-* «идти, искать, обращаться, отдавать должное, уважать»; *ag-* «идти, извиваться; изгибаться»; *añj-* «идти, покрывать маслом»; *añc-*, *kac-*, *kuc-*, *kuñc-*, *kruñc-* «идти, изгибаясь, согнувшись»; *vañc-* «ходить (вокруг), идти» и т. д.; ср. *kr̥-* «делать, ставить», но *gr̥-* «распространять, распределять, проливать»; *dhvr̥-* (*dhvarati*) «сгибать» (*dhvarati tr̥nam vayuṣ* «ветер сгибает тростник»), но *hvr̥-*(*hvarāmi*) «быть согнутым, раненым, отраженным», вед. *hvārayāmi* «сгибать, поражать».

Варьирование этого типа образует чередования согласных и детерминативы, расширители корня, о которых Кноблох справедливо сказал, что они представляют собою обломки индоевропейских слов, оставшиеся после этимологизирования согласно принципу непреложных фонетических законов [25]. Как правило, в вариантах, представляющих собою минимальные пары, маркированный член является более экспрессивным, несет дополнительные семантические признаки, имеет более узкое или конкретное значение — как это установлено на материале грабара, ср. др.-арм. *ogi* «дыхание» — *hogi* «дух», *arac* «чума» — *harac* «перхоть», *arbil* «пить» — *harbil* «быть пьяным» и т. д. [26]. С нашей точки зрения, к подобному ономасеологическому варьированию восходят индоевропейские гетероклитические показатели.

В процессе ономасеологического варьирования первоначально детерминативы, гетероклитические элементы и чередования согласных не имеют единого значения. Дифференциация, однако, сопровождается обобщением сходных вариантов, и некоторые из них становятся показателями широкого семантического класса существительных. Так, *r*-основы оказываются связанными с именами родства, *r*/*n*-основы — с обозначениями внутренних органов и их выделений, частей тела, временных отрезков, а также явлений природы. Расширитель *-k-*, перед *s* совпадающий с древним показателем коллективного падежа на ларингальный, характерен для собирательных названий птиц, зверей, растений, ср. греч. γλαῦξ «сова», ἱέραξ «ястреб», κήξ «чайка», κόκκυξ «кукушка», κόραξ «ворона», ὄρτυξ «перепел», πέρδιξ «куропатка» и т. д.

В случаях, когда вариации ономасеологического типа оказываются связанными со стилистическими эмоциональными или ономатопеическими коннотациями, выделение отдельного форманта — показателя основы (детерминатива) не происходит. Таковы, например, варианты индоевропейского названия козы [27]. В звучании здесь представлены варианты **aper* (**apro*, **apr̥*), **kaper* (**kaprā*), **kapr̥th*, **kabro* (**kabr̥*), **kaĝher* (**kaĝhro*), **kago*, **aĝjo*, **aigs* в значении — «козел» («коза»), «дикий козел», «вепрь», «дикий кабан», «баран», «боров», «хряк», «кастрированный козел».

Если отвлечься от коннотационно нагруженных вариантов, после выделения показателя основы, который сам по себе не обладает еще морфологическим статусом и четким значением, дальнейшее варьирование

[25] J. Knobloch, La voyelle thématique *e*/*o*, serait-elle un indice d'object indo-européen, «Lingua», 3, 4, 1953.

[26] A. V. Jerejian, The *h* — zero alternation in classical Armenian, «Word», 9, 1953.

[27] A. Meillet, Les origines du vocabulaire slave, RÉSL, 5, 1/2, 1925, стр. 8—9.

словоформ идет по линии повторного порождения этого показателя уже в качестве морфологического форманта с определенным значением. Ономасеологическое варьирование становится грамматическим. Как уже отмечалось, это может повторяться неоднократно, причем с новым значением в каждом цикле. Различение двух уровней варьирования — ономасеологического и грамматического — очень важно. На первом действуют «капризные» процессы слияний, аллитераций, повторов, субституций, метатез, рифмованных вариантов и т. д., которые представляют собою индивидуальные особенности отдельных слов и не позволяют пользоваться методами, опирающимися на регулярность фонетических соответствий [28]. На уровне грамматического варьирования число вариантов и их эмоционально-стилистическая нагруженность падает, начинает складываться сетка детерминированных фонологических корреспонденций форм. Это относится не только к формантам, но и, например, к редупликации.

На уровне ономасеологического варьирования редуплицируется весь слог, долгота — краткость и тембр гласного в первом и втором редуплицирующих слогах непредсказуемы. Редуплицированное слово может иметь двойной акцент подобно сложному слову, ср. др.-инд. *bálbáliti* «крутится» и сложное слов *bráhmaṇas-pátiṣ* «хозяин молитвы». Между редуплицирующими слогами возможна соединительная гласная, например, от **bher-* др.-инд. *bhárī bharti* (интенсивная редупликация) «несет-таки!». Долгота соединительной гласной *-i-*(и.-е. **iH*) по крайней мере по происхождению указывает на сигнал конца слова. При грамматикализации удвоения выделяется две модели: презентная с гласной *-i-* в первом слоге, например др.-инд. *jijanat*, лат. *gigno* от **ĝen*, и перфектная с **e* в первом, **o* во втором слоге. При грамматической редупликации в интенсиве первый слог должен быть кратким, например др.-инд. *aśāśyate* интенсив «много ест».

Процессы грамматической вариативности удобно рассмотреть на примере развития форм индоевропейского глагола. Ономасеологическое варьирование дало в глаголе большое количество констеллирующих основ разной структуры, в которую включались и синонимические варианты, ставшие впоследствии супплетивами типа ὁράω «вижу», ὄψομαι «увижу», аор. εἶδον «видел, знаю». От простых корневых основ типа **léiqᵘ-t* отличались тематические двух типов — аористо-презентные **liqᵘ-é-t* и дуративные **léiqᵘ-e-t*. Последние два образования отражают глубину раннего протоиндоевропейского языка, разложение силлабофонемики на гласные и согласные, но по-разному распространены в анатолийском ареале и остальных индоевропейских языках [29]. В именах параллельно этому противопоставлению возникает различие форм «активных» типа **péd-s*, лат. *pēs* «нога» и «инактивных» типа **pṛd-ó-m*, др.-инд. *padám* «шаг, след», однако точная семантическая дифференциация на этом уровне едва ли существовала. Дальнейшая вариативность основ была связана с образованием основ назальных, сигматических, йотированных и т. д. В имени этим различиям соответствуют альтернации гетероклисии. На этом уровне ономасеологическая вариативность переросла в грамматическую, но пока еще только словообразовательную. Собственно формообразование сводилось к личным окончаниям двух серий — ларингальной (спряжение на *-ḥi*) и «вторичным» окончаниям *m*-серии. Предположение, что первые связаны со значением статива (инактива), вторые — актива и это противопоставление полностью параллельно оппозиции дуративной

[28] J. Gonda, The comparative method as applied to Indonesian languages, «Lingua», 1, 1948, стр. 90.

[29] I. A. Kerns, B. Schwartz, A sketch of the indo-european finite verb, Leiden, 1972.

и аористо-презентной основ, маловероятно — на этом уровне грамматического варьирования не могло быть столь разработанного и четкого противопоставления.

Формы *m*-серии тематических основ типа **léiq^{u}-e-m* были не маркированы с точки зрения времени и наклонения, могли иметь любые модельные и темпоральные значения. Морфологически неизменные рефлексы таких полифункциональных форм носят название инъюнктива. Ж. Гонда показал широкий семантический спектр этой формы [30] в архаических сакральных формулах, пересказах мифов и т. д., где она употребляется в функции оптатива, императива, будущего. Для заклинания, мифа характерно слияние желаемого и действительного, реального и нереального, настоящего и прошедшего. Инъюнктив употребляется также с модальными частицами, предлогами, наречиями, которые функционально напоминают слова-предикативы (pivots «стержни») [31] в детской речи. От немаркированной личной формы глагола были образованы формы презенса путем присоединения форманта *-i*, который совпадает с деиктической частицей со значением «здесь, сейчас», а также с показателем основы *i/j* и гласным первого слога в презентной редупликации. Этот формант, кроме значения презенса, нес указание на реальность действия, индикатив в отличие от инъюнктива. В греческом, древнеиндийском, армянском прошедшее получает выражение в форме с аугментом, который по происхождению был, очевидно, наречием. Образование этих категорий знаменует начало второго цикла грамматической вариативности — личные окончания и форманты основ, комбинируясь в агглютинативные цепочки, порождают уже не лексико-грамматические категории основ, а грамматические категории форм.

В ареалах, где не было аугмента, возникают диалектные формы претерита. В хеттском претерите, например, произошло слияние личных окончаний на ларингальный с окончаниями *m*-серии. Так, окончание *-ḫun* возникает в результате контаминации *-ḫ-* и *un* из **m̥*. В претеритных окончаниях участвует также сигматический формант (2 и 3-е лицо мн. числа претерита *ḫi*-спряжения — *sta*), *-s-* известен как показатель основы фреквентатива (итератива), например, хет. *paš* «много глотать», *halzešk* «звать много людей или часто звать», ср. общ.-слав. *tręsǫ* «трясу», др.-инд. *trásat*; **ed-s-l̥*, общ.-слав. *jasli*. К монодиалектным категориям со значением прошедшего времени относятся также латинские формы имперфекта *legē-bam*, где первая часть представляет собою глагольное существительное [32], представленное также в словосложении с *-facio*, например, *arēfacio*, *putēfacio* «сушу, гною», и восходит к форме на ларингальный. Протоиндоевропейские формы на ларингальный в общеиндоевропейском образовывали видо-временные формы перфекта, который от хеттского спряжения на *-ḫi* отличается редупликацией с гласными *e* — *o*, нулевым словообразующим суффиксом и личными окончаниями ларингальной серии. За пределами анатолийских языков глаголы старого спряжения на ларингальный потеряли способность выражать действия в активе презенса. Поэтому хеттскому глаголу *ḫi*-спряжения в других индоевропейских языках соответствует форма с окончанием *-mi*, хет. *teḫḫi* «ставлю, кладу», и.-е. **dhēmi*, **dhidhēmi*, греч. τίθημι.

Переход от ономасеологической вариативности к грамматической наблюдается и при становлении аориста. Аорист — это по происхожде-

[30] J. Gonda, On character of the Indo-European moods, Wiesbaden, 1956.

[31] McNeil, The acquisition of language. The study of developmental psycholinguistics, New York, 1970; M. Bowerman, Early syntactic developments, New York, 1973.

[32] См.: А. Эрну, Историческая морфология латинского языка, М., 1950, стр. 188.

нию немаркированная глагольная основа, близкая к имени. Грамматическая категоризация аориста является результатом варьирования этой формы. В индоевропейском могли быть глаголы курсивно-дуративные, например, **bher-* «нести», **ed-* «есть», аористические (**sthā-*, **dhē-*, *dō-* и др.), а также парные.

Атематические аористы являются немаркированным названием действия вне времени, они близки к имени, в частности, к отглагольному имени на ларингальный в перифрастической форме на долгий гласный, например, **dhē-* в **é-dhē-t* аор. «поставил»; презенсы таких основ плохо засвидетельствованы. Среди тематических аористических корней преобладает аористо-презентная форма, но есть несколько форм с полной ступенью чередования в корне, например, **ê-sed-o-t* от **sed-*, др.-инд. *ásadat*. Сравнительно с анатолийским ареалом в остальных индоевропейских диалектах дуративные основы развиты сильнее, функциональное различие типов стерто. В противопоставлении аорист — презенс последний является маркированной категорией, несущей ряд стилистических и эмоциональных коннотаций. Обычно возникает ряд презентных основ, находящихся в отношениях констелляции, их функциональная нагрузка и селекция определенной основы для парадигмы конкретного глагола в ретроспективном отношении являются случайными. В проспективном плане наличие разных основ ложится в основу формообразования, а показатели основ перерастают в более абстрактные форманты грамматических категорий. Сюда относятся назальные, йотационные, сигматические, дентальные форманты. В качестве примера можно перечислить функции сигматического форманта: претеритное значение в хеттском прошедшем *ḫi*-спряжения, в древнеиндийском и греческом плюсквамперфекте, например, греч. ἴσαν от οἶδα «видеть», сигматический аорист в широком ареале индоевропейских языков, дезидератив (при редупликации), например, др.-инд. *vivitsaṭi* из **u̯i-u̯id-s-o-ti* «он хочет узнать»; будущее, например, др.-инд. *dāsyā*, греч. дорич. δωσέω от **dō-* «давать». Здесь сигматизация соединяется с йотацией. При иной последовательности формантов возникает прекатив, например, др.-инд. 1-е лицо мн. числа *bhū-yā-s-ma*. С сигматическими формами тесно связан формант *-sk̂-*, образующий итератив, терминатив и — в тохарских и армянском языках — претерит. Йотация характеризует оптатив, например, **bher-o-i-t* от **bher-* «нести» и пассив др.-инд. *bhriyāte*.

На этом уровне поздних индоевропейских грамматических категорий возникает новый эпицентр вариаций. Особенно это относится к наклонениям. «Среди вариантов глагола,— писали авторы монографии о ведических вариантах,— замены наклонений выделяются как наиболее постоянные и важные. Любое наклонение заменяется на любое другое — bellum omnium contra omnes — в большинстве, очевидно, без ясного изменения значения. Если в этих заменах заключается психологический смысл, он полностью определяется произвольной оценкой исходного модального значения. Если допустить, что формы наклонений в самом деле имели различную грамматическую значимость, нет никакого разумного основания для этих замен...» [33]. Такая вариативность отражает эпоху еще не сложившейся системы грамматических категорий, и, возможно, допущение наличия у форм наклонения устойчивых значений на этом уровне является преждевременным. Как подчеркивают авторы монографии, такое положение является беспрецедентным в истории литературных языков — оно отражает закономерности предыдущей эпохи. Так, замена *śarma yaṁsat* (RV. 1. 107. 2) на *śarma yachatu* (RV. 10. 66. 3) «защиту дал бы/дай» представляет собою альтернацию аориста субъюнк-

[33] L. Bloomfield, Fr. Edgerton, указ. соч., 1, стр. 53.

тива и презенса императива, но за ней скрывается более древнее чередование основообразующих суффиксов *-sk̂-/-s-*. Замена *pitṛṣv āstām* (AV, I, M.I) на *pitṛṣv āsātai* «да сидит среди отцов» с субъюнктивом на **-oi* вместо императива также отражает свободное варьирование основ. Модальное варьирование тесно связано с варьированием видо-временной формы. Так, *śarma yaṁsat* варьирует с *śarma yacha*, где устанавливается форма презенса. Чаще всего представлены чередования презенса со всеми другими формами. Аорист, инъюнктив и презенс взаимозаменяются в претеритальном значении, что отражает вариативность форм с аугментом и без него.

Варьирование морфологических категорий приводит к образованию грамматических систем отдельных диалектов общеиндоевропейского языка, которые впоследствии были закреплены в литературно-письменной форме.

Структурно более сложный этап грамматического варьирования связан с образованием грамматикализованных словосочетаний; хронологически он частично совпадает с предыдущим. Последний цикл индоевропейских грамматических форм представляет собою перифрастические образования типа др.-инд. *dātāśmi* «дам» из словосочетания **dōtor ésmi*, которое в классическую эпоху стало эквивалентом обычного будущего на *-sya-*. В греческом, как и в других языках, аналитические формы приобрели экспрессивный характер, ср. перфект τετραμμένοι εἰσί от τρέπω «обращать», лат. *captus sum*, др.-в.-нем. *ginoman ward* и т. д. Экспрессивность характерна для «новой» категории, возникшей как вариант нейтрального, широкого по значению класса. Этот последний концентр грамматической вариативности языка знаменует становление аналитических тенденций письменных индоевропейских языков, в которых вариативность слова вытесняется вариативностью словосочетания.

Подведем некоторые итоги. Вопрос о специфике лингвистического варьирования в период становления и начального развития индоевропейского праязыка оказывается тесно связанным с вопросом о моделировании этого процесса. Различие хронологических глубин реконструкции обще- и протоиндоевропейского языка соответствует важному онтологическому различию. Протоиндоевропейский не может рассматриваться как аналог нормализующего наддиалектного койне эпохи литературно-письменных индоевропейских языков. Он отличается преобладанием ономасеологического варьирования, континуальностью и цикличностью изменений, нечеткостью грамматических противопоставлений, образованием общих немаркированных классов широкой семантики, экспрессивностью маркированных категорий, высокой степенью типологической изменчивости. С точки зрения теории развития это означает, что полихроническая модель «срезов» (статических состояний) на больших глубинах реконструкции непригодна. Еще в большей степени, чем другие лингвистические объекты, протоиндоевропейский язык следует описывать как систему процессов, а не единиц.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

Т. И. ДЕШЕРИЕВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ФИЗИЧЕСКОМУ И ФИЛОСОФСКОМУ АСПЕКТАМ

В настоящей работе мы исходим из положения о том, что категория времени имеет физический, философский и лингвистический аспекты, из которых первые представляют собой две стороны единого целого, а последний подчинен им, но имеет свою специфику и потому требует особого рассмотрения, учитывающего эту специфику.

Можно считать бесспорным существование физического аспекта времени, включающего в себя проблемы соотношения времени и материи, реально существующих независимо от сознания человека. Существование философской категории времени подтверждается существованием принципиально различных философских определений этой категории. Так, в марксистско-ленинской философии время определяется как форма бытия материи; с другой стороны, в кантианско-махистской идеалистической философии время понимается как форма человеческого созерцания. Существование и единство физического и философского аспектов пространства и времени убедительно доказано теорией относительности А. Эйнштейна, связывающей свойства пространства и времени с относительной скоростью движения материальных тел, с определенным типом отношений и связей материальных явлений, процессов. Известно, что классические представления о пространстве и времени были созданы на основе исследования механического движения макротел, совершающегося со скоростями, значительно меньшими скорости света. Пространственно-временные отношения специальной теории относительности возникли на основе исследования электромагнитного поля, электромагнитных взаимодействий. Общая теория относительности, учитывающая гравитацию, распространяется на широкий круг явлений и представляет собой самую общую из существующих физическую теорию пространства и времени [1].

Лингвистическим аспектом категории времени, или лингвистическим временем (=темпоральностью), мы называем всю совокупность способов выражения средствами языка сущности физического и философского аспектов рассматриваемой категории.

Мы говорим, что лингвистический аспект подчинен физическому и философскому аспектам в том смысле, что с помощью языка описывается содержание последних.

Одной из задач лингвистики является уточнение и систематизация существующей в ней темпоральной терминологии, в которой нередко наблюдаются непоследовательность, многозначность, даже алогичность [2].

---

[1] М. Б. Вильницкий, Философское содержание и значение пространственно-временных представлений общей теории относительности, в кн.: «Пространство и время в современной физике», Киев, 1968, стр. 163—164; А. Эйнштейн, Собрание научных трудов, I, М., 1965; В. И. Свидерский, Пространство и время, М., 1958.

[2] Ср., например: «прошедшее несовершенное имеет два вида: несовершенный и совершенный» у Б. Т. Руденков его «Грамматике грузинского языка» (М.— Л., 1940, стр. 245).

Устранение существующего положения возможно лишь с помощью анализа связи между лингвистическим, физическим и философским аспектами категории времени.

Пока не существует универсального определения времени, соответствующего современному этапу развития физики (особенно микромира). Наиболее приемлемым для философии диалектического материализма до недавнего времени считалось определение Г. Лейбница. В него внесены существенные коррективы З. Аугустынеком, обеспечившие метризацию и координатизацию понятия времени [3]. В дальнейшем изложении определение З. Аугустынека мы называем моделью I. Это определение позволяет установить глубокую связь между физическим и лингвистическим аспектами рассматриваемой категории.

Лингвистическое время имеет синхронный и диахронный аспекты в соответствии с синхронным и диахронным аспектами рассмотрения языка и объективными физическими категориями одновременности и последовательности событий. Оно включает в себя время грамматическое (морфологическое, синтаксическое), лексическое и контекстуальное.

Морфологическое время — это совокупность способов выражения морфологическими средствами языка сущности физического и философского аспектов рассматриваемой категории. Оно является основной компонентой лингвистического времени. В грамматиках и специальных работах, посвященных этой категории в языке, исследуется в основном глагольное время. Синтаксическое время — это совокупность способов выражения синтаксическими средствами языка сущности физического и философского аспектов рассматриваемой категории [4]. Лексическое время — совокупность способов выражения временных отношений с помощью специальной временной лексики. Контекстуальное время — совокупность способов выражения средствами контекста и стиля сущности физического и философского аспектов рассматриваемой категории. Эти компоненты лингвистического времени также сравнительно недавно стали предметом исследования лингвистов [5].

Под языковыми временными формами мы понимаем разнообразные регулярно действующие в языке способы выражения временных отношений (морфологические, синтаксические, лексические, контекстуальные). Временные глагольные формы (синтетические и аналитические) являются частным случаем определенных таким образом языковых временных форм. Определение временной глагольной формы совпадает с принятым в языкознании пониманием термина «форма» как единства значения (грамматического) и способов его выражения. Наименее разработанным является диахронный аспект лингвистического времени. Здесь много таких вопросов и проблем, которые еще только ставятся. К числу специальных

---

[3] З. Аугустынек, Лейбницево определение времени, ВФ, 1973, 5. Статья содержит определение автора, наряду с критическими замечаниями к определению Г. Лейбница. Объем настоящей работы не позволяет приводить здесь упомянутые определения времени. С основными положениями определения З. Аугустынека (модели I) мы познакомим читателя ниже при описании модели I_1, являющейся частным случаем модели I.

[4] Исследование этой компоненты лингвистического времени началось совсем недавно. В этой связи можно указать лишь монографию Т. П. Ломтева «Предложение и его грамматические категории» (М., 1972). В одном из разделов этой работы автор стремится показать, что категория времени глагола и времени предложения суть разные категории.

[5] См.: А. В. Бондарко, Грамматическая категория и контекст, М.— Л., 1971; сб. «Стиль и контекст», Л., 1972; М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, М., 1971. Представляется перспективным исследование лексической и контекстуальной компонент лингвистического времени с помощью разработанной автором теории лексической аттракции.

понятий этого аспекта относятся понятия абсолютной и относительной хронологии, временной цезуры, отделяющей одно состояние языка от другого, и др.[6].

Вполне понятно, что детальное исследование любой компоненты определенного таким образом лингвистического времени может стать содержанием специальной монографии. В настоящей статье мы ограничимся описанием основных структурных особенностей построенной нами модели лингвистического времени и формулировкой лишь некоторых выводов, следующих из сущности этой модели и способствующих уточнению и систематизации лингвистической темпоральной терминологии.

Считая «событие» и отношение «раньше» (W) исходными (неопределяемыми) понятиями и определяя отношение одновременности (R) тождеством $xRy \equiv x\overline{W}y \wedge y\overline{W}x$ (т. е. принимая, что события x, y одновременны тогда и только тогда, когда x не предшествует y, и y не предшествует x), мы получаем частный случай модели I (модель I_1), которую кладем в основу при построении модели лингвистического времени (модели II), считая ее первой частью этой модели. Временные моменты определяются как множества R-одновременных событий материального мира (S). Символом F обозначаем отношение осуществления события (x) в данный момент (m). Определяется это отношение тождеством: $xFm \equiv x \in m$, т. е. отношение «осуществляется в» тождественно отношению «принадлежит к». Множество классов абстракции отношения R в S, т. е. множество временных моментов, обозначается символом S/R.

Отношение «раньше» (W′) для временных моментов вводится в модель II с помощью тождества: (1) $(x, y)(m, n)\{mW'n \equiv [x \in m \wedge y \in n \wedge xWy]\}$, где m, n — временные моменты; x, y — события; W — исходное (неопределяемое), введенное уже отношение «раньше» между событиями множества S, $\wedge$ — знак логического пересечения (произведения). Читается формула (1) так: момент m предшествует (находится в отношении «раньше» к) моменту n (mW′n) в том и только в том случае, если для любого события x, происходящего в момент m ($x \in m$), и любого события y, происходящего в момент n ($y \in n$), верно соотношение xWy, т. е. событие x происходит раньше события y.

Аналогично, второе отношение «одновременности» (R′) для временных моментов определяется через уже введенное ранее отношение R для событий с помощью тождества: (2) $(x, y)(m, n)\{mR'n \equiv [x \in m \wedge y \in n \wedge xRy]\}$, которое читается: моменты m, n одновременны (mR′n), если одновременны любые два события x, y, одно из которых происходит в момент m, а второе — в момент n, т. е. если верны отношения $x \in m$, $y \in n$, то верно и отношение xRy.

Определения физического времени, временнóго интервала, координатизации и метризации времени в модели I_1 сохраняются те же, что и в модели I[7]. Приведем лишь некоторые следствия, вытекающие из свойств физического времени, определенного моделью I_1, лежащей в основе модели II: 1) временной интервал — это множество всех моментов, существующих между двумя разными моментами. Для произвольного момента (m) и интервала (i) имеем $m \in s/R$ и $i \in S/R$; 2) два момента одновременны тогда и только тогда, когда они идентичны; 3) временное расстояние между двумя событиями — это расстояние между двумя моментами, в которых совершаются эти события.

---

[6] См.: Э. А. Макаев, О некоторых проблемах диахронической лингвистики, в кн.: «Philologica», Л., 1973; М. М. Маковский, указ. соч., стр. 120—122.

[7] См.: З. Аугустынек, указ. соч.

Модель II во второй части, определяющей ее как лингвистический феномен, является сложной системой, состоящей из абсолютной и относительных систем отсчета лингвистического времени. Связующим звеном между физической и лингвистической частями модели II является «момент речи», определяемый как множество событий, R-одновременных с актом коммуникации, абсолютным или относительным. Абсолютный момент отсчета обозначаем символом $МО_{абс}$.

Сферой абсолютного прошедшего или планом прошлого (П) называется временной интервал, бесконечный слева от момента отсчета $МО_{абс}$ и ограниченный им справа. Сферой абсолютного будущего или планом будущего (Б) называется интервал, бесконечный справа от $МО_{абс}$ и ограченный слева этим моментом. Сферой абсолютного настоящего (Н) называется любой временнóй интервал, содержащий в себе $МО_{абс}$.

Пусть m, n, l — целые числа, большие или равные нулю, обозначающие в модели II количество относительных точек отсчета лингвистического времени, соответственно в сферах прошлого, настоящего, будущего абсолютной системы. Возможное соотношение между этими числами задано дизъюнкцией $(l = m = n) \vee (l \neq m \neq n) \vee (l = m) \wedge (l \neq n) \vee (l = n) \wedge (l \neq m)$. Введем следующие обозначения структурных элементов модели II:

$\{МО^{п}_{m}\}$ — последовательность из m относительных точек (моментов) отсчета в сфере П;

$\{МО^{н}_{n}\}$ — последовательность из n относительных точек отсчета в сфере Н;

$\{МО^{б}_{l}\}$ — последовательность из l относительных точек отсчета в сфере Б;

$\{П^{п}_{m}\}$ — последовательность из m сфер относительного прошлого в сфере П;

$\{Н^{п}_{m}\}$ — последовательность из m сфер относительного настоящего в сфере П;

$\{Б^{п}_{m}\}$ — последовательность из m сфер относительного будущего в сфере П;

$\{П^{н}_{n}\}$ — последовательность из n сфер относительного прошлого в сфере Н;

$\{Н^{н}_{n}\}$ — последовательность из n сфер относительного настоящего в сфере Н;

$\{Б^{н}_{n}\}$ — последовательность из n сфер относительного будущего в сфере Н;

$\{П^{б}_{l}\}$ — последовательность из l сфер относительного прошлого в сфере Б;

$\{Н^{б}_{l}\}$ — последовательность из l сфер относительного настоящего в сфере Б;

$\{Б^{б}_{l}\}$ — последовательность из l сфер относительного будущего в сфере Б.

Условимся изображать любую лингвистическую систему отсчета в модели II в виде четырехчленного отношения, членами которого являются последовательно символ точки (момента) отсчета и символы сфер прошедшего, настоящего и будущего рассматриваемой системы. Тогда системы отсчета в модели II получат такое обозначение:

$(МО_{абс}, П, Н, Б)$ — абсолютная система; $(МО^{п}_{m}, П^{п}_{m}, Н^{п}_{m}, Б^{п}_{m})$ — относительная система сферы П; $\{(МО^{п}_{m}, П^{п}_{m}, Н^{п}_{m}, Б^{п}_{m})_{k}\}$ — последовательность из k таких систем $(m \geqslant k > 1)$; $(МО^{н}_{n}, П^{н}_{n}, Н^{н}_{n}, Б^{н}_{n})$ — относительная си-

стема сферы Н; $\{(МО^н_n, П^н_n, Н^н_n, Б^н_n)_s\}$ — последовательность из s таких систем ($n \geqslant s > 1$); $(МО^б_l, П^б_l, Н^б_l, Б^б_l)$ — относительная система сферы Б; $\{(МО^б_l, П^б_l, Н^б_l, Б^б_l)_q\}$ — последовательность из q таких систем ($l \geqslant q > 1$).

Временные сферы относительных систем отсчета, принадлежащие к одной и той же сфере абсолютной системы, либо не пересекаются, обозначая серию последовательных событий в этой сфере, либо пересекаются, обозначая одновременные события. Этот вывод следует из нашего определения R-одновременности событий в модели II, схема которой (в самом общем виде) дана ниже (см. рис. 1).

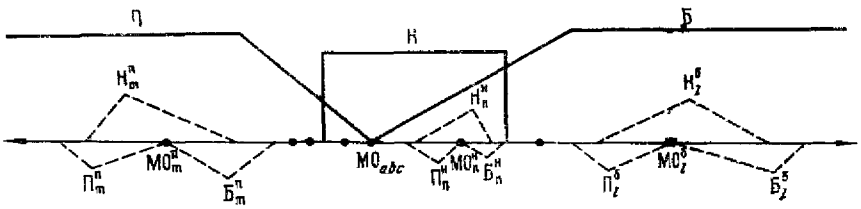


Рис. 1

На схеме сплошными и пунктирными линиями обозначены соответственно сферы абсолютных и относительных времен. При этом надо иметь в виду, что сферы относительных времен могут пересекаться не только с содержащей их сферой абсолютной системы лингвистического времени, но и с другими сферами этой системы.

Сферы абсолютной системы лингвистического времени на рис. 1 обозначены символами П, Н, Б; $МО_{абс}$ — точка отсчета этой системы; $МО^п_m$ — одна из m относительных точек отсчета лингвистического времени в сфере П модели II; $МО^н_n$ — одна из n относительных точек отсчета лингвистического времени в сфере Н; $МО^б_l$ — одна из l относительных точек отсчета лингвистического времени в сфере Б; $П^п_m$ — одна из m сфер относительного прошлого в сфере П; $Н^п_m$ — одна из m сфер относительного настоящего в сфере П; $Б^п_m$ — одна из m сфер относительного будущего в сфере П; $П^н_n$ — одна из n сфер относительного прошлого в сфере Н; $Н^н_n$ — одна из n сфер относительного настоящего в сфере Н; $Б^н_n$ — одна, из n сфер относительного будущего в сфере Н; $П^б_l$ — одна из l сфер относительного прошлого в сфере Б; $Н^б_l$ — одна из l сфер относительного настоящего в сфере Б; $Б^б_l$ — одна из l сфер относительного будущего в сфере Б.

Очевидно, модель II допускает наличие любого конечного числа относительных времен в сферах П, Н, Б абсолютной системы. Так как она предполагает всевозможные способы выражения в языке сущности физического и философского аспектов категории времени, ее условно можно назвать максимальной моделью лингвистического времени. Условно — потому, что беспределен рост знаний человека о свойствах и законах объективного времени, беспредельно совершенствование отражения этих знаний в структуре временно́й системы языка [8].

Система временны́х глагольных форм обеспечивает лишь частичную реализацию модели II. В этой связи заметим, что «максимальная модель славянских глагольных времен (без причастий и деепричастий)»,

[8] Чтобы не усложнять схему модели II, мы не отразили в ней диахронический аспект темпоральности, так как он не является здесь предметом нашего исследования.

описанная И. К. Буниной [9], также является подсистемой модели II, ее частным случаем при m = n = l = 1. Модель видо-временных отношений Е. Куриловича является еще менее полной, так как не охватывает сферы будущего времени [10].

Рассмотрение модели лингвистического времени (II) позволяет сделать следующие выводы: 1) можно лишь условно говорить о максимальной модели лингвистического времени, тем более о максимальной модели глагольных времен; 2) спорный в языкознании вопрос о целесообразности или нецелесообразности выделения «момента речи» как структурной единицы системы отсчета лингвистического (или у́же — грамматического) времени снимается построением модели II, разрешаясь положительно; 3) вопрос соотношения лингвистического и физического аспектов категории времени приобретает особую значимость, так как физический аспект является исходной базой модели II; 4) в качестве относительной точки отсчета может выступать временно́й момент любого события, ставшего предметом сообщения, и, следовательно, уже определенным образом соотнесенного с абсолютной системой отсчета. Если это событие не названо в речи, время его совершения относительно абсолютного *МО* ($МО_{абс}$) должно быть очевидным из контекста или ситуации высказывания; 5) изучение лингвистического времени (=темпоральности) — это изучение всех средств языка (морфологических, синтаксических, лексических, стилистических, экспрессивных), используемых языком для раскрытия сущности реального физического времени. Изучение глагольного времени ограничивается изучением временных глагольных форм (синтетических и аналитических) как основного ядра лингвистического времени; 6) модель II позволяет определить максимальный набор основных форм временно́й системы, который реализуется по-разному в различных языках. Представляется целесообразным следующее наименование этих форм: прошедшее (П), настоящее (Н), будущее (Б), близкое прошедшее (БП), давнопрошедшее (ДП), предпрошедшее (ПРП), послепрошедшее (ПСП), прошедшее одновременное (ПО), близкое настоящее (БН), давнонастоящее (ДН), преднастоящее (ПРН), посленастоящее (ПСН), настоящее одновременное (НО), близкое будущее (ББ), далекое будущее (ДБ), предбудущее (ПРБ), послебудущее (ПСБ), будущее одновременное (БО).

В терминах модели II, например, «прошедшее» определяется как языковая форма, обозначающая событие момента, предшествующего (т. е. находящегося в отношении W′ к) точке отсчета («моменту речи»); «настоящее» — как форма, обозначающая событие момента R′-одновременного с «моментом речи»; «будущее» — как форма, обозначающая событие момента, которому предшествует «момент речи» и т. п. В языках, не имеющих глагольных временны́х форм, это — формы лексические и контекстуальные.

Запись структуры семантических полей выделенных нами глагольных временных форм (которые могут быть синтетическими или аналитическими) с помощью ранее предложенного функционально-логического метода [11] подтверждает правомерность рассмотрения этих форм как основных форм морфологической компоненты лингвистического времени.

Расположение абсолютных времен в модели II представлено на рис. 2.

---

[9] И. К. Бунина, История глагольных времен в болгарском языке, М., 1970, стр. 34.

[10] Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962.

[11] С помощью упомянутого метода описана структура семантических полей падежей, предложных и послеложных конструкций в монографии: Т. И. Дешериева, Структура семантических полей чеченских и русских падежей, М., 1974.

Аналогичное расположение имеют относительные временные формы в относительных системах отсчета модели II.

Так как семантическая сфера глагольных времен пересекается со сферами вида, способа действия, залога, модальности, в сложные термины этих времен могут входить элементы, указывающие соответственно на вид, способ действия, залог, модальность. Однако эти элементы не должны подменять основные структурные компоненты термина, выражающие его главное темпоральное значение; они имеют право на существование лишь в случае грамматической маркировки вносимого ими дополнительного значения. Например, глагольную форму прошедшего времени, имеющую специальную маркировку совершенного вида, можно называть «про-

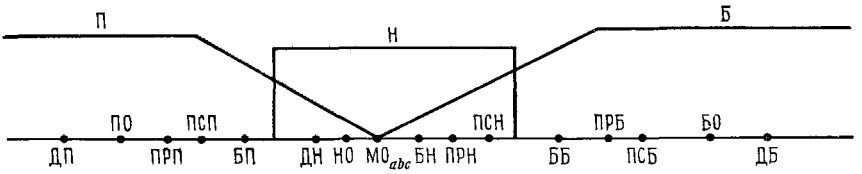


Рис. 2

шедшим совершенным», а двувидовую форму, принимающую значение как совершенного, так и несовершенного вида, в зависимости от контекста, неправомерно называть в грамматических описаниях «прошедшим совершенным» или «прошедшим несовершенным».

Причастные, деепричастные, так называемые «придаточные» временные формы глагола рассматриваются нами как глагольные времена, получающие вполне определенное место в модели II. Глагольные формы, получившие в лингвистической литературе наименование «настоящее историческое», «совершенное настоящее-будущее», «совершенное будущее-прошедшее», должны рассматриваться как понятия не морфологической (как это принято до сих пор), а контекстуальной компоненты лингвистического времени. Термины глагольных времен с дополнительным (маркированным) значением вида, способа действия, модальности, числа объекта или субъекта действия и т. п. служат звеньями, соединяющими временную систему языка с лексикой, и к числу чисто временных глагольных форм не относятся. Таковы «прошедшее совершенное», «прошедшее многократное», «прошедшее очевидное», и т. п. Максимальную близость к временной системе языка имеют глагольные формы с дополнительными видовыми значениями, так как видовое значение непременно связано с тем или иным временным планом. Однако место в модели II глагольных форм с указанными выше дополнительными значениями определяется темпоральными компонентами их семантики.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

В. В. ИВАНОВ

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС [1]

С 1965 г. Институт русского языка АН СССР регулярно издает сборники материалов и исследований по Общеславянскому лингвистическому атласу (ОЛА). Работа над этим Атласом, развернувшаяся после IV Международного съезда славистов (1958) и ведущаяся под руководством комиссии ОЛА при Международном комитете славистов, к настоящему времени уже дала ощутимые результаты, о чем свидетельствует публикация 27 карт пробного выпуска ОЛА в предпоследнем («ОЛА, 1971») из вышедших сборников. В работе над ОЛА принимают участие лингвисты Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии, Югославии, а также Австрии и Италии, и этот факт определяет международный характер издаваемых «Материалов и исследований».

За прошедшие девять лет было издано шесть сборников «Материалов и исследований» по ОЛА. Постепенно эти сборники превращаются в ежегодники ОЛА, знакомящие лингвистическую общественность как с ходом работы над одним из крупнейших международных изданий в области славянского языкознания, так и с теми все более и более усложняющимися проблемами, какие встают перед составителями ОЛА. Эти проблемы касаются целого комплекса вопросов, связанных с изучением различных уровней славянских языков, с отбором необходимых явлений, подлежащих установлению и последующему картографированию и комментированию, с принципами такого картографирования и комментирования, а также — что, пожалуй, наиболее важно — с дальнейшей разработкой общей теории лингвистической географии и общей теории ОЛА. Весь этот комплекс вопросов, хотя и с неодинаковой полнотой, отразился в статьях рассматриваемых сборников, причем в целом ряде случаев эти статьи выявляют различные позиции авторов в решении тех или иных вопросов. Дискуссионный характер некоторых статей, опубликованных в сборниках ОЛА, не только не может считаться их недостатком, но, наоборот, повышает их ценность и интерес, ибо свидетельствует как о сложности выполнения такого международного предприятия, каким является ОЛА, так и о стремлении авторов достичь наиболее полного решения определенных, прежде

[1] «Общеславянский лингвистический атлас (Материалы и исследования)», М., 1965; «Материалы и исследования по Общеславянскому лингвистическому атласу», М., 1968; «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1969», М., 1970; «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970», М., 1972; «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971», М., 1974; «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1972». М., 1974 (далее — «ОЛА», 1965; «ОЛА», 1968; «ОЛА, 1969»; «ОЛА, 1970»; «ОЛА, 1971»; «ОЛА, 1972»). Редколлегия «ОЛА», 1965, «ОЛА»,1968, «ОЛА, 1969»: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, В. Г. Орлова, С. К. Пожарицкая; остальных выпусков — Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, Ф. П. Филин, С. К. Пожарицкая.

всего теоретических вопросов. Характер статей, опубликованных в «Материалах и исследованиях», отражает ход развития работы над ОЛА, движение этой работы от начальных этапов ее подготовки, определения задач, принципов, границ ОЛА до современного ее состояния, когда уже подводятся некоторые итоги проведенных исследований и когда на обсуждение выносятся карты пробного выпуска. Конечно, это не означает, что решены все основные и важные вопросы ОЛА — ряд из них продолжает обсуждаться и еще требует размышлений, но в то же время составители ОЛА уже добились определенного единства позиций в разработке главных исходных принципов.

Одним из трудных для решения вопросов оказался вопрос о границах общеславянского атласа. Само собой разумеется, что не вызывала сомнений необходимость включения в ОЛА материала всех славянских языков в пределах их современных государственных образований. Трудность состоит в том, что, во-первых, славянские языки существуют в настоящее время и за пределами славянских стран, за пределами славянского мира; во-вторых, некоторые диалекты определенного славянского языка функционируют не на своей исконной территории, а на территории распространения другого славянского языка (например, болгарские говоры на Украине); наконец, в-третьих, славянские языки оказали значительное влияние на соседствующие с ними неславянские языки, в которых обнаруживаются значительные славянские элементы. В какой степени и как должны войти в ОЛА такие данные? Эти вопросы, по-разному решаемые различными лингвистами, начали дебатироваться уже на IV Международном съезде славистов. В рассматриваемых сборниках они нашли отражение в статьях С. Б. Бернштейна, Й. Хамма и Э. Эйхлера («ОЛА», 1965), П. Кирая, Й. Хамма и Я. Перковски («ОЛА», 1968), Б. Мериджи («ОЛА, 1969») и М. К. Сивицкене («ОЛА, 1970»). В ходе дискуссии, развернувшейся прежде всего между С. Б. Бернштейном, Й. Хаммом и П. Кираем, были выдвинуты различные подходы к решению указанных выше вопросов, а вместе с тем и к некоторым иным проблемам, относящимся уже непосредственно к материалу, подлежащему картографированию: об использовании топонимических образований славянского происхождения на неславянских территориях, о картографировании явлений древних славянских языков, не сохранившихся до нашего времени.

Если оценивать эту дискуссию в целом, то, видимо, следует признать, что говоры славянских переселенцев на неславянские территории, граничащие со славянскими странами, должны быть исследованы и картографированы, ибо материал этих говоров может оказаться ценным для изучения истории славянских языков на исконно славянских территориях, хотя, конечно, такие говоры не могли не подвергнуться иноязычному влиянию. Именно поэтому представляется правильным окончательное решение составителей ОЛА исследовать и картографировать (правда, по иной сетке, чем общая сетка ОЛА) говоры славянских переселенцев в республиках Прибалтики, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, ГДР, Италии, а также в некоторых других граничащих со славянскими государствами странах.

По-видимому, точно так же следует отнестись и к славянским диалектам на территории распространения другого славянского языка. Представляется не бесспорным вывод С. Б. Бернштейна о целесообразности исключения из поля зрения ОЛА болгарских говоров на территории СССР, хотя верно, что современные говоры Болгарии дают достаточные сведения об их особенностях. Представляется, что в принципе ОЛА должен дать объективное отражение состояния современного славянского языкового мира, а это значит, что карты ОЛА должны показать действитель-

ное распространение славянских языков и диалектов в их современном состоянии и в основных их характеризующих чертах и особенностях. Надо признать целесообразным, например, изучение и картографирование говоров славянских переселенцев в Канаде, США и Южной Америке, о чем писал Я. Перковски. Будет ли это дополнением к ОЛА или войдет в основные его выпуски — это вопрос, который еще может обсуждаться, но не подлежит сомнению, что материал говоров миллионов славян в Америке должен стать предметом внимания составителей ОЛА.

С другой стороны, вопросы влияния славянских языков на неславянские, особенно проявляющегося на лексическом уровне, не являются предметом ОЛА, как не являются таким предметом и вопросы влияния неславянских языков на языки славян. Это вопросы языковых контактов и языкового взаимодействия, но не развития и существования самих славянских языков. Поэтому лексические заимствования из славянских языков в соседние неславянские, скажем, в румынский или венгерский, не должны быть предметом картографирования в ОЛА. И здесь окончательное решение составителей ОЛА представляется правильным: неславянский материал исключен из Общеславянского атласа.

Таков первый круг вопросов, подвергшихся обсуждению на страницах рассматриваемых сборников; как представляется, эта проблема получила полное разрешение и не требует дальнейшего обсуждения.

Вторую группу статей «Материалов и исследований» составляют общетеоретические исследования. Проблемам общей теории лингвистической географии посвящена статья П. Ивича «Опыт структурной классификации диалектных различий в славянской языковой области» («ОЛА», 1965), представляющая собой удачную попытку применения методов структурной диалектологии к материалу славянских языков с целью установления типов диалектных различий на разных уровнях языковой структуры. Автор анализирует инвентарь языковых единиц, правила их дистрибуции и так называемое случайное распределение единиц, выходящее за рамки правил дистрибуции. В статье рассматриваются звуковые, морфологические и лексические различия, характерные для разных славянских языков, устанавливаются типы этих различий. Конечно, П. Ивич не мог в небольшой по объему статье представить исчерпывающую характеристику типов структурных диалектных различий в славянских языках, но использование большого количества фактов, четкая и ясная их классификация, теоретическая продуманность выдвигаемых принципов изучения материала — все это определяет несомненный интерес работы П. Ивича для славянского языкознания вообще и для славянской лингвистической географии в частности.

Развивая идеи о характере диалектного языка, Р. И. Аванесов в статье «О двух аспектах предмета диалектологии» («ОЛА», 1965) говорит о принципиальной двусторонности диалектного языка — о наличии в нем собственно структурного и территориального аспектов. Характер их взаимозависимости различен: структурный аспект может быть охарактеризован вне территориальной проекции диалектных отличий, тогда как территориальный аспект предполагает обязательность его связи со структурным. В статье обобщаются результаты наблюдений над иерархией диалектных фактов и устанавливаются различные типы отношений между соответственными диалектными явлениями, а также определяется различие между конститутивными, нейтральными и сопутствующими диалектными чертами. Статья Р. И. Аванесова является итогом размышлений автора над проблемами теории лингвистической географии и развивает те ее общие положения, которые были сформулированы автором в книге «Вопросы теории лингвистической географии» (М., 1962).

З. Тополинская в статье «Диалектологические исследования для атласа в многоязычной среде» («ОЛА», 1965), останавливаясь на проблеме сопоставимости однородного и разнородного диалектного материала, специально обращает внимание на характер исследования диалектных фактов на территориях, где наряду с собственной диалектной микросистемой широко используется или система литературного языка, или «чужой» язык. В результате этого языковая ситуация оказывается одной в случае взаимодействия однородных микросистем и совершенно иной при наличии «симбиоза разных языковых организмов». В этом последнем случае, как справедливо отмечает З. Тополинская, диалектолог должен хорошо знать как данную диалектную микросистему, так и микросистему «чужого» языка с тем, чтобы не упустить из виду тех явлений в диалектной микросистеме, которые вызваны влиянием «чужой» микросистемы. В качестве метода исследования таких диалектных микросистем, носители которых знают и пользуются «чужим» языком, З. Тополинская полагает возможным использовать метод перевода.

В «ОЛА, 1971» теоретический характер носит небольшая статья В. Дорошевского «О типах лексической дифференциации диалектов», в которой автор на основе анализа лексики польских диалектов Вармии и Мазур намечает типы лексических соотношений между диалектами. В. Дорошевский выделяет семь типов лексической дифференциации.

Теоретические проблемы лингвистической географии рассматриваются в статье Т. В. Назаровой «О картографировании комплексных лингвистических единиц» («ОЛА, 1971»), где на широком историческом фоне развития лингвистической географии ставятся вопросы современного картографирования лексико-семантических диалектных явлений и на двух приложенных к статье картах демонстрируются принципы этого картографирования.

Наконец, к этой же группе исследований относятся статьи Л. Э. Калнынь «О некоторых приемах моделирования частной диалектной системы» и С. В. Бромлей «Морфонология и грамматика» («ОЛА, 1972»). В первой из них на материале одного украинского говора поставлены проблемы такого описания языковой диалектной системы, которое опирается на представление о целостности этой системы во всех составляющих ее звеньях. Особое значение эта статья приобретает потому, что в ней очень убедительно, на добротном фактическом материале раскрыто важное теоретическое положение о необходимости при описании зуковой системы различать возможные ~ невозможные фонетические звукосочетания, а внутри возможных — реализованные ~ нереализованные. Такое различение дает возможность исследователю моделировать звуковую диалектную систему с наибольшей полнотой, причем независимо от количества имеющихся в его распоряжении текстов. В статье раскрыты приемы и методы такого моделирования. В работе С. В. Бромлей рассматривается сложный вопрос о статусе морфонологии. Автор предлагает интересное, хотя и не во всем бесспорное решение проблемы отношения морфонологии к фонологии и морфологии.

Общим проблемам лингвистической географии, но применительно к отдельным славянским языкам и диалектам посвящен ряд статей, связанных с вопросами классификации и группировки диалектных единиц. Сюда относятся статьи Г. П. Клепиковой, Т. В. Поповой и В. В. Усачевой «Группировка юго-западных украинских говоров (по материалам „Карпатского диалектологического атласа“)», Э. Эйхлера «К древнелужицкой лингвистической географии» («ОЛА», 1968), Ф. Т. Жилко «Ареальные единицы украинского языка» («ОЛА, 1970») и Т. Логара «Словенские диалекты» («ОЛА, 1971»). Небольшая статья Э. Эйхлера очень интересна своим материалом — данными древнелужицкой топономасти-

ки, содержащими рефлексы праславянских сочетаний *tort*, *tolt*, *olt* не в тех их обычных результатах, какие свойственны западнославянским языкам, а в результатах, характерных для южных славян. Развитие этих праславянских сочетаний у древних лужичан было, как видно, непоследовательным, и это обстоятельство требует определенных размышлений. В статье Т. Логара подробно, хотя и очень лаконично, излагается характеристика современных словенских диалектов в их фонетике и морфологии; автор дает и исторический комментарий.

Что касается названных выше двух статей, ставящих вопросы диалектного членения украинского языка, то первая из них представляет детальное описание группировки юго-западных украинских говоров по данным «Карпатского диалектологического атласа», а вторая по существу посвящена вопросам иерархии отдельных диалектных единиц. Первая статья также предваряется рассуждениями об этой иерархии. Расхождения в определении того, что такое говор, диалект, диалектное объединение и т. д., обнаруживающиеся в указанных статьях, сводятся во многом к терминологии, хотя в то же время под разными терминами не всегда скрываются одни и те же диалектные единицы. Конечно, четкое установление иерархии диалектных единиц на основе определенных структурно-языковых явлений и выработка единой терминологии — это важная задача, но на данном этапе развития диалектологии добиться решения этой задачи трудно. Может быть, работа над ОЛА будет этому способствовать.

Как известно, сбор материалов для ОЛА осуществляется диалектологами по специальному «Вопроснику», включающему в себя 3454 вопроса, ответы на которые должны быть получены при обследовании около 900 пунктов в 10 странах. И составление такого «Вопросника», и работа с ним являются трудоемким и сложным делом. Поэтому обсуждение характера вопросов, по которым работают диалектологи ОЛА, разъяснение принципов и методики сбора материалов по «Вопроснику», освещение результатов работы по нему и т. д.— все это заняло много места на страницах рассматриваемых сборников. Такое внимание к «Вопроснику» совершенно закономерно, ибо от правильности его построения, от формулировки вопросов, от полноты необходимых сведений, которые могут представить ответы на вопросы, целиком зависят общие результаты работы над ОЛА, зависит тот научный итог, какой будет получен в результате создания Общеславянского лингвистического атласа.

Статьи сборников ОЛА, связанные с проблемами «Вопросника», очень различны и по объему, и по материалу, и по общему характеру, и по своим целям. В первом сборнике («ОЛА», 1965) были напечатаны статьи В. Ф. Конновой о работе с «Вопросником» и С. К. Пожарицкой о фонетической транскрипции для ОЛА. В последующих же «Материалах и исследованиях» начали публиковаться работы, освещающие результаты пробных обследований по «Вопроснику», предварительные ее итоги. К этим последним относятся статьи чешских, словацких, венгерских и польских лингвистов: С. Утешены в «ОЛА», 1965, П. Кирая и С. Утешены в «ОЛА», 1968, Й. Штольца, А. Габовштяка, А. Вашека и С. Утешены в «ОЛА, 1970», Н. Ивановой-Перчинской и Я. Сулковской в «ОЛА, 1971». В этих статьях признается достаточная пригодность «Вопросника» для работы над созданием ОЛА и вместе с тем высказываются некоторые замечания по «Вопроснику», которые возникли у авторов в ходе пробных обследований, и указываются характерные недостатки в ответах. Это и не удивительно, ибо составители ОЛА столкнулись с целым рядом новых вопросов, не всегда поддающихся легкому и простому решению.

К таким вопросам прежде всего относятся проблемы семантического развития общеславянских слов в славянских языках. Проблемы семанти-

ки, мало разрабатывавшиеся диалектологами при работе над атласами отдельных славянских языков, встали перед составителями ОЛА во всей их сложности и во всей их важности. В ОЛА должен быть ответ не только на вопросы о том, как изменилось фонетико-морфологическое строение общеславянских слов в различных славянских языках, какова судьба этих слов с точки зрения их сохранности или утраты и с точки зрения их распространенности по славянским языкам, но и на вопрос о характере семантической эволюции таких слов, о их семантике в современных славянских языках и диалектах.

Проблемам семантики в ОЛА отведено большое место в рассматриваемых сборниках. В «ОЛА», 1965 это статья Г. П. Клепиковой и В. В. Усачевой о лингвогеографических аспектах семантики слова *žito* в славянских языках, в которой прослежено территориальное распространение различных значений данного слова у славян. В «ОЛА», 1968 это статья С. Урбанчика, в которой рассматриваются общие принципы отбора слов для семантического анализа в ОЛА, и В. Ф. Конновой о лексико-семантической группе слов со значением «имущество», «скот», «хлеб», где проведен анализ этой группы слов во всех славянских языках (эта же тема разрабатывается автором и в «ОЛА, 1972»). В «ОЛА, 1969» это статьи Ю. П. Чумаковой о терминах, связанных с домашней обработкой волокна у славян, и О. Н. Мораховской о принципах картографирования семантических отношений (а также — несколько в более узком плане — статья А. И. Попова о семантических особенностях слова *беседа* в русских говорах). В «ОЛА, 1970» это статьи В. Помяновской о названиях диких животных в южнославянских говорах, Г. Н. Лукинойо слове **pьrstenь* в славянских языках и Ю. П. Чумаковой о семантическом варьировании слова **krosna/krosno* у славян. В «ОЛА, 1972» это статья Г. К. Венедиктова о семантике болгарского слова *мъка*.

Уже само это перечисление свидетельствует о разнообразии проблематики и о широте охвата фактического материала, подвергаемого анализу. В настоящем обзоре нет возможности, да и необходимости, в подробном рассмотрении каждой из указанных статей, хотя, без сомнения, в них можно обнаружить определенные недоработки и неточности; важнее подчеркнуть, что составители ОЛА избрали правильный путь, не отказавшись от серьезных вопросов семантики, а опубликованные в сборниках статьи по этой проблематике свидетельствуют о несомненных успехах в изучении этого уровня структуры славянских языков.

Вместе с тем работа над вопросами семантики в ОЛА обнаружила отчетливые недостатки в «Вопроснике» и сложности в картографировании лексико-семантических различий. О недостатках семантической части «Вопросника», особенно в связи с формулировкой вопросов, говорится в статье Й. Вуковича «ОЛА: его современное состояние и возможности дальнейшего расширения сотрудничества диалектологов» («ОЛА, 1971»), а о сложностях в картографировании семантических явлений — в статье В. Ф. Конновой «Некоторые замечания об ответах на вопросы семантической части «Вопросника» ОЛА и возможностях картографирования лексико-семантических различий в Общеславянском атласе» («ОЛА, 1971»). Следует надеяться, что дальнейшая работа над ОЛА даст возможность устранить имеющиеся недостатки «Вопросника» и усовершенствовать его.

В статьях рассматриваемых сборников в связи с задачами ОЛА исследуются, хотя и в меньшей мере, и другие уровни языковой структуры славян. В «ОЛА», 1968 в статье Е. Кржижковой ставятся проблемы изучения глагольного вида в ОЛА, а в статье С. К. Пожарицкой разрабатываются принципы описания фонологической системы говоров на материалах ОЛА; в этом же сборнике помещена статья Р. Лётча о морфологической

дифференциации лужицких диалектов. В «ОЛА, 1969» З. Тополинская предлагает проект фонологического описания одного говора для ОЛА. В этих статьях можно обнаружить ряд важных общих положений, а вместе с тем и конкретный анализ определенного фактического материала. Этот анализ, без сомнения, может оказать существенную помощь в дальнейшей работе над ОЛА, хотя, вероятно, не все в нем окажется приемлемым для составителей Атласа.

Особняком в сборниках стоит статья Я. Белича «К возможностям использования средств механизации для обработки материалов ОЛА» («ОЛА, 1971»), в которой дается информация об опыте составления диалектологических карт в вычислительном центре университета в Марбурге (ФРГ) и высказываются конкретные предложения (безусловно, заслуживающие внимания) об организации работы с использованием вычислительных машин для обработки материалов ОЛА.

Все названные статьи «Материалов и исследований» непосредственно связаны с работой над ОЛА, в них ставятся те или иные, относительно простые и более сложные вопросы сбора, классификации, анализа, картографирования и комментирования материала для создания Общеславянского лингвистического атласа. Однако успешная работа над ОЛА немыслима без дальнейшего развития изучения общих и частных проблем славянского языкознания, дальнейшего развития изучения структуры славянских языков. Это значит, что для успешного завершения ОЛА необходимо разрабатывать самые разные области славистики, накапливать новые материалы, совершенствовать методы исследования.

Именно поэтому органической частью сборников «Материалов и исследований» по ОЛА являются самые разнообразные статьи, которые кажутся непосредственно не связанными с работой над ОЛА, но которые в то же время представляют собой исследования в области славянского языкознания, дающие новые материалы, демонстрирующие новые методы исследования и показывающие в целом успехи современной славистики. Эти статьи (конечно, не все в одинаковой степени) важны для развития славянского языкознания и в то же время полезны для дальнейшей работы над ОЛА.

Такого рода статьи занимают заметное место в рассматриваемых сборниках, причем их удельный вес в целом от года к году возрастает. Авторы этих статей обращаются к вопросам изучения всех сторон языковой структуры, оперируя материалом различных славянских языков. Пожалуй, больше всего внимания в статьях уделено вопросам фонетики и фонологии; здесь есть и обобщающие работы, и конкретные описания фонетико-фонологических явлений в славянских языках. К первым следует отнести прежде всего статью Р. И. Аванесова «Русский вокализм 1-го предударного слога» в «ОЛА, 1970», в которой представлены обобщенные наблюдения над типами русских вокалических систем первого предударного слога после твердых и мягких согласных с учетом как новых материалов «Диалектологического атласа русского языка», так и достижений русской диалектной фонетики и фонологии в моделировании вокалических систем.

Сюда же относятся две статьи Н. Т. Войтович под общим названием «К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках» («ОЛА, 1970» и «ОЛА, 1971»). Пользуясь данными белорусского Диалектологического атласа, а также данными о некоторых говорах Черниговской области, имеющих своеобразный предударный вокализм, сходный с редкими говорами юга Белоруссии, автор пытается решить проблему возникновения аканья у восточных славян. Н. Т. Войтович склонна вернуться к гипотезе А. А. Шахматова и подтвердить ее данными современных говоров, находящихся на путях перехода от оканья к аканью. Считая переход от оканья к аканью в современных говорах спонтанным процессом, она связывает

этот переход с количественными отношениями ударных и безударных гласных, обнаруживающимися в таких говорах, и полагает, что подобные же процессы были характерны для восточных славян и в эпоху возникновения аканья. Различия же между диссимилятивным и недиссимилятивным аканьем автор связывает со сменой ударения в древнерусском языке. Н. Т. Войтович оперирует достаточно большим и очень ценным материалом. Она сумела дать интересную его интерпретацию, протянув нити от современных процессов в прошлые эпохи истории языка восточных славян. Однако это еще не решение вопроса о происхождении аканья; остается недоказанным единство современных процессов перехода от оканья к аканью и процессов эпохи возникновения аканья.

К исследованиям фонетики и фонологии конкретного характера относятся статьи Т. В. Поповой о системах твердых — мягких согласных фонем в болгарских диалектах и Л. Э. Калнынь о вокализме одного наддністрянского говора («ОЛА», 1968), статьи Т. В. Назаровой о фонологии в говоре контактной зоны и Ф. Т. Жилко о нейтрализации противопоставлений в области согласных украинского языка («ОЛА, 1969»), статьи той же Т. В. Назаровой о волынско-полесском вокализме, Л. Э. Калнынь об анлауте в надсянском говоре, Г. Невекловского о дифтонгах в хорватских и словенских говорах в Австрии («ОЛА, 1970»), статьи П. Ивича и Р. Александера о рефонологизации количества гласного в качество в одном сербском говоре, А. С. Белой о квантитативно-просодических различиях в черниговских говорах, Е. В. Ухмылиной о сохранении противопоставления глухих — звонких на конце слова и слога в русских говорах Горьковской области («ОЛА, 1971»). Все эти статьи содержат большой, новый и ценный фактический материал, полезный как для диалектологов, занимающихся изучением говоров различных славянских языков, так и для составителей ОЛА.

Вторая большая группа статей рассматриваемого характера — это лексикологические исследования. Здесь можно указать на работы, посвященные определенным группам специальной лексики (например, статьи А. Габовштяка о пастушеской терминологии у славян, И. А. Дзендзелевского об овцеводческой лексике в закарпатских говорах в «ОЛА», 1965; Я. В. Закревской о народных названиях растений в «ОЛА, 1969»; Л. В. Вялкиной о названиях месяцев у славян в «ОЛА, 1970»; Ю. С. Азарх о русских диалектных глаголах, обозначающих крики животных, Г. П. Клепиковой о терминологии горного пастушества, Г. И. Белозерцева о диалектных словах с префиксами *вы-* и *из-* в «ОЛА, 1972» и др.), а также некоторым общим вопросам диалектной лексикологии (см. статью В. Е. Гольдина о соотношении различий системного и несистемного характера в диалектной лексике в «ОЛА, 1969»). Особо в этом плане следует сказать о статье Н. И. Толстого о географии славянских слов *правый — левый*, *хорохориться* и *класть* («ОЛА», 1965), содержащей чрезвычайно интересный фактический материал различных славянских языков и любопытные этимологические разыскания и построенной на определенной методике лингвистического анализа. В этом последнем отношении важной представляется работа Г. П. Клепиковой «Из опыта картографирования славянской лексики (в связи с проблемой семантического микрополя)» в «ОЛА», 1968, построенная и выполненная на основе методики анализа славянской лексики, предложенной Н. И. Толстым. Описание семантического микрополя с опорной лексемой *різати* убедительно демонстрирует преимущества такого описания по сравнению с традиционным методом картографирования лексики.

Намного меньше в рассматриваемых сборниках статей по вопросам изучения других уровней структуры славянских языков. Только статья

И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко об употреблении *есть* в русских говорах («ОЛА», 1968) и статья А. Б. Пеньковского о генезисе безличных предложений («ОЛА, 1969») связаны с изучением синтаксических явлений в славянских языках; только одна статья Я. В. Закревской («ОЛА, 1971»)— со словообразованием; только одна статья Л. И. Ройзензона («ОЛА, 1970»)— с изучением диалектной фразеологии, причем эта статья выпадает из общего типа публикуемых в сборниках статей: в ней ставится важный вопрос отграничения диалектной фразеологии от общенародной (хотя, как представляется, решается он не во всем бесспорно), но не найден выход в проблемы славянской фразеологии, что было бы очень важно для славистики.

Морфологическим проблемам посвящены статьи Я. Петра о слове *rad* в польских диалектах («ОЛА», 1968), Г. К. Венедиктова о морфологии глагола в болгарских говорах («ОЛА, 1970»), М. А. Михайлова о количественной форме существительных («ОЛА, 1971») и интересная работа С. В. Бромлей о стяжении в русских говорах и его морфологических следствиях («ОЛА, 1970»), в которой убедительно пересматриваются некоторые из общепринятых в русской диалектологии положений. В дальнейшем в «Материалах и исследованиях» по ОЛА вопросы изучения морфологии, синтаксиса и словообразования славянских языков и диалектов должны получить более широкое освещение.

В «ОЛА, 1972» опубликованы две очень интересные по богатому материалу и важным наблюдениям статьи В. А. Дыбо, связанные с проблемами праславянской акцентологии, и группа статей по славянской этимологии (авторы В. А. Меркулова, И. П. Петлева, Л. В. Куркина, Ж. Ж. Варбот), в которых представлены результаты новых этимологических разысканий.

Несколько особняком в «Материалах и исследованиях» стоит статья Л. В. Вялкиной, В. Ф. Конновой и Г. Н. Лукиной о названиях руки и ее частей в славянских языках («ОЛА, 1969») и две статьи В. Б. Силиной («ОЛА, 1970») о глаголах на *-ова-* в русском языке и их сопоставлении в русском, украинском и польском языках. Эти статьи во многом построены на материале памятников древнерусской письменности, точнее — картотеки «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.».

Пробный выпуск ОЛА («ОЛА, 1971») содержит 27 карт, половина из которых отражает явления фонетики, просодии и грамматики, а половина — явления лексики, словообразования и семантики. Карты пробного выпуска даны по состоянию работы над ОЛА на 1 мая 1971 г., и, конечно, к настоящему времени составление карт должно было продвинуться далеко вперед. Однако, как представляется, авторы правильно воздержались от дальнейшей публикации карт в последнем сборнике, ибо целесообразно подвергнуть первую публикацию подробному обсуждению. Можно думать, что в последующих сборниках ОЛА появятся материалы такого обсуждения. В «ОЛА, 1971» публикации карт предшествуют «Правила морфонологической транскрипции для ОЛА», проект которых был в свое время предложен З. Тополинской; после обсуждений и переработки он представлен транскрипционной группой комиссии ОЛА. В этом же сборнике опубликована вся библиография работ по ОЛА начиная с 1957 г.

Итак, сборники материалов и исследований по ОЛА уже завоевали прочное положение как печатный орган комиссии ОЛА при МКС, широко освещающий ход работы над ОЛА и публикующий важные исследования по проблемам славистики. Следует надеяться, что последующие сборники материалов и исследований как ежегодники ОЛА будут играть все бо́льшую роль в развитии славянского языкознания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

В. Д. АРАКИН

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКЕАНИЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Многочисленные острова, островные группы и архипелаги, разбросанные в юго-западной части Тихого океана, иногда именуемой Южным морем, населены народами, которые говорят на родственных языках, относящихся преимущественно к австронезийской языковой семье. Лишь небольшая часть океанийских языков — на Новой Гвинее и на прилежащих к ней островах — входит в особую группу языков, условно объединяемую под именем папуасской.

Наиболее ранние отрывочные сведения о языках Океании проникли в Европу в XVI в., что было связано с развитием мореплавания и с открытием неизвестных до того времени островов Тихого океана. Во второй половине XVIII и в начале XIX в. сведения об океанийских народах и их языках пополняются интересными описаниями больших морских путешествий западноевропейских и русских мореплавателей — голландца Я. Роггевена, француза Л. А. Бугенвиля, англичанина Дж. Кука, русских мореходов И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллингсгаузена, М. П. Лазарева и Ф. П. Литке.

Мнение о генетическом родстве полинезийских и малайских языков было впервые высказано немецким натуралистом и поэтом А. фон Шамиссо (1781—1838), принимавшим участие в кругосветном плавании на русском бриге «Рюрик», под командой О. Е. Коцебу в 1815—1818 г. [1]. Наиболее ранние, хотя и краткие, сведения о грамматическом строе некоторых океанийских языков даются в труде испанского филолога Л. Эрва́с-и-Пандуро [2] и в известном многоязычном словаре, изданном Российской академией наук при активном участии акад. П. С. Палласа (1741—1811) [3].

Новым этапом в изучении океанийских языков следует считать опыт сравнительной грамматики четырех языков — маорийского, тонганского, таитянского и гавайского, опубликованный посмертно в трехтомном труде В. фон Гумбольдта (1767—1835) [4]. Развивая мысли А. Шамиссо, В. Гумбольдт высказал мнение о том, что языки народов Мадагаскара, Малайских островов, Филиппинских островов и островов Южного моря принадлежат к одной и той же языковой семье, которую он назвал малайской [5]. Таким образом, уже в первой половине XIX в. был установлен, в основном, состав этой весьма своеобразной в структурном отношении языковой семьи, разбросанной на колоссальном пространстве.

В 1861 г. немецкий ученый Г. фон дер Габеленц (1840—1893) высказал обоснованное мнение о том, что меланезийские языки представляют

---

[1] «Chamisso's Werke», IV. Tl.— Reise um die Welt. 2. Tl.— Bemerkungen und Ansichten, Berlin, s. a., стр. 49—73, 305—319.

[2] L. Hervás-y-Panduro, Catalogo delle lingue conosciute e notizia delle loro affinità e diversità, Cesina, 1784.

[3] «Сравнительные словари всех языков и наречий», I—IV, СПб., 1786—1791.

[4] W. v. Humboldt, Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java..., III, Abschnitt IV — Vergleichende Grammatik der Südsee-Sprachen, Berlin, 1838, стр. 487—1028.

[5] W. v. Humboldt, указ. соч., II, Berlin, 1838, стр. 208—209.

собой особую языковую группу, входящую в состав малайско-полинезийской семьи языков [6].

Генетическое родство полинезийских, меланезийских и индонезийских языков было установлено без определения их исторических связей, и проблема большей или меньшей древности каждой из ветвей обширной семьи малайско-полинезийских, или, как теперь принято называть, австронезийских языков, еще ждала своего решения. В связи с этим возникло несколько точек зрения.

Исходя преимущественно из антропологических и этнографических данных, а также из анализа соответствующих языков, австрийский языковед Фр. Мюллер (1834—1898) пришел к отвергнутому в настоящее время выводу о том, что наиболее древней из трех ветвей является полинезийская ветвь, языки которой обладают наиболее простой фонологической системой и структурой слов и относительно простым грамматическим строем. Меланезийские языки, по его мнению, представляют собой следующую ступень развития, сложившуюся якобы в результате смешения некоторых полинезийских языков с папуасскими, о чем должны были свидетельствовать неполинезийские лексические элементы, обнаруживаемые в меланезийских языках. Третью, высшую ступень развития он усматривал в языках малайской (индонезийской) ветви [7].

Противоположную позицию занимал Р. Х. Кодрингтон [8]. По его мнению, архаический характер меланезийских языков позволяет предположить, что именно эти языки в далеком прошлом послужили основой, из которой впоследствии развились как полинезийские, так и малайские (индонезийские) языки. Эту же точку зрения разделял и австрийский языковед В. Шмидт (1868—1954) [9], обосновывавший свою позицию конкретными материалами из словарного состава и грамматического строя полинезийских и меланезийских языков. Объединяя их с индонезийскими языками в одну обширную языковую семью, именно он назвал ее австронезийской.

Генетические связи полинезийских языков и языка жителей островов Фиджи были установлены голландским языковедом Х. Керном (1833—1917), который полагал, что эти языки восходят к общему предку, существовавшему самостоятельно в течение длительного времени уже после того, как он выделился из состава общеавстронезийского языка-основы [10]. Эта точка зрения была поддержана и впоследствии развита американским лингвистом Дж. У. Грейсом, показавшим на основании анализа конкретного языкового материала, что языки ротума, фиджи и полинезийские до своего разделения прошли общий путь исторического развития, отдельный от других языков австронезийской семьи [11].

Иной взгляд на место полинезийских и меланезийских языков в австронезийской языковой семье был высказан немецким лингвистом Ф. Н. Фин-

---

[6] H. C. v. der Gabelentz, Die melanesischen Sprachen nach ihrem grammatischen Bau und ihrer Verwandschaft unter sich und mit den malaiisch-polynesischen Sprachen, «Abhandlungen d. philol.-hist. Classe d. K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», Leipzig, III, 1861, VII, 1879.

[7] Fr. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft, II, 2, Wien, 1876—1878, стр. 2.

[8] R. H. Codrington, The Melanesian languages, Oxford, 1885.

[9] P. W. Schmidt, Über das Verhältniss der melanesischen Sprachen zu den polynesischen und untereinander, «Sitzungsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien», Phiol.- hist. Kl., CXLI, 6. Abh., 1889, стр. 27—34; его же, Die sprachlichen Verhältnisse Ozeaniens in Bedeutung fur die Ethnologie, «Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», XXIX, 1899.

[10] H. Kern, De Fidji-taal vergeleken met hare verwanten in Indonesië, «Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschapen», XVI, Amsterdam, 1886.

[11] G. W. Grace, The position of the Polynesian languages within the Austronesian (Malayo-Polynesian) language family, Baltimore, 1959, стр. 65.

ком [12], выделившим в составе этой семьи две ветви — индонезийскую и океанийскую. Последняя, по его мнению, в свою очередь делится на меланезийскую (куда отнесены и языки Микронезии) и полинезийскую, якобы лишь сравнительно недавно обособившуюся от меланезийской в отдельную группу.

К аналогичному выводу пришел другой немецкий лингвист О. Демпвольф (ум. в 1938), занимавшийся реконструкцией фонетической системы и словарного состава австронезийского языка-основы [13]. Новообразования, которые он обнаружил в полинезийских и меланезийских языках, позволили ему сделать вывод о том, что языки этих обеих ветвей некогда возникли из единого языка-основы, которым, по его мнению, и был общемеланезийский язык, существовавший параллельно с общеиндонезийским языком. Полинезийские языки, как показывает собранный им фонетический материал, значительно отошли от своего далекого предка, сильно упростив как свою фонетическую систему, так и свой грамматический строй.

Таким образом, прежняя трехчленная классификация языков Океании на меланезийские, полинезийские и микронезийские, основанная более на географических, чем на лингвистических критериях, подверглась в XX в. резкой критике. Дж. У. Грейсу принадлежит одна из первых попыток пересмотреть существующую классификацию австронезийских языков. Он предлагает новое деление их на западную и восточную ветви. Используя новые методы исследования языков, в частности лексикостатистический метод, он вычленяет в восточной ветви девятнадцать групп [14].

Дальнейшая разработка этой проблемы велась американским ученым А. Дайеном [15], предложившим довольно сложную классификацию австронезийской «филии» («сверхсемьи»), в состав которой он включил малайско-полинезийскую семью и ряд языков, которые, не будучи языками этой семьи, имеют с ней общие признаки. Малайско-полинезийскую семью он подразделяет на шесть подсемей, которые в свою очередь делятся на ветви. Полинезийские языки включаются в эту схему как одна из ее ветвей, меланезийские же образуют несколько ветвей.

Сравнительно малая изученность океанийских языков сказывается на проблеме классификации океанийских языков внутри них самих. Наиболее распространенным является деление на три группы, намеченные еще Х. Уильямсом, Сп. Черчуордом и Сидни Х. Рейем [16]: 1) языки внутренней, или центральной, группы, куда входят языки самоанский, футуна, тонганский, увеанский, ниуэский, языки жителей островных групп Токелау и Эллис, факаофский; 2) языки внешней, или восточной, группы, куда входят маорийский, мориорийский, раротонгский, таитянский, туамотуанский, маркизский, мангаревский, рапануйский и гавайский; 3) языки западной, или окраинной, группы (так называемые outliers), языки малочисленного населения островов, лежащих в пределах распространения меланезийских языков.

---

[12] Fr. N. Finck, Die Sprachstämme des Erdkreises, Leipzig, 1909.

[13] O. Dempwolff, Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes, «Zeitschrift für eingeborenen Sprachen», Beiheft, 17, Berlin, 1937, стр. 165.

[14] G. W. Grace, Subgrouping of Malayo-Polynesian: a report of tentative findings, «American anthropologist», 57, 2, pt. 1, 1955.

[15] J. Dyen, The lexicostatistical classification of Malayopolynesian languages, «Language», 38, 1, 1962. См. также: G. P. Murdock, Genetic classification of the Austronesian languages: A key to Oceanic cultural history, «Ethnology», III, 2, 1964.

[16] H. W. Williams, Some observations on Polynesian verbs, «Journal of the Polynesian society», 37, 1928; Sp. Churchward, A Samoan grammar, 2 ed., Melbourne, 1951; S. H. Ray, The Polynesian languages in Melanesia, «Anthropos», XIV—XV, 1919—1920, стр. 46—96.

Эта классификация была разработана без достаточного учета данных отдельных языков. Новые попытки были предприняты С. Элбертом [17], положившим в основу своей схемы фонетические новообразования в этих языках. Его исследования подтвердили правомерность деления полинезийских языков на три группы.

Попытка пересмотра группировки полинезийских языков была предпринята А. Поли [18] на основе новообразований в морфологии этих языков. По его данным, протополинезийский язык разделился сначала на две ветви — прототонгическую, от которой образовались тонганский язык и язык ниуэ, и основную полинезийскую, которая в дальнейшем развилась

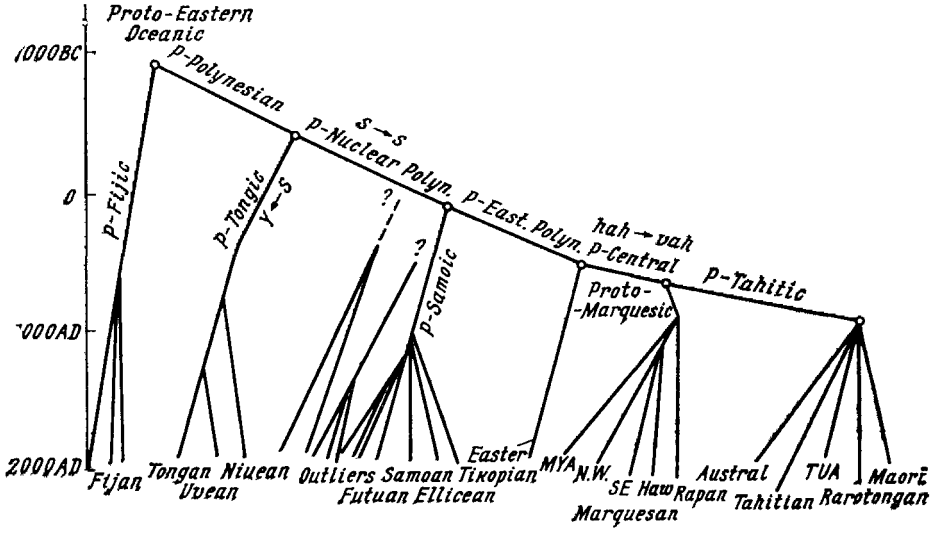


Рис. 1

в две ветви — протосамоическую (Proto-Samoic) и восточнополинезийскую. В свою очередь протосамоическая ветвь дала начало самоанскому, футуна, языкам островов Токелау и Тикопиа. Восточнополинезийская ветвь разделилась на языки маркизский, мангаревский, таитянский, гавайский, раротонгский, туамотуанский и маорийский. Вне классификации остались язык маэ, нукуоро, капингамаранги, футуноанива, сикайяна, пилени.

Интересную попытку воспроизвести родословное дерево полинезийских языков предложил Р. Грин [19] (см. рис. 1). Согласно его схеме, протовосточноокеанийский язык в начале I тыс. до н. э. распался на протофиджийский и протополинезийский, от которого в середине I тыс. до н. э. отделился прототонгический, давший впоследствии начало трем близким языкам — тонганскому, ниуэскому и увеанскому. В I тыс. н. э. от общеполинезийского языка отделился протосамоический, на основе которого затем сложились языки футунанский, самоанский, тикопиа, язык островов Эллис, а также так называемые окраинные языки (outliers). С середины I тыс.

[17] S. H. Elbert, Internal relationships of Polynesian languages and dialects, «Southwestern journal of anthropology», IX, 1953, стр. 147—173.

[18] A. Pawley, Polynesian languages: a subgrouping based on shared innovations in morphology, «Journal of the Polynesian society», 75, 1, 1966, стр. 39—64.

[19] R. Green, Linguistic subgrouping within Polynesian: The implications for prehistoric settlement, «Journal of the Polynesian society», 75, 1966, стр. 34.

н. э. начинает период общего восточнополинезийского языка. Первым отделившимся от этого языка был язык острова Пасхи — рапануйский, затем выделился протомаркизский язык, давший начало маркизскому, мангаревскому, гавайскому языкам. Восточнополинезийский язык постепенно перерос в прототаитянский, из которого со временем образовались таитянский, туамотуанский, раротонгский и маорийский.

Значительно сложнее обстоит дело с классификацией меланезийских языков: во-первых, они менее изучены, чем языки Полинезии; во-вторых, по своему развитию они находятся на уровне племенных языков и языков народностей; в-третьих, существует ряд языков, переходных от меланезийских к папуасским языкам.

Сложность разработки классификационной схемы меланезийских языков ясно видна хотя бы из того факта, что австралийский лингвист А. Кейпелл, имевший возможность ознакомиться с этими языками на месте, на протяжении восьми лет дал два существенно отличающихся один от другого варианта: первый (1954) предполагает наличие восьми групп языков [20], второй (1962) ограничивается наличием пяти групп языков [21].

Классификация языков Микронезии также пока еще не завершена. В. Шмидт, М. Леенхардт, А. Кейпелл и некоторые другие лингвисты предложили свои варианты [22], однако общего согласия по этой проблеме еще не достигнуто, главным образом, вследствие недостаточной изученности этих языков и отсутствия четких лингвистических критериев распределения по группам.

Проблема классификации океанийских языков усложняется еще и тем обстоятельством, что языки, входящие в это подразделение, обслуживают этнические общности, находящиеся на различных ступенях общественного развития. Одни из них, как, например, языки самоанский, тонганский, являются языками сложившихся народностей, находящихся на пути к консолидации в нации. Другие языки — многие меланезийские и некоторые полинезийские — носят характер племенных языков. Таитянский язык совершенно явно идет по пути превращения в язык межостровного общения народов Французской Полинезии: на нем ведутся передачи по радио для всей этой территории, он является языком школьного преподавания в школах архипелага Туамоту и Тубуаи, где население говорит на местных языках.

Такое разнообразие в статусе названных языков выдвинуло новую проблему соотношения языка и диалекта в условиях Океании. Используя лексикостатистический метод, Дж. Х. Уорд [23] пришел к выводу о наличии в Полинезии следующих языков: тонганского (включая язык увеа), самоанского, маорийского, капингамаранги (на о-ве Капингамаранги в Микронезии) и особого восточнополинезийского языка, который якобы распадается на диалекты — гавайский, таитянский, туамотуанский, раротонгский, маркизский, мангаревский, язык о-ва Пасхи (рапануйский). Как можно видеть из приведенного перечня языков, предложенное Дж. Х. Уордом деление на языки и диалекты не охватывает все полинезийские языки; к тому же при этом нивелируются различия между таким

[20] A. Capell, A linguistic survey of the South-Western Pacific, Noumea, 1954, стр. VI.

[21] A. Capell, Oceanic linguistics today, «Current anthropology», III, 4, 1962, стр. 380—381.

[22] W. Schmidt, Austronesian languages, «Encyclopedia Britannica», 2, London, 1960, стр. 782; «Les langues du monde», par un groupe de linguistes, sous la direction de A. Meillet et M. Cohen, nouvelle ed., Paris, 1952, стр. 678; A. Capell, Oceanic linguistics today, стр. 384.

[23] J. H. Ward, Mutual intelligibility between certain Polynesian speech communities, «Oceanic linguistics», I, 1, 1962, стр. 2—3.

языком, как таитянский, который выполняет функции межостровного средства общения, языка радио и школьного преподавания, и туамотуанским или маркизским, которые заметно уступают таитянскому в коммуникативном отношении. Наконец, недостаточно ясны критерии отнесения данного средства общения к разряду языков или диалектов.

Когда исследуется какая-либо группа или семья языков, всегда возникает проблема взаимоотношений данной языковой группы с соседними языками и группами. Проблема взаимоотношений океанийских языков между собой и шире—в пределах австронезийской семьи—была рассмотрена выше.

Отношения океанийских языков к языкам, не входящим в австронезийскую семью, также давно привлекают внимание исследователей. Еще Ф. Бопп (1791—1867) сделал неудачную попытку доказать родство малайско-полинезийских языков с индоевропейскими, для чего привлекались числительные (от одного до десяти, «сто» и «тысяча»), а также некоторые существительные, обозначающие части тела, прилагательные цветообозначения и местоимения [24]. В XX в. возник ряд гипотез о родстве полинезийских языков с языком айну [25], с древним шумерским языком [26], с языками американских индейцев [27] и некот. др. Все эти гипотезы, не давшие убедительных результатов, покоятся на шатких основаниях сходства, якобы имеющегося в словарном составе этих языков.

Выше мы осветили проблемы, которые связаны с определением места океанийских языков в австронезийской языковой семье и места каждого отдельного языка или группы языков внутри океанийской ветви. Перейдем теперь к проблемам структуры океанийских языков.

Одной из особенностей океанийских языков (распространяющейся, правда, и на индонезийские языки) является широко развитая полисемия слов: практически каждое слово представлено сосуществующими лексико-семантическими вариантами со значением предметности, качества, состояния, процесса и даже отношения. Конкретный лексико-семантический вариант выявляется в речевой цепи, в окружении других слов. Эта особенность слов океанийских языков оказалась одним из камней преткновения при решении проблемы частей речи. К тому же все океанийские языки обладают крайне ограниченным инвентарем словоизменительных морфем, используемых для выражения грамматических категорий. Поэтому к этим языкам оказывается невозможно приложить ту традиционную схему частей речи, которая была выработана на основе типологически совершенно иных (прежде всего — в грамматическом отношении) индоевропейских языков.

Первые авторы практических пособий по этим языкам придерживались традиционного деления на части речи, которое еще продолжают навязывать этим языкам многие современные западноевропейские авторы. Однако уже В. Гумбольдт, пораженный обилием так называемых частиц в этих языках, выделил их в особый класс слов [28].

Одной из первых попыток создать схему частей речи, которая в известной степени соответствовала бы строю полинезийских языков, следует

---

[24] Fr. Bopp, Über die Verwandschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indo-europäischen, «Philologische und historische Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin» (1840), 1842, стр. 171—247.

[25] O. Gjerdman, Word-parallels between Ainu and other languages, «Le monde oriental», XX, fasc. 1—3, 1926.

[26] P. Rivet, Sumérien et Océanien, Paris, (б. г.).

[27] Ed. Stucken, Polynesisches Sprachgut in Amerika und in Sumer, «Mitteilungen der vorderasiatisch-aegyptischen Gesellschaft», Leipzig, 31 Jg., fasc. 2, 1926 (1927).

[28] W. v. Humboldt, Über die Kawi-Sprache, III, Berlin, 1839, стр. 527—695.

считать предложенное американским исследователем У. Черчиллем [29] деление на три класса слов: 1) атрибутивы, под которыми он понимал слова, обозначающие предметы; по его мнению, из этой группы слов впоследствии выделились существительные, прилагательные, глаголы и наречия; 2) демонстративы, т. е. слова — указатели времени, места, числа и направления движения, из которых впоследствии выделились местоимения и отчасти наречия; 3) парадеиктики, т. е. слова, указывающие на отношения между словами. Из них со временем выделились предлоги, союзы и частицы.

В известной мере сходную с только что приведенной схему частей речи предложил датский лингвист Х. Йенсен [30]. Выделяется три класса слов, которые названы: 1) слова, обозначающие понятия (Begriffswörter); 2) деиктические слова (deiktische Wörter) — односложные слова, характеризующие понятийную принадлежность слова, с которым они сочетаются; 3) слова — показатели отношений (Beziehungswörter), к которым он относит предлоги.

Автор грамматики самоанского языка Сп. Черчуорд выделяет такие части речи в этом языке: 1) существительные; 2) глаголы, 3) именные частицы (включая предлоги); 4) глагольные частицы; 5) союзы; 6) местоимения; 7) прилагательные (включая артикль); 8) наречия; 9) междометия [31].

Описывая структуру различных океанийских языков, преимущественно полинезийских, представители дескриптивной лингвистики также дают схемы классов слов. Так, Б. Биггс исходит в первую очередь из классификации морфем, различая «основы» (bases) и «малые морфемы» (minor morphemes), к которым он относит частицы и аффиксы [32]. Положив в основу своей классификации синтаксические отношения — позицию, занимаемую морфемами по отношению к основам, и дистрибуцию основ по отношению к морфемам, он выделяет шесть классов слов: 1) существительные; 2) причастия; 3) прилагательные; 4) общие основы; 5) наречия; 6) собственно имена.

В противоположность Б. Биггсу, хотя, видимо, также исходя из синтаксических функций слов, А. Кэйпелл [33], исследовавший структуру языка маэ (язык жителей небольшого острова в Новых Гебридах), выделяет три класса слов: 1) класс имен, 2) класс глаголов (и соответственно «спутники» каждого из этих классов — неотделимые, предшествующие и последующие, и отделимые); 3) класс частиц, куда отнесены соединительные слова и междометия.

Наконец Дж. И. Бьюс [34] в своем описании строя раротонгского языка с позиций синтаксиса выделяет две группы частей речи: 1) «собственно слова», под которыми он понимает минимальные свободные формы слов, способные занимать место в именных и глагольных сочетаниях, и 2) частицы, союзы и т. д., которые не обладают названным свойством; всего он выделяет тринадцать формальных классов.

---

[29] W. Churchill, Root reducibility in Polynesian, «American journal of philology», 27, 4, 1906.

[30] H. Jensen, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. I. Studien zur Morphologie der polynesischen Sprachen, insbesondere des Samoanischen, Kiel, 1923.

[31] Sp. Churchward, A Samoan grammar, Melbourne, 1951.

[32] B. Biggs, The structure of New Zealand Maaori, «Anthropological linguistics», III, 3, 1961.

[33] A. Capell, The Polynesian language of Mae (Emwae), New-Hebrides, Auckland, 1962, стр. 8—9.

[34] J. E. Buse, Ratorongan sentence structures, «Bull. of the School of Oriental and African studies», 26, pt. 3, 1963.

В. Крупа положил в основу своей классификации частей речи в маорийском языке следующие критерии, связанные преимущественно с дистрибуцией слов в предложении, а именно с их способностью сочетаться 1) со словами, содержащими пассивный суффикс (в рамках связанной конструкции); 2) со словами, содержащими номинализирующий суффикс (в рамках связанной конструкции); 3) с определенными именными частицами; 4) с процессными частицами; 5) с пассивным суффиксом [35]. Прилагая эти критерии к маорийскому языку, В. Крупа выделяет девять классов слов: 1) междометия; 2) именные частицы; 3) процессные частицы; 4) дополнительные частицы; 5) существительные; 6) наречия; 7) причастия; 8) прилагательные; 9) универсальные слова [36].

В другой своей работе В. Крупа [37], исходя из критерия сочетаемости с теми или иными видами частиц, предложил классификацию частей речи, содержащую четыре класса слов: 1) имена, сочетающиеся с именными частицами; 2) причастия и средние глаголы, сочетающиеся с глагольными частицами и с номинализирующим суффиксом; 3) прилагательные, сочетающиеся как с глагольными, так и с именными частицами, а также и номинализирующим суффиксом; 4) универсальные слова, сочетающиеся с теми и другими частицами и с номинализирующим и пассивным суффиксами. Наречия он относит в класс имен и рассматривает их как особый подкласс имен с ограниченной сочетаемостью.

Обе эти классификации построены по существу на использовании одного принципа — синтаксической сочетаемости — и поэтому представляются нам все же недостаточно обоснованными. Полагая, что одного какого-либо критерия при установлении частей речи вряд ли достаточно, мы предлагаем исходить из ряда признаков, характеризующих слова данного языка. Это, по нашему мнению, следующие признаки: 1) смысловая отнесенность слова к соответствующей понятийной категории (выражение предметности, процессности, качественного признака, числового значения, выражения отношения); 2) функция слова и 3) его дистрибуция в предложении; 4) словообразовательная структура слова.

Используя все четыре критерия, можно наметить в ряде полинезийских языков следующие классы, или разряды, слов [38]:

I. Имена: а) существительные (слова — названия предметов и явлений); б) числительные (слова — названия числа); в) местоимения, заменители слов — названий и явлений.

II. Предикативы: а) предикативы действия (слова — названия действия); б) предикативы состояния (слова — названия состояния); в) предикативы качества (слова — названия качества).

III. Определители: а) именные определители; б) предикативные определители; в) предлоги.

IV. Наречия. V. Союзы. VI. Междометия.

Процессные слова образуют особую часть речи в океанийских языках — предикативы. Одной из особенностей этого класса слов в названных языках следует признать то, что предикатив, будучи нейтральным в отношении времени и вида, выражает лишь общее значение процесса, состояния или же качества, воспринимаемого как определенное состояние. Средством предикации служат особые служебные слова, предикативные определители, или, как их называют в американской литературе, гла-

[35] В. Крупа, Язык маори, М., 1967, стр. 47.
[36] Там же, стр. 48.
[37] V. Krupa, Polynesian languages, The Hague — Paris, 1973, стр. 70—71.
[38] Приведенная классификация была использована в очерке одного из полинезийских языков, см.: В. Д. Аракин, Самоанский язык. М., 1973, стр. 31 и сл.

гольные частицы (verbal particles), соотносящие предикатив с тем или иным видо-временным значением. Таковы, например, *nei* «теперь; здесь» в самоанском, таитянском и гавайском языках, *ra* «тогда» в таитянском, они восходят к наречиям места и времени.

В исследованиях и описательных работах по полинезийским и меланезийским языкам нет единой точки зрения на грамматическое значение предикативов; нет ясности в вопросе о наклонениях. В трудах, принадлежащих перу европейских, американских и австралийских лингвистов, обычно говорится о временных формах глагола и о наличии ряда наклонений [39]. Так, М. Т. Жорс находит в таитянском сослагательное и условное наклонения [40]. Сп. Черчуорд намечает в самоанском пять наклонений — изъявительное, сослагательное, повелительное, неопределенное (?!) и условное [41].

Аналогичных взглядов придерживаются и советские исследователи А. И. Блинов и Ю. М. Лихтенберг [42]. А. И. Блинов, например, выделяет в полинезийских языках три основных наклонения — изъявительное, сослагательное и повелительное и, кроме того, повествовательное, условное, а также в тонганском языке — возможное наклонение.

Для того чтобы показать существующий разнобой в характеристике предикативов, ограничимся одним примером. Во всех полинезийских языках существует сочетание предикатива действия с частицей *kua*, фонетически варьирующейся по языкам; оно используется для передачи значения совершенного действия или же имеющегося налицо состояния, возникшего как результат какого-либо процесса. В трудах французских ученых это сочетание именуется Passé défini [43] или Passé composé [44]; в трудах английских и датских авторов [45], у А. И. Блинова — время прошедшее-настоящее, перфект; вид завершенного действия [46]. Наконец, В. Крупа вовсе не говорит о формах времени в языке маори; вместо этого он отмечает грамматическое значение различных процессуальных частиц (например, *e* — показатель общего времени, *kua* — перфективная частица) [47].

Подобный разнобой свидетельствует о недостаточной изученности проблемы. Отсутствие четко выраженных морфологических признаков, которые бы характеризовали каждое из названных выше наклонений и форм времени, заставляет нас воздержаться признать их наличие в полинезийских (и, вероятно, также в меланезийских) языках и рассматривать сочетания процессных частиц с предикативами лишь с точки зрения передачи ими ряда модальных значений. Видовые формы предикативов мы предпочитаем давать в виде моделей. Например, модель *ua* + P_v используется для выражения: 1) совершенного действия, результат которого ощущается в настоящее время; 2) действия в настоящем времени с предикативами

---

[39] См., например: Ch. Vernier, Introduction à la langue tahitienne, Paris, 1959, стр. 60 и сл.; R. J. Dordillon, Grammaire et dictionnaire de la langue des Îles Marquises, Paris, 1931, стр. 29 и сл.

[40] M. T. Jorss, Le tahitien à la portée de tous, Papeete, 1961, стр. 44.

[41] Sp. Churchward, A Samoan grammar, 2-nd ed., Melbourne, 1951, стр. 85.

[42] А. И. Блинов, Языки полинезийцев, в кн.: «Народы Австралии и Океании», М., 1956, стр. 574—576; Ю. М. Лихтенберг. Языки меланезийцев, там же, стр. 390.

[43] Ch. Vernier, указ. соч., стр. 60.

[44] R. J. Dordillon, Grammaire et dictionnaire de la langue des Îles Marquises, Paris, 1931, стр. 29.

[45] Sp. Churchward, указ. соч., стр. 85—86, J. P. Johansen, Character and structure of the action in Maori, «Historisk-filologiske Meddelelser [af det Danske Videnskabernes Selskab]», 31.5, København, 1948.

[46] А. И. Блинов, указ. соч., стр. 574.

[47] В. Крупа, указ. соч., стр. 49.

II группы, обозначающими непереходное действие; 3) состояния, возникшего ранее и продолжающегося в настоящем времени [48].

Океанийские языки обладают своеобразно дифференцированным способом выражения принадлежности. Все существительные в этих языках подразделяются в представлении говорящих на две группы. Одни существительные, которые носят название «доминантных» (они обозначают, например, часть целого, члена коллектива, семьи, а также чувства, душевные свойства и т. д.), соединяются со словом, выражающим обладателя, при помощи предлога *o* или его аллофонов. Другие существительные, которые носят название «субординативные существительные» [49] и обозначают предметы отчуждаемой принадлежности (такие, как движимое имущество, пища, домашние животные, деятельность, осуществляемая человеком, а также детей и супругов), оформляются в тех же случаях с помощью предлога *a*.

В отношении проблемы выражения принадлежности нам представляется важным разрешить следующие вопросы: 1) определить, по каким логическим, семантическим или другим критериям происходит в этих языках разделение существительных на две группы [50]; 2) установить, наблюдаются ли совпадения в группировке существительных по отдельным языкам и группам языков.

В области исследования и описания синтаксиса океанийских языков сделано еще очень немного. Простое предложение и возможные его типы, существующие в этих языках, описаны крайне недостаточно. Лишь в последнее время исследователи полинезийских языков Б. Биггс и Дж. И. Бьюс, используя методы дескриптивной лингвистики, сделали попытку описать простое предложение в маорийском [51] и раротонгском [52] языках. А. Поли предложил схему описания синтаксиса самоанского языка [53].

Синтаксис маорийского, раротонгского, самоанского и других полинезийских языков, кроме языков западной группы, обнаруживает большие сходства. Языки же западной группы в отношении расположения членов предложения проявляют ряд черт, сближающих их с языками соседних меланезийцев.

Еще меньше сделано в области исследования сложного предложения в океанийских языках. Нет ни одной монографической работы, где бы рассматривались типы и структура сложного предложения. Не исследованы и словосочетания, не установлены их типы — как общие для всех океанийских языков, так и характерные для тех или иных языковых групп и отдельных языков. Не изучена интонация, не начаты исследования в области фонологии и интонации этих языков.

Назовем еще одну группу проблем, а именно касающихся изучения океанийских языков в историческом аспекте. В этом отношении океанийские языки представляют собой исключительно неблагоприятный материал, так как они фактически лишены письменной традиции. Дошедшие до нас

---

[48] В. Д. Аракин, указ. соч., стр. 44—45.

[49] В. Крупа, указ. соч., стр. 56—57.

[50] Дж. У. Грейс, например, считает, что существительные, обозначающие предметы, в отношении которых проявляется активность (изготовлены, управляются, используются кем-либо), сочетаются с предлогом *a*; существительные, обозначающие предметы, в отношении которых проявляется пассивность или которые сами оказывают влияние на кого-либо, сочетаются с предлогом *o* (G. W. Grace, The position of the Polynesian languages within the Austronesian language family, Baltimore, 1959, стр. 48).

[51] B. Biggs, The structure of New Zealand Maori.

[52] J. E. Buse, The structure of Rarotongan verbal pieces, «Bull. of the School of Oriental and African studies», 26, pt. I, 1963; его же, The structure of Rarotongan nominal negative and conjunctival pieces, там же, 26, pt. 2, 1963; его же, Rarotongan sentence structures, там же, 26, pt. 3, 1963.

[53] A. Pawley, A scheme for describing Samoan grammar, «Te Reo», 1961, 4.

многочисленные легенды [54] не дают исторической перспективы, поскольку они представляют, в основном, язык не более двухсотлетней давности. Счастливым исключением в этом отношении является рапануйский язык, располагающий древними письменными памятниками. Язык аборигенных жителей острова Пасхи (Рапануи), лежащего на крайнем востоке полинезийского мира, рапануйский, сходен с другими полинезийскими языками, как это отметил еще Дж. Кук, посетивший остров в 1774 г. От прежде многочисленного аборигенного населения острова, насчитывавшего в XVI в. 3000—4000 человек, теперь осталось не более одной тысячи человек. Внимание ученых к острову Пасхи было привлечено сохранившимися от прошлых времен каменными статуями (о них упоминал голландец Я. Роггевен во время своего посещения этого острова в 1722 г.) и деревянными табличками со своеобразными письменами, которых местные жители уже не понимают. Последний человек, умевший их читать и знавший их назначение, умер в 1914 г. и унес с собой тайну древней письменности.

Предпринятые учеными различных стран (В. Хевеши, Венгрия; А. Метро, Франция; Б. Г. Кудрявцев, Д. А. Ольдерогге, Ю. В. Кнорозов, Н. А. Бутинов, И. К. Федорова, А. М. Кондратов, СССР) попытки расшифровать эти загадочные письмена, называемые кохау-ронго-ронго, пока не достигли цели. Правда, удалось при этом внести значительную ясность в сопряженные с дешифровкой проблемы. Так, установлено наличие параллельных текстов на двух языках на некоторых табличках; письмо определено как комбинированное идеографическое[55], в дальнейшем вопрос о его определении был пересмотрен — теперь признается иероглифический характер этого письма [56]. Переведены некоторые фольклорные тексты, собранные экспедицией Т. Хейердала и записанные латинским алфавитом[57]. Работа по расшифровке памятников древней письменности острова породила значительную научную литературу. Изучение загадочных письмен «ронго-ронго» продолжается. Лингвистические материалы памятников с острова Пасхи, надо думать, будут иметь большое значение для разработки истории полинезийских языков.

Сопоставительное изучение современных полинезийских и меланезийских языков, их фонологической системы, грамматического строя и словарного состава также даст некоторый материал для воссоздания истории этих языков. В этом отношении особое значение будет иметь сопоставительное исследование языка фиджи, согласно гипотезе Р. Грина, якобы отделившегося от общего протоокеанийского языка в начале I тысячелетия до н. э., языков тонганского, увеа, которые раньше других полинезийских языков выделились из протополинезийского, и, наконец, самоанского и близких к нему языков футуна и тикопиа, видимо, также ставших на путь самостоятельного развития более двух тысячелетий назад.

Длительная и кропотливая работа должна привести к разработке и составлению сравнительных грамматик отдельных генетически близких

[54] «Сказки и мифы Океании», М., 1970, стр. 464—500.

[55] Б. Г. Кудрявцев, Письменность острова Пасхи, «Сборник Музея антропологии и этнографии [АН СССР]», XI, 1949; Д. А. Ольдерогге, Параллельные тексты некоторых иероглифических таблиц с о-ва Пасхи, «Советская этнография», 1947, 4.

[56] Н. А. Бутинов, Ю. В. Кнорозов, Предварительное сообщение об изучении письменности о-ва Пасхи, «Советская этнография», 1956, 4; их же, Новые материалы об о-ве Пасхи, там же, 1957, 6; Н. А. Бутинов, Иероглифические тексты о-ва Пасхи, «Вестник истории мировой культуры», 1959; 3; А. М. Кондратов, Машинный перевод, М., 1967, стр. 25—30.

[57] И. К. Федорова, К вопросу о характере языка текстов о-ва Пасхи, «Советская этнография», 1963, 2; ее же, О легендах, связанных с «Кохау-ронго-ронго»; ее же, Фольклорные памятники о-ва Пасхи как исторический источник. АКД, Л., 1966.

языков (тем более, что некоторое начало этому уже положено [58]) с более отдаленной перспективой создания на их основе сравнительно-исторической грамматики всех языков этой большой ветви австронезийской языковой семьи.

Интерес, который начали проявлять в XIX в. ученые к Океании в целом и к океанийским языкам в частности, значительно возрос в XX в. в связи с усилившимися контактами с этим районом земного шара, борьбой океанийских народов за освобождение от колониальной зависимости и образованием самостоятельных государств в Полинезии — Западного Самоа, Тонга и др. Это нашло свое отражение в создании различных научных организаций, ставивших перед собой задачу исследования культуры и языков океанийских народов.

Еще в прошлом веке Ч. Бишоп основал музей в Гонолулу — The Bernice Pauahi Bishop Museum (назван так по имени его жены Пауахи, гавайки по происхождению). Этот музей со временем превратился в один из основных центров по изучению истории, этнографии, культуры и языков Океании; его директором в течение некоторого времени был известный исследователь полинезийской культуры и языков Те Ранги Хироа (П. Бак), автор известного труда «Мореплаватели солнечного восхода» (русский перевод — М., 1950).

В 1892 г. в Веллингтоне (Новая Зеландия) было основано Полинезийское общество, с этого же года издающее «Journal of the Polynesian society», где освещаются различные проблемы антропологии, истории, культуры и языков океанийских народов.

Исследованию языков Океании посвятило свою деятельность основанное в 1958 г. в Окленде (Новая Зеландия) Новозеландское лингвистическое общество, публикующее журнал «Te Reo» и издающее монографии по проблемам океанийского языкознания.

Проблемы истории, этнографии, культуры и языков Французской Полинезии освещаются в периодическом издании «Bulletin de la Société des études Océaniennes», издаваемом Обществом по изучению Океании (основано в Папеэте, Таити, в 1938 г.), и в журнале «Journal de la Société des océanistes», выпускаемом Обществом океанистов в Париже с 1946 г.

Сведения биобиблиографического и реферативного характера можно получить в журнале «Oceanic linguistics», начавшем выходить в Иллинойсе в 1962 г.

---

[58] См.: E. Tregear, The Maori-Polynesian comparative dictionary, Wellington, 1891; S. H. Ray, A comparative study of the Melanesian Islands languages, Cambridge, 1926

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

РЕЦЕНЗИИ

«Русский язык в современном мире», под. ред. Ф. П. Филина, В. Г. Костомарова, Л. И. Скворцова. — М , «Наука», 1974. 301 стр.

Нужно всячески приветствовать появление рецензируемой книги, в подготовке которой участвовала большая группа ученых, прежде всего из Института русского языка АН СССР и из Института русского языка имени А. С. Пушкина. Перед нами книга о русском языке в современном мире. Подобная книга создается впервые. Этим определяется большое научное и не меньшее общественное ее значение. Сделана интересная и в целом удачная попытка показать, как русский язык стал языком мирового значения, как рос интерес к нему в разных странах и какое место занимает русский язык среди современных языков человечества — больших и «малых».

В первой части книги дается краткий очерк истории русского литературного языка и анализируется его положение среди других языков. Во второй части речь идет о функционировании русского языка в нашу эпоху. Третья часть посвящается русскому языку как предмету преподавания у нас в стране и за рубежом. Каждая из этих трех частей распадается на отдельные главы, в которых более пристально анализируются те или иные аспекты затронутой темы. Так, например, положение русского языка среди других языков Советского Союза требует несколько иного рассмотрения, чем положение русского языка за пределами нашей страны и т. д.

Авторы стремились построить всю свою работу «на идеях историчности и функциональности» (стр. 5). И здесь нет противоречия. Только хорошо понимая подлинно историческую природу языка, можно правильно осмыслить и особенности его синхронного функционирования. Авторы правы и тогда, когда в первой части книги вслед за А. А. Шахматовым подчеркивают великую историческую миссию русского литературного языка. «Русский литературный язык представляет собой явление глубокого культурно-исторического интереса. Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским в том сложном историческом процессе, который он пережил» [1].

[1] А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 60.

В первой части книги сделана интересная попытка показать своеобразие самого процесса становления русского литературного языка. Уже Л. П. Якубинский в своей «Истории древнерусского языка» отметил, что «...в Западной Европе в течение столетий латинской язык продолжает существовать как государственный язык. Между тем у нас при первых признаках распада единого Киевского государства (первая половина XI в.) государственным языком, взамен церковнославянского, становится древнерусский язык. Это запоздание Западной Европы по сравнению с Киевским государством обращало на себя внимание исследователей, например, акад. А. А. Шахматова» [2]. Авторы рецензируемой книги удачно развивают и уточняют данное положение, демонстрируя своеобразие исторического становления русского литературного языка в последующие столетия.

Убедительно показано, как в XX в. русский язык превратился в один из мировых языков. По шкале абсолютного числа говорящих русский язык в наши дни занимает третье место, уступая лишь английскому языку и хиндустани (хинди и урду вместе). Исторически важно проследить движение в положении мировых языков. В XVIII в. в функции таких языков выступали прежде всего французский, немецкий и испанский. XIX столетие присоединило к ним английский, а XX столетие — русский (стр. 58). Вместе с тем в наше время английский заметно потеснил французский и немецкий. Авторы правы: в каждом таком случае можно найти свои причины в движении мировых языков и в изменении самого соотношения между ними.

«Мы находим,— пишут авторы,— русские слова у византийцев и европейских певцов-миннезингеров, у английских поэтов и драматургов, в космографиях средневековья. Русским языком зани-

[2] Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 280. Хотелось бы подчеркнуть, что эта прекрасная, полная глубоких мыслей книга Л. П. Якубинского до сих пор у нас не оценена по-настоящему.

мались ганзейские купцы и французские просветители, особенно Д. Дидро; его изучали Лейбниц, Гюго, Ламартин, Гете, Мериме. К. Маркс и Ф. Энгельс не только овладели им, но и предсказали его будущую роль» (стр. 59). Список выдающихся людей разных стран, которые интересовались русским языком в прошлые столетия, можно было бы значительно пополнить. Благодаря разысканиям прежде всего акад. М. П. Алексеева мы кое-что знаем об интересе к русскому языку и литературе на Западе и на Востоке, в отдаленные эпохи и в новое время. Желательно, чтобы исследования М. П. Алексеева, публиковавшиеся на протяжении пятидесяти лет и разбросанные в разных, подчас редких изданиях, были бы собраны и изданы в одной книге[3]. Вместе с тем хочется особенно подчеркнуть, что тема «Изучение русского языка в разные эпохи и в разных странах» все еще ждет своих будущих исследователей.

Весьма интересна и история публикации первых учебников русского языка за пределами нашей страны, в частности первого «Букваря» 1690 г., появившегося в Силезии, более раннего «Словаря Московитов» 1586 г. и других[4]. Вместе с тем авторы показывают, что количество людей, интересовавшихся русским языком в тех или иных странах, не увеличивается прямо пропорционально по мере приближения к нашему времени. Чем больше сами русские люди изучали иностранные языки, тем меньше возникало непосредственных импульсов у иностранцев, приезжавших в Россию изучать русский язык. Очутившись на русской земле, они обычно встречались с образованными людьми, которые понимали их родной язык. В результате знание иностранных языков у русских и знание русского языка у иностранцев оказалось в обратно пропорциональном отношении (стр. 38, 72).

В 1966 г. в Америке была опубликована научно-популярная брошюра под заголовком «Зачем изучать русский язык?». Наряду с чисто деляческими соображениями («знание русского языка... помогает сделать карьеру») в брошюре приводятся и такие серьезные доводы, как огромная роль науки в СССР и то, что «русский язык — носитель одной из величайших литератур всех времен»[5]. Здесь выдвижение русского языка на первый план прямо связывается с ростом культуры советского народа, с авторитетом национальной русской литературы.

Авторы рецензируемой книги безусловно правы, подчеркивая всю сложность самого понятия «мировой язык» (Weltsprache). Во-первых, у самого этого термина имеются многочисленные синонимы — международный, универсальный, межнациональный язык. Во-вторых — и это главное,— само понятие мирового языка не исключает наличия многих и разных мировых языков, а также языков, общих для одной группы народов и совсем не знакомых другой группе народов. Так, например, шведский является общим языком для ряда стран Северной Европы, так что английский выступает здесь мировым языком как бы второго эшелона. В аналогичном положении арабский язык у ряда народов Северной Африки и т. д. (стр. 54). Возникают и чисто теоретические трудности: как описать лингвистические свойства и особенности мирового языка? Престиж каждого мирового языка определяется многими условиями (количество говорящих на нем людей, территориальное распространение, богатство художественной литературы и науки на данном языке и т. д.), и все же его лингвистические особенности, помогающие ему укрепиться в позиции мирового языка, еще должны быть изучены в будущем. В рецензируемой книге этот вопрос затронут лишь попутно и очень бегло.

Что касается русского языка, то огромный престиж советского общественного строя, художественная литература и наука на русском языке помогают ему стать языком мирового значения. Особую роль русский язык играет среди других языков народов, населяющих нашу страну. Напомним, что таких языков у нас около 130, и среди них свыше 70 языков функционируют как письменные литературные языки (до Октябрьской революции письменность имелась только на 20 языках)[6]. Народы нашей страны изучают русский язык как язык межнационального общения, как язык богатых литературных и научных традиций, как язык Пушкина и Толстого, Плеханова и Ленина. Наша партия и правительство строго соблюдают указания В. И. Ленина, который, решительно протестуя против насильственного навя-

---

[3] См., в частности, тезисы доклада М. П. Алексеева «Русский язык в мировом культурном обиходе между XI и XX веками» в кн.: «Страноведение и преподавание русского языка как иностранного», М., 1971.

[4] См.: Б. А. Ларин, Три иностранных источника по истории русского языка XVI—XVII веков, «Докл. и сообщ. [Ин-та русского языка АН СССР]», 1, М.—Л., 1948.

[5] H. M. Jakobson, Why study Russian?, University of Arizona, 1966, стр. 4.

[6] М. И. Исаев, Сто тридцать равноправных (о языках народов СССР), М., 1970.

зывания русского языка другим народам, вместе с тем писал: «И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку. Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*». И несколько далее: «Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его *из-под палки*» [7].

Содержательны и интересны те разделы рецензируемой книги, которые посвящены литературному языку, его норме, соотношению между письменной и разговорной речью. Следует всячески поддержать протесты авторов против приравнивания литературного языка к стандарту (приравнивания весьма модного в некоторых направлениях лингвистики наших дней), тогда как достоинства литературного языка определяются его возможностями преодолеть стандартные клише разговорной речи. Столь же убедительно авторы разграничивают понятия языка и стиля, языка и варианта языка. Если считать, что разговорный стиль речи — это особый язык, тогда получится, что в самом русском языке заключается несколько разных языков. Возникает не только contradictio in adjecto, но и фактически неверное положение: сколь бы ни отличалась современная русская разговорная речь (=русский разговорный стиль) от письменного способа изложения, подобное различие остается различием в пределах единого языка. В противном случае людям, владеющим лишь разговорной речью, были бы непонятны даже популярные лекции по радио или телевидению (книжный стиль речи). Между тем в действительности понимание сейчас же устанавливается в обоих случаях. Поэтому такие термины, как «разговорный язык», «диалектный язык» (вместо «разговорная речь» или «разговорный стиль», «диалектная речь») авторы справедливо осуждают. «Кроме путаницы, эти термины в науку ничего не вносят» (стр. 118).

Заслуживает внимания и специальный раздел о норме литературного языка. В книге хорошо показано: норма не сковывает литературный язык. Хотя всякий живой литературный язык непрерывно изменяется, но функционировать он может только не меняясь. В этом обнаруживается одно из жизненных противоречий языка, вечная коллизия и вечное взаимодействие между синхронией и диахронией. В свое время Н. В. Гоголь был безусловно прав, когда выступал одновременно и как смелый новатор языка и как писатель, протестовавший против извращения истинного значения «коренных русских слов» [8]. Убедительно показано в книге взаимодействие старого и нового в языке, в частности и в особенности в лексике. Здесь новое обнаруживается не только в новых словах, но и — причем в гораздо большей степени — в переосмыслении старых слов, в развитии их полисемии, в новых сочетаниях старых слов и т. д. (стр. 170 и сл.).

В целом удачным представляется и лингвострановедческий раздел книги (стр. 281 и сл.). Действительно, иностранцы, изучающие русский язык, должны знать историю и культуру народа, говорящего на данном языке. Это, казалось бы, общеизвестное положение, как это ни странно, фактически и практически остается все еще очень мало разработанным.

Позволим себе сделать и несколько критических замечаний. Как и всякая новая тема, тема рецензируемой книги неодинаково разработана в разных своих частях. К тому же авторам не удалось избежать и некоторого стилистического разнобоя: читатели ощущают, что книгу писали разные авторы. Нам представляется неудачной первая глава третьей части, посвященная описанию русского языка в учебных целях. Сама манера изложения этой главы осложнена без всяких оснований. Здесь нередко приходится убеждаться в том, как вполне известные положения иногда передаются с помощью «ученого языка». С этой странной болезнью некоторых направлений современной лингвистики необходимо постоянно бороться. Один из создателей кибернетики, выдающийся ученый Норберт Винер прекрасно заметил: «...нет никакой научной заслуги (и есть очень большой научный порок) в том, чтобы употреблять трехзначное число, когда для соображений точности вполне достаточно однозначного» [9].

Трудно согласиться с авторами, когда они утверждают: «к семиотическим средствам относятся естественные языки и искусственные языки и коды» (стр. 76). Такое утверждение сводит на нет глубокое качественное различие между естественными языками человечества и искусственными построениями, которые создаются для тех или иных научных или технических целей. Слишком категорично сформулирована мысль о том, что «система понятий в разных языках не совпадает...» (стр. 284). Разумеется, система понятий в известной степени зависит и от языка, но только в известной степени. В против-

---

[7] В. И. Ленин, Нужен ли обязательный государственный язык?, Полн. собр. соч., 24, стр. 295.

[8] Н. В. Гоголь, Объявление об издании русского словаря, «Сочинения Н. В. Гоголя», ред. Н. С. Тихонравова, 12, СПб., 1901, стр. 187.

[9] Н. Винер, Я — математик, М., 1964, стр. 274.

ном случае при переходе с одного языка на другой пришлось бы всякий раз менять систему понятий. Ссылка на Л. В. Щербу здесь не совсем точна, ибо в других местах той же работы Щербы [10] хорошо показано, как следует понимать влияние системы языка на особенности формирования понятий.

Оценивая книгу «Русский язык в современном мире» в целом, мы хотим подчеркнуть, что перед нами нужное и очень важное исследование. И хотя сами авторы называют свою работу популярной (стр. 4), но чтобы ее написать, надо было немало потрудиться. Мы убеждены, что данная небольшая монография — лишь начало пути, по которому должны пойти будущие исследователи этой большой, благородной и благодарной темы. В нашу эпоху русским языком интересуются во всем мире. И филологи должны не только знать, как изучается русский язык в разных странах, но и посильно помогать этому изучению. В свое время В. И. Ленин подчеркивал, что русское слово *совет* понимают все народы мира, а в наши дни проникновенный поэт А. Твардовский заметил:

Звучат во всех концах планеты
Без перевода, как Москва,
Большевики, Октябрь, Советы,
Мир, спутник — русские слова [11].

Р. А. Будагов, А. А. Брагина

---

[10] Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе, М.—Л., 1947.

[11] Несколько библиографических дополнений, которые могут быть учтены при подготовке нового расширенного издания книги: М. П. А л е к с е е в, Словарные записи Фр. Энгельса к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику», «Труды Третьей всесоюзной пушкинской комиссии», М.—Л., 1953; М. И. С л у х о в с к и й, Из истории книжной культуры России, М., 1964; сб. «Шекспир и русская культура», М.—Л., 1965; Б. В. Т о м а ш е в с к и й, Пушкин и Франция, Л., 1960; Е. П. М а р т ь я н о в а, Об отражении русско-французских культурных связей во французском языке и литературе XIX века, Харьков, 1960; А. А. К а с а т к и н, Новые слова русского происхождения в итальянском языке, «Уч. зап. [ЛГУ]», Серия филол. наук, 18, 1952; В. В. Р а х м а н о в, Русская литература в Испании, сб. «Язык и литература», 5, 1930; А. С. П о д р у г и н, Русский язык в странах Латинской Америки, «Р. яз. в нац. шк.», 1973, 4; В. И. Ч у ч м а р е в, Об изучении Дени Дидро русского языка, ВФ, 1953, 4; П р о с п е р М е р и м е, Статьи о русских писателях, М., 1958; В. С. Л ю б л и н с к и й, Книга в истории человеческого общества, М., 1972 (особенно глава «Библиотека Вольтера»); сб. «Взаимосвязи и взаимодействия литератур мира. Библиография», М., 1968; В. Ф. Ш и ш м а р е в, Русская литература во Франции, в кн.: «Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева в архиве Акад. наук СССР», М.—Л., 1965, стр. 154—201; Е. В. О п е л ь б а у м, Восточнославянские лексические элементы в немецком языке, Киев, 1971; М. Б о н е в, Влияние русского языка на язык и стиль болгарских писателей и публицистов в конце XIX и в начале XX веков, в кн.: «Славистични изследования», София, 1973; E. P e r u z z i, Dizionario sovietico, Milano — Firenze, 1946; J. W h a t m o u g h, Language, London, 1956, стр. 59—62.

И. К. Белодед. **Язык и идеологическая борьба.** — Киев, «Наукова думка», 1974. 88 стр.

Книга акад. И. К. Белодеда под указанным названием вышла недавно в редакции научно-популярной литературы центрального научно-академического издательства Украины. Тот факт, что работа на столь актуальную тему появилась в разделе научно-популярных изданий, — явление весьма примечательное и отрадное. Ученые нашей страны самых различных отраслей знаний все шире и шире вовлекаются в разнообразные формы популяризаторской деятельности, выполняя тем самым свой первейший долг перед народом в деле распространения научных знаний.

Содержание книги И. К. Белодеда представляет интерес не только для филологов, но и для самого широкого круга читателей. В ней рассматриваются вопросы развития национальных языков народов СССР в тесной связи с идеологической борьбой на современном этапе. Автор привлекает богатый и убедительный материал для показа и раскрытия основных особенностей языковой жизни нашей многоязычной страны, в которой «националь-

ные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения»[1].

Через всю книгу красной нитью проводится тезис о единстве идейно-методологических, идеологических принципов развития национальных языков в советском обществе, которые основываются на взаимосвязи, взаимовлиянии и взаимообогащении языков, что приводит к выработке элементов общности в их развитии.

Многообразие языков в нашей стране не должно противодействовать созданию идеологического единства. А. М. Горький, основываясь на этом кардинальном положении, говорил: «Не надо забывать, что наша страна разноязычна неизмеримо более, чем любая из стран Европы, и что, разноязычная по языкам, она должна быть идеологически единой»[2]. Автор книги не только приводит эти основополагающие высказывания, но всем содержанием книги показывает их реализацию в нашем обществе, раскрывает претворение в жизнь идей братского содружества и взаимопомощи в развитии национальных языков СССР, их важную роль в идеологической борьбе советского народа.

Большое внимание уделяется в книге вопросу о значении русского языка, ставшего языком межнационального общения и единения народов Советского Союза, раскрытию его роли в развитии и усовершенствовании национальных литературных языков. Говоря об основных этапах развития литературных языков (особенно русского и украинского), автор тесно связывает вопросы развития языков с закреплением их в литературе, анализирует деятельность выдающихся мастеров художественного и публицистического слова.

Книга И. К. Белодеда проникнута духом коммунистически-партийного подхода к рассматриваемым вопросам; обращается ли автор к прошлым этапам развития языков и литератур, говорит ли о фактах и явлениях сегодняшнего дня — всякий раз неизменно присутствует классовая позиция, классовая оценка, постоянно прослеживается методологическая опора на марксистско-ленинскую теорию.

Остановимся кратко на композиции рецензируемой книги и содержании ее глав.

Первая из трех глав «Язык и идеологическая борьба» (стр. 3—47), заглавие которой послужило общим названием книги, занимает и по объему (половина книги), и по содержанию центральное место. Здесь автор последовательно и убедительно показывает ту важную особенность общественного функционирования языка, «что он с давних времен своего существования в классовом обществе является и орудием, и объектом идеологической борьбы» (стр. 3). Примером этой идеологической борьбы в истории культуры была борьба за утверждение народно-разговорного языка в письменности, за доступность письменного литературного языка трудовому народу; достаточно вспомнить длившуюся многие годы борьбу народов, их лучших представителей в процессе замены латыни, церковнославянского языка как языков средневековой книжности, учености родными языками ряда народов Европы, в том числе славянских, утверждение литературных языков этих народов на базе живых языков.

Автор в связи с этим пишет: «Реакционные силы общества, в частности из церковно-религиозных сфер, всячески мешали развитию языка, письменности, языка литературного на народно-разговорной основе, стремясь и этим сохранять свои господствующие позиции в духовной жизни народа, не дать в его руки такого могущественного орудия борьбы против невежества, мракобесия, борьбы за социальный прогресс и культуру народа, как литературный язык» (стр. 3).

Однако и в последующее время, в период, когда сформировались и утвердились новые литературные языки, в частности русский и украинский, накал борьбы за язык как орудие развития, прогресса не ослабевал. В первой главе автор книги останавливается на роли М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина и др. в истории становления русского литературного языка, говорит об их борьбе против бюрократизации, засорения языка, об их великом вкладе в развитие, усовершенствование русского языка; отмечает боевой стиль и роль в борьбе против реакции революционеров-демократов Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Т. Г. Шевченко и др.

Страницы истории украинского литературного языка, как справедливо указывает автор книги, отмечены активной борьбой И. П. Котляревского, Т. Г. Шевченко и их последователей за поступательный ход развития родного языка, против упрощения, националистической архаизации, языковой замкнутости. В частности, «Т. Г. Шевченко давал решительный отпор тем реакционным силам общества, которые старались направить развитие украинской письменности по пути хуторянской ограниченности, примитивизма. Т. Г. Шевченко глубоко понимал значение языковых ценностей других народов для развития своего родного языка» (стр. 4—5). Заветы великого кобзаря осуществляли И. Франко, Л. Украинка, М. Коцюбинский и др.

Более подробно рассматриваются в книге вопросы развития национальных язы-

[1] «Программа КПСС», М., 1964, стр. 115.

[2] М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., 1953, стр. 663.

ков в новое время, в советском социалистическом обществе; особенно подчеркивается основополагающее значение теоретических трудов и практической деятельности В. И. Ленина, прослеживается борьба Коммунистической партии за претворение в жизнь ленинских принципов национально-языкового строительства в нашей стране. Естественно, И. К. Белодед наряду с рассмотрением особенностей развития различных языков наций и народностей СССР большое внимание уделяет освещению языковой практики украинского народа в советское время, дает обстоятельный обзор развития и успехов языковедческой науки в Украинской ССР.

Убедительно показано, что именно в послереволюционный период украинский язык обогатился во всех своих стилях, стал языком широкого функционирования в сфере просвещения, науки, культуры, «вошел в число самых развитых языков мира, отражая современное состояние цивилизации, усовершенствовав средства выражения достижений социального и научно-технического прогресса человечества. В своем движении вперед он глубоко использовал богатства и творческую помощь русского языка, с которым находился и находится в неизменных, обусловленных общностью происхождения и всего исторического развития творческих контактах» (стр. 10). Говоря об изменениях в украинском языке, автор больше всего фиксирует внимание на тех его уровнях, где особенно интенсивно протекают процессы обогащения, где заметнее и быстрее отражается влияние новых общественных условий (лексика, особенно терминологическая, фразеология и др.). Автор при этом не обходит вниманием имевшие место в ряде случаев отрицательные факты, проявления тенденций исказить лексику, терминологию, синтаксис, правописание украинского языка, «попытки националистических элементов навязать ему чуждые тенденции архаизации, упрощения, направить его развитие в сторону от развития русского языка и языков других социалистических наций СССР, от живого языкотворчества народа, от науки и культуры» (стр. 10—11); разоблачаются попытки исказить языковую ситуацию в Украинской ССР (стр. 22 и сл.).

Автор книги останавливается на критике языковой политики в капиталистических странах, направленной на подавление языков угнетенных народов; здесь же говорится о средствах и методах языковой маскировки в идеологической борьбе, применяемых пропагандистским аппаратом США и других стран (стр. 13 и сл.). В противовес этому автор книги показывает (стр. 25—47), что основой языкового развития в СССР является братское содружество и взаимопомощь, что соответствует господствующей идеологии социалистического интернационализма; советский народ представляет собою новую историческую общность людей, многонациональное единство, сплоченное марксистско-ленинской идеологией. «Многообразие национальных языков народов с едиными принципами развития, при сочетании наличия этого многообразия с действием языка межнационального общения, представляет собой одну из характерных черт этой общности» (стр. 32). И. К. Белодед останавливается на таких особенностях языковой жизни в СССР, как отсутствие какого бы то ни было межнационального антагонизма, обеспечение престижа языков всех народов страны, расширение языковых контактов, усиление их взаимодействия, создание общего фонда социалистических интернационализмов и др. (стр. 26—32).

Первая глава книги охватывает широкий и многообразный материал; она весьма разнопланова, поскольку автор рассказывает и об общих вопросах языковой жизни народов СССР, и дает конкретные, яркие примеры развития и взаимодействия русского, украинского и других языков, анализирует работу языковедов и останавливается на творчестве писателей, критиков, переводчиков. Но эта разноплановость свидетельствует о богатстве фактов, наблюдений и представляется не недостатком, а заслугой автора, который умело собрал воедино и логично рассмотрел под единым углом зрения обширный материал.

В главе второй «Литературный язык и стандартность» (стр. 48—72) говорится о большом значении пятитомного исследования «Сучасна українська літературна мова» (Київ, «Наукова думка», 1969—1973), которое признается важным этапом науки об украинском языке и важным событием культурной жизни. Отмечается, что этот впервые осуществленный в украинском языкознании фундаментальный труд явится большим стимулом в дальнейшем расширении научных исследований, а также в улучшении качества преподавания современного украинского литературного языка в средней и высшей школе.

Говоря о понятии современности применительно к литературному языку, автор напоминает, что в этом случае подразумеваются такие черты, как отработанность и проверенность языка практикой общения, способность охватывать и передавать нынешний уровень знаний, полифункциональность, наличие научно обоснованных, отвечающих современным требованиям, отшлифованных общественно-языковой практикой норм и их вариантов во всех сферах языка.

В этой главе основное внимание автор уделяет выяснению содержания таких понятий как «литературный (нормализованный) язык», «языковой стандарт», «стандартный язык», «стандартность языка», отмечая, что первый термин («лите-

ратурный язык») как обозначение нормированной, обработанной формы языка более традиционен, другие же (названные здесь) появились недавно. Употребляются последние то как синонимические названия, существующие параллельно и равноправно с предыдущим, то как якобы более точные и с претензией на замену термина «литературный язык». Рассмотрев точки зрения отдельных ученых, И. К. Белодед соглашается с мнением Ф. П. Филина, высказавшего возражения по поводу введения термина «стандартный язык» по крайней мере на русской почве, хотя автор и отмечает, что следует принимать во внимание не только переносное значение слова «стандартный», но и прямое («типовой, созданный по образцу, модели»).

Добавим от себя, что принимать во внимание указанное обстоятельство, конечно, надо, но от этого известная «ущербность» термина «стандартный язык» (по крайней мере применительно к толкованию его на русской основе) не уменьшается, поскольку литературный язык любого народа оригинален, а его оригинальность, неповторимость и своеобразие никак не согласуется с шаблоном и стандартной трафаретностью. Впрочем, И. К. Белодед в итоге справедливо пишет следующее: «Итак, по нашему мнению, „литературный язык“ и „стандартный язык“ — понятия близкие, но не тождественные, не синонимические: первое значительно шире второго. Нормализованность, конечно, характерна для обоих понятий, но уровень их стандартности не одинаков. В литературном языке норма стремится к стабильности» (стр. 52). И далее: «Нормативность не обедняет язык, а наоборот, отшлифовывает его для выполнения многообразных общественных функций. Однако в понятии „литературный язык“ стабильность гибка: она допускает функциональные варианты, тогда как стандартный язык, как правило, стремится к однозначности, безвариантности, однотипности» (там же). Этот вывод, на наш взгляд, является очень существенным: он делается автором на основе изучения и обобщения многих работ, наблюдений целого ряда отечественных и зарубежных ученых (см. стр. 50—54, где есть соответствующие ссылки на работы В. В. Виноградова, Б. Гавранка, Ф. П. Филина, М. Мартине, И. Р. Гальперина, Н. И. Толстого и др.).

Наибольшая степень стандартности, по мнению И. К. Белодеда, присуща научно-техническому языку («подъязыку»), официально-деловому языку, разным кодовым системам и т. д., тогда как «стили словесно-художественный, публицистический, эпистолярный, устной коммуникации и т. п. имеют лишь определенную степень стандартности при полной нормализованности, с ее вариантами, что и создает оригинальность, красочность выражения, поливалентность, смысловую и эстетическую многогранность национального литературного языка» (стр. 52—53).

Автор отмечает вклад в разработку всех этих вопросов целого ряда украинских языковедов (Л. Л. Гумецкой, В. М. Русановского, М. А. Жовтобрюха и др.), приводит интересные примеры развития кодификации в процессе употребления письменного украинского языка в разные периоды его истории — от «Граматыки словенской» И. Ужевича 1643 г. до «Сучасної української літературної мови» 1969—1973 гг., дает образцы устойчивости некоторых форм и моделей за период почти в 200 лет. Здесь же отмечаются исследования украинских и русских ученых дореволюционного времени, которые «создали ряд выдающихся работ об украинском языке, многие выводы из которых творчески восприняты и советским языкознанием» (стр. 57).

Особо анализируется фундаментальный пятитомный труд «Сучасна українська літературна мова». Этот коллективный труд подготовлен научными сотрудниками Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР с привлечением ведущих лингвистов университетов и педагогических институтов республики под общей редакцией и при соавторстве И. К. Белодеда.

И. К. Белодед указывает, что научная концепция этого издания предусматривает «подробный анализ всех уровней системы современного украинского литературного языка, его норм, стандартов, вариантов норм, тенденций и динамики развития определенных черт и явлений под влиянием практики функционирования языка..., в его творческом стремлении к удовлетворению современных социальных и эстетических нужд языковой коммуникации, а также требований развития науки, техники, культуры, просвещения, к освоению ценностей других языков, прежде всего русского, с которыми украинский язык находится в многогранных контактах» (стр. 64). Автор книги рассматривает реализацию этих установок во всех частях пятитомного исследования.

В заключительной главе «Традиция и современность» показано, какое место занимает украинский язык в исследованиях выдающегося советского языковеда акад. В. В. Виноградова, который продолжал и развивал идеи акад. А. А. Шахматова о языке как важной составной части истории культуры народа, в связи с чем историю русского литературного языка В. В. Виноградов рассматривал в свете не только истории русского народа, но и истории близкородственных восточнославянских народов. Такая важная отрасль лингвистики, как история литературных языков, своим становлением и развитием обязана во многом, как отмечает исследователь, трудам и ряда

других советских ученых (С. П. Обнорского, Л. А. Булаховского, занимавшегося разработкой истории русского и украинского литературных языков, Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура).

Анализируя целый ряд трудов В. В. Виноградова («Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития», М., 1967; «Основные вопросы изучения современных славянских литературных языков»—«Вестник МГУ», Серия общественных наук, 3, 7, 1949; «Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи», М., 1963, и др.), И. К. Белодед показывает большое значение трудов ученого в освещении вопросов истории украинского языка и его контактов с русским языком, отмечает важную роль исследований В. В. Виноградова о творчестве Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголя, высказывает интересные соображения относительно такой темы по истории языковедческой науки, как «В. В. Виноградов и А. А. Потебня».

Говоря о значении трудов В. В. Виноградова по украинскому и другим восточнославянским языкам, автор книги приходит к следующему выводу: «Материалы украинского языка являются одним из основных компонентов в построении его общеславянской историко-литературной языковой концепции, а это не замедлило сказаться также в ряде других направлений его исследований — таких, как история русского литературного языка, грамматические штудии, наука о языке художественной литературы, в частности стилистика языка и речи, наука о культуре речи в широком плане. Работы академика В. В. Виноградова о восточнославянских языках (особенно его книга „Великий русский язык") характеризует его как талантливого и глубокого исследователя истории русского, украинского, белорусского народов, общей исторической судьбы в их борьбе и стремлениях, в строительстве новой жизни» (стр. 86).

В данной главе уделяется внимание и освещению многогранной научно-организационной деятельности В. В. Виноградова, немало сделавшего для развития всего многонационального советского языкознания. В этой связи (как на известное упущение) укажем на то, что следовало бы отметить и роль В. В. Виноградова как организатора и многолетнего руководителя общесоюзного Научного совета «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», а также как инициатора (вместе с С. И. Ожеговым) разработки весьма важной социолингвистической проблемы «Русский язык и советское общество». В исследование этой проблематики заметный вклад внесли и вносят и украинские лингвисты (это работы в первую очередь самого И. К. Белодеда, а также Г. П. Ижакевич, В. В. Ильенко, В. Т. Коломиец и др.).

И. К. Белодед справедливо говорит о том, как заботливо интересовался В. В. Виноградов различными сторонами деятельности украинских филологов. Добавлю к тому, что сказано в книге, следующее. Виктор Владимирович, пристально следя за успехами украинских ученых, поддерживая и консультируя их, не стеснялся, когда следует, и покритиковать слабые стороны некоторых работ со свойственными ему откровенностью и прямотой. Так было, например, в середине 50-х годов, когда он обратил внимание на появление отдельных невысокого качества работ лингвостилистического характера на Украине. Автору этих строк посчастливилось ряд лет сотрудничать, постоянно общаться с В. В. Виноградовым и пришлось в тот период быть свидетелем его бесед на эту тему, бесед благожелательных, но в то же время требовательных и взыскательных.

Заключая рецензию, хочется еще раз подчеркнуть, что И. К. Белодед исследовательские темы всякий раз органически увязывает с запросами жизни, с насущными требованиями современности. Так, надо отметить постоянное внимание автора к вопросам преподавания языковедческих дисциплин в средней и высшей школе; в различных местах книги речь идет об учебной и научной литературе по языкознанию, об улучшении подготовки кадров, о роли ученых в повышении уровня преподавания; автор касается вопросов методики преподавания языков, проявляет большой интерес к научно-методической стороне русско-украинского языкового взаимодействия. При чтении этой работы все время ощущается неразрывная связь в изложении вопросов большой науки и актуальных задач практики; тем самым и на этот раз (как и в предыдущих своих трудах) И. К. Белодед предстает перед читателем не только как крупный ученый-филолог, но и как виднейший деятель культуры и народного образования (несомненно, здесь сказывается то, что автор многие годы и весьма плодотворно работал в системе народного образования, возглавлял Министерство просвещения УССР).

Советским лингвистам принадлежит приоритет в разработке проблемы «Язык и идеология». Выход в свет рецензируемой работы является еще одним свидетельством продолжающейся успешной разработки этой проблематики. Появление книги И. К. Белодеда, посвященной столь актуальной теме, имеет большую научную и познавательную ценность.

И. Ф. Протченко

А. М. Рот. **Венгерско-восточнославянские языковые контакты.** — Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973. 573 стр.

Работа А. М. Рота представляет собой первое значительное научное исследование в области венгерско-славянских контактов. Опираясь как на собственные наблюдения, так и на работы советских лингвистов, А. М. Рот убедительно доказывает, что в истории венгерского языка имели место широкие контакты с восточнославянскими языками, оказавшие, подобно контактам с южно- и западнославянскими языками, глубокое влияние на развитие и словарный состав венгерского языка.

Книга А. М. Рота состоит из введения, трех глав, в которых затрагивается история вопроса, рассматриваются лингвистические источники и устанавливаются принципы этимологического анализа, а также пяти глав, посвященных обстоятельному анализу венгерско-славянских контактов на протяжении почти двенадцати столетий.

Автор считает наиболее важным при изучении языковых контактов детальное исследование конкретных явлений взаимодействия различных языков и диалектов (стр. 21). Во введении (стр. 13—25) эксплицируются основные понятия и положения монографии. Так, возражая против объяснения младограмматиками и их последователями развития языка на основе принципов линейной каузальности, А. М. Рот утверждает, что «развитие языка обеспечивается сложным механизмом взаимодействия ряда внутрилингвистических и внеязыковых факторов» (стр. 14). Среди внеязыковых факторов исследователь называет лингвистическую интерференцию, под которой понимает результат языковых контактов. Нам представляется, что под языковой интерференцией следует понимать не только результат изменения языковой нормы под влиянием элементов других языков, но и сам процесс такого изменения[1].

Первая глава (стр. 27—91) монографии представляет обстоятельный критический обзор истории исследовательской работы в области венгерско-славянских контактов. Можно согласиться с мнением рецензентов[2], считающих, что мысли А. М. Рота о принципах этимологизирования венгеризмов в славянских языках и славянизмов в лексике венгерского языка (с древних времен, т. е. начиная с так называемого «наивного» этимологизирования, вплоть до научного этимологизирования XVIII—XIX вв.) являются оригинальными, интересными и научно обоснованными.

Автор старается отбросить все ненужное, устаревшее и в то же время выделить рациональное зерно в работах своих предшественников. Указывая на заслуги Й. Добровского, который первым отметил, что многие славянизмы были заимствованы венграми до прихода в Паннонию и Карпатский бассейн (до 896 г., т. е. в то время, когда они жили вместе с восточнославянскими племенами на территории южной части России и Украины), А. М. Рот констатирует, что Й. Добровский эту мысль ничем не аргументировал (стр. 34). Внимательно анализируя споры о происхождении славянских заимствований в венгерском языке в трудах О. Ашбота, Я. Мелиха, И. Книежи, Б. Мункачи и др., автор считает, что полемика О. Ашбота (1852—1920) и Б. Мункачи (1860—1937) привела к появлению плодотворной мысли Б. Мункачи о том, что большое количество славянизмов было заимствовано венграми еще до обретения ими родины. К сожалению, догадка Б. Мункачи не была аргументирована и осталась почти неизвестной науке. Шагом вперед в этом отношении следует считать утверждение Я. Мелиха, что источником славянизмов в лексике венгерского языка послужили различные славянские языки. В книге И. Книежи (1895—1965)[3] дается основательный научный анализ славянизмов венгерского языка, хотя, по справедливому замечанию проф. К. Е. Майтинской[4], в указанной работе автор в $^2/_3$ этимологий не дает конкретной информации о том, из какого славянского языка они были заимствованы венгерским языком. В то же время автор в некоторых случаях дает ошибочные этимологии, не соответствующие современному уровню науки. И. Книежа пишет о данных словах лишь то, что они заимствованы из какого-то славянского языка, А. М. Рот же указывает на то, что в большинстве случаев можно установить их происхождение из украинского языка.

Ошибкой И. Книежи и его учеников следует считать также игнорирование материала диалектов, тогда как А. М. Рот использует в своей работе не только литературный, но и диалектный материал многих древних и современных языков, что придает его работе особую убедительность.

Заканчивая критический анализ большого числа работ, посвященных изучению

---

[1] Ср.: J. Juhász, Probleme der Interferenz, Budapest, 1970.

[2] Zimomrja M., Bobinec Sz., Egy értékes kiadványról, «Kárpáti Igaz Szó», 14 III 74.

[3] См.: Kniezsa J., A magyar nyelv szláv jövevényszavai, Budapest, 1955.

[4] Maitinskaja K. E., Új mű a magyar-keleti szláv nyelvi kapcsolatokról, «Kárpáti Igaz Szó», 25 XII 73.

истории венгерско-славянских и славяно-венгерских языковых контактов, автор отмечает, что лингвистам так и не удалось установить истинную картину венгерско-восточнославянских межъязыковых связей (стр. 90) вследствие ошибочности исходных позиций историографии, долгое время вообще не признававшей существование венгерско-восточнославянских контактов. Даже величайшие исследователи не могли освободиться от ошибочной концепции историков, неправильно оценивавших экстралингвистические факторы.

Вторая глава книги (стр. 93—101) представляет собой перечень огромного количества лингвистических источников, использованных автором. Это диалектологические и региональные словари, рукописи, венгерские документы XVI—XIX вв., собственный диалектологический материал, собранный в 18 населенных пунктах Закарпатья, произведения различных жанров венгерской литературы, материалы венгерских газет и журналов 1917—1967 гг., материалы многочисленных картотек.

Третья глава (стр. 103—161), посвященная этимологическому анализу восточнославянских элементов в лексике венгерского языка, является одной из самых значительных теоретических частей монографии. Она и вне данной работы представляла бы большую ценность. В то время как некоторые лингвисты говорят о кризисе традиционной этимологии, А. М. Рот дает блестящий образец этого «искусства» (ср.: «etymologica ars est» — стр. 104) и смело опровергает остроумный, но неверный афоризм А. Мейе, согласно которому все хорошие этимологии уже выведены, а не найденные до сих пор не являются достоверными. А. М. Рот выделяет три аспекта этимологического исследования: генетический, ареальный (или маргинальный) и типологический, каждый из которых в большей или меньшей степени требует привлечения экстралингвистических факторов. Так, доказательством того, что слово *borona* «борона» в венгерском языке восточнославянского, а не южнославянского происхождения, автор видит и в том факте (помимо внутрилингвистических факторов), что в период контактов с восточнославянскими племенами для венгров был характерен такой тип земледелия, при котором применялась б о р о н а (стр. 106).

Выделив шесть внутриязыковых (семантический, фонетический, лингвогеографический, морфологический, словообразовательный и хронологический) и шесть экстралингвистических (данные археологии, истории, антропологии, этнографии, фольклора и психологии) критериев, автор подробно останавливается на каждом из лингвистических критериев. Интересными и новыми можно считать наблюдения исследователя. Отмечается, в частности, что венгерский язык применял в процессе ассимиляции славянизмов эпентезу для устранения скопления согласных в начале слова лишь тогда, когда корневой гласный заимствования характеризовался неверхним подъемом (например, др.-русск. *кречетъ* > венг. *kerecset*).

Метатеза же использовалась в тех случаях, когда корневой гласный характеризовался верхним подъемом, например, слав. *ključ* > венг. *kulcs* (стр. 138—139) и т. д.

Необходимость учета лингвогеографических критериев, по мнению автора, становится особенно очевидной в тех случаях, когда фонетические и семантические критерии не дают возможности для установления источника венгерских славянизмов, когда необходимо глубже раскрыть результаты языковой интерференции на различных уровнях контактирующих языков (стр. 143).

При решении вопроса о том, «заимствованием какого языка следует считать ту или иную лексему,— языка, из которого она непосредственно заимствована или проникла (т. е. языка-посредника.— *Й. Б.*) или языка, к которому генетически восходит» (стр. 152),— А. М. Рот предлагает опереться на теорию глобального этимологического анализа А. Граура, которая дает возможность отличать исторический источник заимствования от генетического (стр. 154).

Четвертая глава «Древневенгерско-древнерусские маргинальные и интрарегиональные языковые контакты» (стр. 161—254) рассматривает самые ранние свидетельства о наличии таких контактов. Исследования А. М. Рота позволили внести поправки как хронологического, так и фактического характера в те сведения, которые имелись до сих пор. Так, автору удалось доказать, что пребывание венгров на территории Башкирии было менее продолжительным, чем предполагали другие исследователи; что вплоть до обретения венграми родины (т. е. до 896 г.) их контакты с племенами восточных славян не порывались. Таким образом, эти контакты начались на 200 лет раньше, чем до сих пор было принято считать.

Автор тщательно анализирует те венгерско-восточнославянские контакты, которые относятся ко времени заселения Карпатского бассейна и Паннонии венгерскими племенами. В связи с этим А. М. Рот выделяет тематические группы лексики венгерского языка (из области земледелия, рыбной ловли, животноводства, этнонимии, гидронимии и духовной культуры и др.), заимствованные из древнерусского языка (стр. 195—248). Древнерусское происхождение большинства этих слов до сих пор не было известно. В процессе этимологизирования автор вскрывает много нового: например,

ему удалось установить до сих пор не зафиксированное время некоторых фонетических процессов (полногласия, лабиализации и т. д.).

Пятая глава «Старовенгерские маргинальные и интрарегиональные языковые контакты» (стр. 255—269) освещает вопросы, связанные с более поздними маргинальными и интрарегиональными контактами венгерской и восточнославянской этнических групп на новой территории Карпатского ареала и вопросы лингвистической интерференции этих контактов.

Шестая глава «Венгерско-украинские маргинальные и интрарегиональные языковые контакты» (стр. 271—364) представляет собой анализ лексико-семантических микроструктур различных тематических групп (названий профессий, административных органов; животных, рельефа местности; терминов экономики, политики, религии, духовной культуры; рыбной ловли и т. д.). Результатом многовековых венгерско-украинских контактов явилось не только заимствование большого количества лексических единиц, но и лингвистическая интерференция на других уровнях: фонетическом, фонологическом, синтаксическом, и словообразовательном.

Содержательная, интересная, богатая наблюдениями и выводами седьмая глава «Венгерско-украинский и украинско-венгерский билингвизм в Закарпатье (УССР)» (стр. 365—419) посвящена вопросам венгерско-украинского и украинско-венгерского билингвизма в Закарпатье. О сущности двуязычия по сей день не существует общего мнения среди лингвистов. Некоторые из них рассматривают билингвизм как одну из стадий языкового смешения, языкового скрещения. Подобный взгляд автор считает ошибочным при исследовании анализируемого явления. В отличие от своих предшественников, в работах которых психологический аспект билингвизма занимал доминирующее положение, автор основной упор делает на лингвистический аспект проблемы, привлекая психологические факторы лишь в той мере, в какой они могут помочь раскрыть характер билингвизма (стр. 368). С другой стороны, ученый считает необходимым исследовать еще один почти не изученный аспект проблемы: социальную значимость билингвизма.

В результате изучения работ других ученых, собственных наблюдений и анализа речевого материала А. М. Рот приходит к выводу, что собственно лингвистические пути развития двуязычия диктуются сложными процессами интерференции систем первого и второго языков (стр. 381—382), причем сила воздействия языковой системы одного языка на другой зависит как от типа билингвизма, интенсивности и динамики процесса интерференции, так и от действия других экстралингвистических факторов (стр. 382). Если билингв владеет обеими языками в совершенстве, явления интерференции выступают в меньшей степени, но даже в таких случаях билингв иногда использует целые словосочетания из другого языка.

Анализируя особенности венгерско-украинского и украинско-венгерского билингвизма на лексическом уровне, приводя статистические данные и сопоставляя результаты исследования, автор констатирует, что в последнее время несколько более сильное влияние украинского языка на венгерский (а не наоборот) проявляется особенно в области общественно-политических и административных отношений, что объясняется рядом экстралингвистических факторов.

В связи с анализом лексического уровня билингвизма автор затрагивает и некоторые теоретические и практические вопросы, связанные с калькированием.

Всестороннее изучение билингвизма, не только венгерско-украинского и украинско-венгерского, но и немецко-украинского, немецко-венгерского, румынско-украинского, румынско-венгерского и словацко-украинского, на всех языковых уровнях позволяет А. М. Роту сделать обоснованный вывод о том, что, в отличие от монолингвизма, в условиях билингвизма все уровни языков взаимопроницаемы.

Хотя, как уже было сказано, венгерско-восточнославянские контакты имеют многовековое прошлое, самые многосторонние связи между этими народами установились в XX в. Решающими были три события: 1) Великая Октябрьская социалистическая революция; 2) образование Венгерской Советской Республики в 1919 г. и 3) освобождение Венгрии от фашистских захватчиков в 1945 г. Немаргинальные венгерско-восточнославянские контакты являются предметом анализа восьмой главы «Венгерско-восточнославянские немаргинальные языковые контакты» (стр. 421—457). Большое внимание уделяется рассмотрению венгерско-украинских и венгерско-русских языковых контактов после Великой Октябрьской социалистической революции.

В конце монографии А. М. Рота приводится обширная библиография. Можно согласиться с мнением К. Е. Майтинской, подчеркнувшей в своей статье, что автор является хорошим знатоком советской и зарубежной литературы по изучаемой теме. Его работа обогащает не только русистику, но и общее языкознание и будет полезна специалистам как в области общей лингвистики, так и в области угрофинских и славянских языков.

Й. Бихари

V. Tauli. **Standard Estonian grammar.** Pt. I. — Phonology, morphology, word-formation. — Uppsala, 1973. 237 стр. («Acta Universitatis Upsaliensis», 8. — Studia Uralica et Altaica Upsaliensia)

В. Таули известен своими исследованиями по финно-угорским языкам и проблемам общего языкознания (тенденции языкового развития и его прогнозирование, языковые контакты); значительная часть его работ посвящена эстонскому языку.

Рецензируемая книга, несмотря на свою компактность, представляет собой одно из наиболее полных [1] описаний фонологического и морфологического уровней эстонского литературного языка. В то же время в ней отсутствует обсуждение проблемных аспектов эстонской грамматики и истории ее изучения: книга В. Таули не содержит новых данных или авторского осмысления известных фактов, но представляет собой новую манеру их изложения. В этом отношении ее можно сравнить с дескриптивным исследованием Р. Хармза [2]. Однако в отличие от последнего, построенного на материале идиолекта, книга В. Таули базируется на нормативном (ортологическом) словаре [3] и по объему сообщаемых о языке сведений приближается к типу грамматического справочника [4]. Но если в справочнике взаимосвязи единиц и взаимоотношения уровней языка эксплицитно не выступают в качестве организующего принципа подачи материала, то в рецензируемой работе имеется единая методическая основа. Сам автор называет применяемый принцип описания порождающим. При этом термин «порождение» используется им не в терминологическом смысле, а скорее как метафора: это порождение ориентировано не на объект, а на пользующегося эстонским языком или изучающего этот язык и реализуется в рамках традиционной для эстонской грамматики терминологии.

Несколько утрируя картину, это «порождение» можно, очевидно, представить себе следующим образом: лингвист, являющийся носителем эстонского языка, читает подряд ортологический словарь и по поводу каждого слова строит некоторые суждения фонологического и морфологического характера. Затем построенные им суждения систематизируются от звука к морфеме и сочетанию морфем. Следует отметить, что такая подача материала и от читателя требует организации его восприятия как «порождения».

Применение указанного принципа позволяет достичь максимальной компрессии описания при достаточной его полноте. Систематизация, или структурирование, самого описания осуществляется с помощью нумерации актов порождения (примеры см. на стр. 151), которая затем повторяется в словаре (индексе слов), приложенном к книге. При этом сам индекс слов можно рассматривать как побочный продукт предпринятого описания, поскольку в нем оказывается зафиксированной классификация лексем по типам чередования основ, типам словоизменения (склонения и спряжения) и словообразования. Таким образом, работа может быть прочитана от грамматики (от акта порождения) к слову и, наоборот, от слова — к акту порождения.

Книга, в соответствии с подзаголовком, состоит из трех разделов — «Фонологии», «Морфологии», «Словообразования», «Приложения» (стр. 199—200), краткой «Библиографии» (стр. 201—202) и «Индекса слов» (стр. 203—237).

Раздел I «Фонология» (стр. 13—33) содержит краткое описание звуков эстонского языка и его фонологической системы в целом. Значительное внимание уделено слогу как произносительной единице, которая характеризуется ударением (главным или второстепенным). В анализе эстонского ударения автор выделяет «легкие» и «тяжелые» слоги, которые противопоставляются друг другу чаще всего в одинаковых по составу формах генитива и партитива. Эти слоги могут иметь различную структуру (VCC, VC_1C_2, $VHSS$ и др.[5]):

---

[1] В отношении полноты охвата эстонского материала она может быть поставлена в один ряд с университетским изданием «Eesti keele grammatika», Tartu, I, 1—2 — 1963—1964; II — 1965; III — 1967 (ротапринт).

[2] R. T. Harms, Estonian grammar, Bloomington — The Hague, 1962.

[3] E. Muuk, Väike õigekeelsus-sõnaraamat, Stockholm, 1947; E. Nurm, E. Raiet, M. Kindlamm, Õigekeelsuse sõnaraamat, Tallinn, 1960.

[4] Ср., например: J. Valgma, N. Remmel, Eesti keele grammatika, Tallinn, 1970; Ö. Lavotha, Kurzgefasste estnische Grammatik, Wiesbaden, 1973.

[5] Условные обозначения: C_1, C_2 — квантитативное различение согласных, H — звонкая согласная, S — (p, t, k, s).

	«Легкий» слог	«Тяжелый» слог
VCC	G. *kapi* /kappi/ «чашки» (род. п.)	P. *kappi* /kappi/ (стр. 18)
VC₁C₂	G. *virna* «кучи, кипы» (род. п.)	P. *'virna*
VHSS	G. *tanki* /tankki/ «танка»	P. *'tanki* /'tannki/

Не меньшее внимание автор уделяет палатализации, описание которой дано в терминах дистрибуции звуков, причем выделяется палатализация на антропофонической основе («automatic», например: *pal'ju* «много», *võti* «ключ», *kaňnike* «фиалка») и фонологически релевантная (например, *kot't* «мешок», *pal'm* «пальма», *veški* «мельница»).

Фонологическая часть книги заканчивается подробной классификацией типов ударения в интернационализмах.

Центральное место в книге и по объему, и по существу занимает раздел II «Морфология» (стр. 34—115), целиком посвященный словоизменению. Здесь завершается построение метаязыка «порождающего описания» (§ 33—42) и полностью раскрываются возможности иерархического построения описания на основе принятого принципа.

В качестве ключевых понятий морфологического анализа принимаются лексическое значение и основа (stem) как его носитель; грамматическое (или структурное) значение и граммема [т. е. либо суффикс, либо изменение основы (*mägi* ~ *mäe*), либо нулевая граммема]; базовая форма — the base form (*mä-*), которая может быть исходным пунктом или результатом порождения (*mäe-*), и основная форма, которая не может быть порождена другой формой — the basic form (стр. 34—36). Сильная и слабая ступени огласовки корня (стр. 36—39) различаются на двух уровнях — фонематическом (*tõbi* — *tõve* «болезнь», *koda* — *koja* «сени») и просодическом, где сильной форме соответствует тяжелое ударение, а слабой — легкое (*kimp* — *kimbu* «узел», *'vakla* — *vagla* «червяк»).

Так, склонение имен (существительных и прилагательных) с помощью принятого метаязыка может быть задано комплексом формул:

Род. п. ед. ч.: (базовая форма — номинатив; суффикса нет); = ∅ граммема (Gen.— Nom.) — имена, оканчивающиеся на два одинаковых гласных или дифтонг (*-VV* или *-D*): *maa* «земля», *tee* «дорога», *puu* «дерево», *pea* «голова» (стр. 41).

-VC → *-Ca*: *ader* — *adra* «плуг», *'andev* — *'andva* «подача», *vapper* — *'vapra* «храбрый» (стр. 45).

После обобщения типов склонения имен (стр. 71—78) предлагается система правил для определения типа склонения по ряду формальных признаков склоняемого слова (стр. 78—79). Далее характеризуются степени сравнения прилагательных, склонение числительных и местоимений.

Описание глагольного словоизменения (стр. 90—113) осуществляется в терминах обычных для эстонской грамматики категорий и субкатегорий: лицо, время, наклонение, залог и т. п. с использованием таких элементов принятого в работе метаязыка как базовая форма (например, инфинитив на *-ma*), основа (например, основа имперфекта) и др. Акты порождения записываются так же, как в разделе, посвященном имени. Для образования причастия на *-v*: базовая форма (инфинитив на *-ma*) + суффикс (*-e* + *v*): *'kuulma* «слышать»— *'kuulev*, *'maksma* «платить»— *'maksev*.

В основе структуры раздела III «Словообразование» (стр. 116—198) лежит описание классов слов, которые порождаются деривационными суффиксами имен существительных (например, «глагольная основа + *-ja*»: *paluja* «проситель», *'laulja* «певец», *'mõõtja* «мерильщик»), прилагательных («именная основа + *kas*»: *edukas* «успешный», *kulukas* «дорогой», *'tõõkas* «прилежный»), глаголов («глагольная основа + *le*» → *'kauplema* «торговать», *kõnelema* «говорить», *arutlema* «соображать»), наречий («именная или глагольная основа + *kil*, *kile*»: *ninakile* «дерзко», *pilukil* «полуоткрыто», *avakil* «открыто»). Завершается раздел рассмотрением способов словосложения (стр. 174—192) и особенностей правописания сложных слов (стр. 193—198).

Если во II разделе, касающемся словоизменения, достигается максимальная полнота описания, и случаи, не подпадающие под то или иное общее правило, фиксируются в многочисленных исключениях, то «словообразовательное порождение» охватывает лишь те деривационные суффиксы, которые образуют значительные по объему группы производных слов.

В целом рецензируемая книга будет служить хорошим справочным пособием для тех, кто хочет систематизировать свои знания в эстонском языке. Кроме того, опыт такого описания, безусловно, инструктивен для общего языкознания, поскольку демонстрирует возможности одного из методов исследования языка — принципа «порождения», использованного в качестве приема описания.

Ю. Н. Караулов

Е. А. Земская. **Современный русский язык. Словообразование.** — М., «Просвещение», 1973. 304 стр.

Рецензируемая книга представляет собой систематическое изложение основных, прежде всего теоретических, проблем современного русского словообразования. Последние два десятилетия в отечественном языкознании характеризовались интенсивным изучением этого раздела науки о русском языке как в теоретическом, так и в практически-описательном аспектах; выкристаллизовалась проблематика, намечены основные пути и подходы к ее решению. Поэтому книгу Е. А. Земской — одного из наших ведущих специалистов в области словообразования — можно рассматривать как определенный итог большого периода исследований, отражающий достижения современной словообразовательной науки, как советской, так в значительной степени и зарубежной.

В самом начале книги автор обращает внимание на принципиальное различие между синхронным и диахроническим изучением словообразования, цели которых различны, как различно и содержание понятия производности слова в синхронии и диахронии. В дальнейшем это важнейшее противопоставление, определяющее подход к материалу, постоянно находится в центре внимания автора, который вместе с тем в ряде случаев показывает связь диахронических процессов с синхронно-словообразовательными свойствами производных слов (в этом свете полезно, например, рассмотрение понятий опрощения и переразложения, диахронических изменений степени членимости слова, стилистических ограничений в сочетаемости исконно русских и заимствованных морфем и др.). Впервые в систематических курсах современного русского словообразования система способов синхронного словообразования отмежевывается от традиционного выделения четырех способов — лексико-семантического, лексико-синтаксического, морфолого-синтаксического и морфологического. Эту классификацию, основанную в значительной степени на диахронических критериях, предлагается относить к диахронии (стр. 169—171).

Другое важное исходное положение книги: синхронное словообразование «изучает целые серии (ряды) одинаковым образом построенных слов» и поэтому занимается не «конкретной лексической индивидуальностью» слова, а тем общим, типовым, что отражено в его строении. Задача словообразования — «изучение семантики слова в связи с его строением» (стр. 10). Формальная и семантическая сторона производного слова рассматриваются в книге в неразрывном единстве. Даже в случаях типа *катать* — *кататься*, *радовать* — *радоваться* и т. п., которые в работах последнего времени нередко трактовались как пары с противоположным направлением производности по форме и по смыслу (глаголы без *-ся* по смыслу сложнее), автор склонен видеть бо́льшую семантическую сложность глаголов с постфиксом *-ся*. Последние с точки зрения словообразовательного анализа признаются «более сложными не только по форме, но и по смыслу: они содержат бо́льшее число значимых элементов (морфов); иными словами, способ подачи информации в таких словах, их внутренняя форма сложнее, чем у основ *катать* и *радовать*» (стр. 74); о большей же смысловой сложности глаголов типа *катать* можно, по мысли автора, говорить лишь с точки зрения лексической семантики. Тем самым справедливо обосновывается существование единой формально-смысловой производности в словообразовании.

«Серийность» производного слова предполагает, что значение морфем выявляется лишь в словах, входящих в двойные ряды соотношений (отвечающих «правилу квадрата»); только такие слова имеют первую (высшую) степень членимости и содержат полноценные морфемы. С этим положением связано и учение о степенях членимости слов, содержащих уникальные по форме и дефектные по смыслу морфемообразные отрезки (гл. III, особенно стр. 62—63).

Система понятий синхронного словообразования и морфемики получила в книге Е. А. Земской достаточно полное освещение. Остановившись на понятиях морфа и морфемы, на видах морфем русского языка, на соотношении членимости и производности основ и критериях производности с синхронной точки зрения, автор затем посвящает самую обширную главу книги (гл. IV) морфонологическим особенностям словообразования. Здесь введены такие важнейшие понятия морфонологии, как морфонема и субморф, и подробно рассмотрены морфонологические явления чередования фонем, интерфиксации, усечения производящих основ, наложения морфов, типы соотношения морфов одной морфемы и принципы отождествления морфем. То, что в книге широко представлена морфонология, — несомненное ее достоинство.

Полны по изложению и бесспорны по основным выводам главы, посвященные способам словообразования (гл. V), понятию словообразовательного типа и классификации типов (гл. VI). Обращает на себя внимание оригинальная разработка проблемы ограничений сочетаемости словообразовательных морфем (гл. VII); здесь рассмотрены ограничения семантического, формального, стилистического, лексического и собственно словообразовательного характера. В главе VIII,

посвященной понятию словообразовательной продуктивности, весьма плодотворным представляется разграничение (вслед за М. Докулилом) эмпирической и системной продуктивности и разработка признаков той и другой продуктивности применительно к словообразовательным типам. Основной характеристикой словообразовательных потенций типа с синхронной точки зрения оказывается его системная продуктивность, причем «обладающими высокой системной продуктивностью должны быть признаны типы: а) действие которых не имеет ограничений (...) в пределах определенного круга основ, б) не имеющие конкурентных синонимических средств или занимающие среди конкурентных средств ведущее место» (стр. 214). Понятия эмпирической и системной продуктивности используются далее при рассмотрении видов нарушения словообразовательных законов в окказионализмах (см. стр. 229).

В следующих главах речь идет о словах, образуемых для нужд определенного контекста и не являющихся принадлежностью системы языка. При этом противопоставляются так называемые «потенциальные слова» (гл. IX [1]) и «окказиональные слова» (гл. X), причем последние понимаются как слова, образуемые с нарушением действующих в языке законов словообразования [2].

Последняя, XI глава книги носит описательный характер и посвящена краткому, но систематическому рассмотрению конкретных словообразовательных средств основных частей речи. В силу ограниченности места это описание, естественно, неполно, а в силу отражения пристрастий автора к отдельным конкретным «участкам» словообразовательной системы (например, к различным экспрессивным усечениям вроде *уникал*, *синхрон*, см. стр. 261) — и не очень равномерно. И все же обзор этот, являющийся естественным завершением книги и воплощением изложенных в ней теоретических положений, отражает основные существенные словообразовательные особенности частей речи, их своеобразие.

В целом книгу Е. А. Земской отличает полнота затронутой проблематики, стройность и логичность изложения, убедительность выводов, подкрепленных разнообразным и интересным материалом современного словоупотребления. Но, наряду с этими неоспоримыми достоинствами, в книге можно заметить и отдельные неточности, не вполне ясные, а подчас и противоречивые высказывания. В значительной степени это объясняется объективными причинами — спорностью, неразрешенностью целого ряда актуальных вопросов русского словообразования и морфемики, и прежде всего словообразовательной морфонологии. Отметим несколько таких спорных моментов.

Проводимое в книге разграничение суффиксов и флексий основано не столько на их месте в слове, сколько на значении: «словоизменительные аффиксы служат для выражения грамматических значений, словообразовательные аффиксы — для выражения неграмматических значений» (стр. 28); «словоизменительные постфиксальные морфемы называют флексиями, или окончаниями», а словообразовательные постфиксальные морфемы — суффиксами (стр. 30). Таким образом, никаких иных суффиксов, кроме словообразовательных, автор не допускает; не говорится в книге и о возможности существования грамматических значений, выражаемых несловоизменительными средствами. В этой связи неясно отношение автора к категории вида и способам ее выражения. На стр. 27 значение глагольного вида признается грамматическим. Естественно тогда считать постфиксальные средства его выражения флексиями. Однако на стр. 33 говорится, что *-ыва(ть)* — суффикс, а на стр. 290 вновь речь идет о связи внутриглагольного суффиксального словообразования с образованием «форм вида», на основании чего автор даже отказывается от рассмотрения этих суффиксов в словообразовании. Но как это согласуется с отрицанием существования несловообразовательных суффиксов? Представляется, что место в слове — не менее важный критерий для разграничения видов аффиксов, чем их значение.

Характеризуя так называемые унификсы, автор в качестве первого их отличия от корневых и аффиксальных морфем указывает на то, что они не являются строительным материалом для образования новых слов, а лишь вычленяются из состава готовых слов, которые не могут производиться в речи, а только воспроизводятся (стр. 54). Но, во-первых, этими же свойствами обладают аффиксы непродуктивных словообразовательных типов, так что нельзя считать данные свойства присущими только унификсам (по-видимому, дело не в них, а в других специфических чертах унификсов, о которых речь идет далее в книге); во-вторых, на стр. 58—59 говорится как раз о противоположном — о том, что унификсы нередко употребляются для создания речевых новообразований разного рода, а иногда даже новых терминов.

[1] Название этой главы — «Слова реальные и слова потенциальные» — вряд ли удачно, поскольку из него следует, что потенциальные слова нереальны, фиктивны; между тем они потенциальны только для языка, но не для речи.

[2] Наряду с таким пониманием соотношения потенциальных и окказиональных слов, возможно и другое, с нашей точки зрения, предпочтительное (см.: В. В. Лопатин, Рождение слова, М., 1973, стр. 70—71).

На стр. 56 читаем, что в словах типа *стеклярус* унификсу (в данном случае *-арус*) «нельзя приписать значения, выражаемого в данном языке аффиксально». С этим можно не согласиться, если учесть, что в русском языке имеются аффиксы, несущие самое общее значение отношения предмета к другому предмету (например, очень продуктивный суффикс *-ник*, общее словообразовательное значение которого нельзя сформулировать конкретнее). Подобное значение («нечто, имеющее отношение к стеклу») вполне можно приписать отрезку *-арус* в слове *стеклярус*. Поэтому будет, по-видимому, правильнее усматривать различие степеней членимости слов с унификсами типа *поп-адья* и типа *стекл-ярус* не в возможности (невозможности) приписать унификсу какое-либо аффиксальное значение, а в степени абстрактности приписываемого значения.

Уникальные элементы слов (унификсы и «уни-радиксоиды») трактуются как встречающиеся лишь в одном слове (см. стр. 53, 62). Это неточно: ср., например, *стеклярус* и *стеклярусный* (с унификсом *-арус*), *смородина* и *смородиновый* (с «уни-радиксоидом» *смород'*-). Уникальность всех подобных элементов — не в том, что они встречаются только в одном слове, а в том, что они встречаются (возможно, и в разных словах) в сочетании только с одной морфемой основы.

В главе о морфонологии словообразования удивляет брошенное вскользь (в сноске на стр. 77) примечание: «Ударение также относится к области морфонологии. Однако в русском языке ударение не играет важной роли в словообразовании. Поэтому в настоящей работе оно не будет рассматриваться». Примечание это дезориентирует читателей. Вопреки сказанному в нем, ударение (и прежде всего типы акцентной соотносительности производного и производящего слов) — одна из центральных морфонологических проблем русского словообразования. Отсутствие сведений об ударении следует причислить к недостаткам книги.

Не кажется удачным с терминологической точки зрения противопоставление «грамматических (или морфологических, традиционных) чередований» и «позиционных (или фонетических) чередований», которые, как отмечает автор, лучше называть «позиционными изменениями звуков» (стр. 78—79). Ведь здесь же (см. стр. 78, 80, а также 163 и др.) неоднократно указывается, что и грамматические чередования обусловлены позицией, только позицией «не фонетической, а грамматической» (стр. 80). Те и другие чередования, следовательно, позиционны, различен лишь характер позиций.

В связи с явлением чередования гласных с нулем звука автор касается понятия «глубинной структуры». «Морфонологическая структура основ», элементом которой является морфонема «гласная — нуль», трактуется здесь как глубинная структура, «являющаяся своего рода абстракцией», и противопоставляется фонологической структуре основ как «структуре поверхностной, доступной непосредственному наблюдению» (стр. 109). При такой трактовке встает вопрос о границах понятия глубинной структуры, столь популярного ныне в работах по словообразовательной морфонологии, но крайне расплывчатого по содержанию. Непонятно, почему морфонема, или ряд чередующихся в пределах одной и той же морфемы фонем, признается понятием глубинным, недоступным наблюдению. Почему, например, известный факт зависимости (хотя и не абсолютной) выбора префиксального морфа с конечной фонемой *о* или без нее от наличия в последующем корне беглого гласного (ср. *подобрать*, но *подбросить* и т. п.) следует интерпретировать как глубинный? Кстати, если уж говорить о непосредственном наблюдении, то и такие единицы, как фонема (а значит, и фонологическая структура основ), морфема (как совокупность морфов), слово (как совокупность словоформ), тоже представляют собой абстракцию. Не следует ли и их относить к глубинным структурам? Целесообразность столь широкого применения этого понятия далеко не очевидна.

Вызывает возражение и трактовка конкретного языкового факта, приводимого в этом месте книги для иллюстрации понятия глубинной структуры. Речь идет о наличии беглого гласного в системе склонения существительного *посол*, *посла* и об отсутствии беглости гласного в слова *посол*, *посола* (действие), что связывается с наличием или отсутствием беглости гласного в производящем глаголе (ср. *послать* — *посылать*, но *соль*, *посолить*). По мнению автора, при таком подходе нерегулярность оказывается мнимой. Эта нерегулярность была бы действительно мнимой, если бы все существительные (или хотя бы большинство существительных) подобной структуры (с нулевым суффиксом), производные от глаголов с морфонемой «гласная — нуль» в корне, обнаруживали при склонении беглость корневого гласного. Но такой закономерности в языке нет: ср. хотя бы отглагольные существительные *зов*, *загон*, *отбор* и мн. др., лишенные беглости гласного в склонении; на фоне последних беглость гласного в слове *посол* (лицо) выглядит как раз незакономерным фактом.

На стр. 107 формальное различие алломорфов префикса *де-/дез-* (ср. *демилитаризация*, но *дезорганизация* и т. п.) трактуется как чередование «*з* — нуль звука», причем, по мнению автора, по-

явление *з* объясняется здесь «законами морфонологии русского языка: согласный *з* устраняет зияние между гласными». Но и в данном случае такого закона нет: сочетание гласных на стыке префикса и корня в русском языке встречается достаточно часто (ср. *реорганизация*, *переориентация*, *переадресовать*, *доискаться* и т. п.).

На стр. 138 указано, что усечения производящих основ бывают 1) морфонологические, 2) фонологические. Во втором случае речь идет об усечении основ несклоняемых существительных на гласный. Этот отсекаемый конечный гласный корня автор не считает субморфом, он просто «гласный». С этим трудно согласиться: любое усечение основы, если оно не определяется живыми фонологическими законами (т. е. характерно для стыка морфем, а не фонем), является морфонологическим, причем конечные гласные основ несклоняемых существительных — тоже субморфы.

Следующее замечание относится к разграничению в книге явлений связанности корней (гл. III) и усечения производящих основ (гл. IV). На стр. 149 автор справедливо отмечает, что нет оснований считать словами со связанными корнями все те ряды однокоренных слов, в которых одно из слов является производящим для других, «но основа его входит в производные не целиком, причем усекаемая часть незначима в составе слова и, следовательно, не является аффиксом» (имеются в виду случаи типа *скрипка* — *скрипач*, *утка* — *утиный*, *без пальца* — *беспалый* и т. п.). Однако значительно раньше, на стр. 67, речь шла о том, что отношения производности могут объединять слова со связанными корнями: *агитировать* — *агитатор*, *агитировать* — *агитация*. Очевидно, по мысли автора, случаи типа *агитировать* — *агитатор* принципиально отличаются от случаев типа *скрипка* — *скрипач*. Отличие это, по-видимому, усматривается (хотя прямо об этом в книге не говорится) в той незначимости отсекаемой части основы производящего слова, которая подчеркнута для случаев типа *скрипка* — *скрипач*. Но что, в таком случае, означает отсекаемый отрезок *-ирова(ть)* в основе глагола *агитировать*? Ведь утверждение об однонаправленной производности (не равнопроизводности!) слов в паре *агитировать* — *агитатор* означает признание глагола *агитировать* непроизводным словом, т. е. таким, в котором «связь между значением слова и его строением отсутствует» (стр. 9). Поэтому у отрезка *-ирова(ть)* в глаголе *агитировать* можно предполагать лишь какое-то весьма общее значение глагольности, процессуальности; но не обладает ли подобным же значением «субстантивности» отрезок *-к(а)* в словах *скрипка*, *утка* и т. п.? Вопрос остается открытым.

Введя понятие субморфа, автор нигде прямо не пишет об отношении этой единицы к морфеме. Так, на стр. 81 читаем: «Это единицы более низкого уровня, чем морфы. Субморфы тождественны морфам данного языка, но только по форме. Значения в слове они не имеют»; на стр. 140: «Усекаемые отрезки являются суффиксами или субморфами существительных», и т. д. Всюду автор как будто избегает расстановки точек над *i* в вопросе об отношении субморфа к морфу, и читателю остается только гадать, чем же все-таки является субморф: морфом ли особого рода (может быть, и не очень полноценным, но ведь о разного рода «ущербных» морфемах в книге тоже говорится немало), частью ли морфа или, может быть, межморфной «прокладкой» вроде интерфикса (ведь интерфиксы в концепции автора тоже незначимы). Единственное место книги, по которому внимательный читатель может сделать косвенный вывод о том, что субморф является частью морфа (в данном случае корневого) — это характеристика морфов типа *редк-/ред-* (ср. *редкий* и *разредить*) как неусеченного и усеченного (см. стр. 165). Однако естественно было бы прямо сказать уже при определении субморфа об отношении его к морфу.

Еще одна заметная недоговоренность касается статуса так называемых тематических элементов глагольной основы, их места среди других элементов структуры слова. А между тем это один из важнейших вопросов, который невозможно обойти даже в элементарном (школьном) курсе словообразования. Автор лишь мимоходом упоминает тематические гласные инфинитивных основ глагола: на стр. 144 отмечается, что в глагольных основах «подвергаются усечению только глагольные суффиксы или тематические гласные». Из этого упоминания можно заключить, что автор либо считает «тематические» элементы глагольных основ, не являющиеся словообразовательными суффиксами, интерфиксами (что, однако, маловероятно, поскольку в книге допускается существование интерфиксов лишь как отрезков, используемых при образовании производных слов: см., например, стр. 131)[3], либо видит в них особый тип морфем, отличный от суффиксов (но тогда о них следовало бы сказать в разделе, посвященном видам морфем), либо особый тип субморфов.

По поводу рассмотренных в книге принципов отождествления морфемы хотелось бы сказать следующее. В начале книги выдвигается в качестве критерия алло-

[3] Наше отношение к понятию интерфиксов излагается в ст.: В. В. Лопатин. Так называемая интерфиксация и проблемы структуры слова в русском языке (в печати).

морфии принцип дополнительной дистрибуции: разные морфы не могут занимать одну и ту же позицию (стр. 20). Однако в дальнейшем, справедливо отмечая, что по сравнению с фонетической позицией морфонологическая и грамматическая позиции менее всеобщи и иногда допускают исключения (например, в области чередований, см. стр. 161), и не менее справедливо считая, что понятие грамматической позиции предполагает обобщение каких-то условий функционирования лингвистической единицы и потому не допускает лексического (словарно заданного) распределения, автор предлагает по сути дела другое, менее строгое, чем дополнительная дистрибуция, понимание распределения алломорфов: «в распределении таких единиц существуют закономерности, которые могут быть изложены в виде правил» (стр. 168) [4].

Правильно подчеркивая, что морфы, выбор которых определяется фонологической позицией (т. е. морфы типа [дубы́] — [дуп], различающиеся не фонемами, а аллофонами), являются уже по сути дела не разными морфами, а фонетическими разновидностями одного морфа, единицами фонетического уровня (см. стр. 162), автор, однако, не только рассматривает (вряд ли оправданно) подобные «морфы» среди типов позиционного противопоставления морфов одной морфемы, но и называет их неоднократно (наряду с «разновидностями морфа») «*морфами*» и «*алломорфами*» (например, на стр. 157, 164), чем очень затрудняется изложение в этом разделе.

Не вполне обоснованным представляется понятие «чередования морфонем», используемое на стр. 163—164 применительно к случаям типа *-о/-и* (наречные суффиксы, которые автор считает морфами единой морфемы: ср., например, *броск-о* и *дружеск-и*). До сих пор в книге шла речь только о чередовании фонем, причем справедливо отмечалось, что чередование — это регулярное, повторяющееся явление («единичность, неповторяемость противоречит самой сущности явления чередования» — стр. 80). В данном же случае, судя по приведенному примеру (а другого не приведено), трудно говорить о какой-либо регулярности мены фонем. Можно ли вообще называть мену *о—и* в данном примере чередованием и стоит ли за ней мена морфонем, а не фонем,— это требует дополнительной аргументации.

Жаль, что в книге не получило специального рассмотрения понятие словообразовательной цепочки (или цепи), связанное в свою очередь с такими понятиями, как степени производности, непосредственная и опосредствованная производность (мотивированность), с понятием словообразовательного гнезда (единственная словообразовательная цепочка *писать* → ... → *переписывание* изображена на стр. 14, а сами термины «словообразовательная цепь», «исходный член цепи» единственный раз применяются — без определения их — на стр. 70). «Гнездовая» проблематика не затрагивается автором, но думается, что хотя бы определение словообразовательного гнезда как особой единицы словообразовательной системы языка следовало бы в книге дать.

Книга Е. А. Земской — заметное явление в современной словообразовательной науке. Выход ее, несомненно, будет стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

В. В. Лопатин

[4] Такое понимание вполне соответствует, например, тому, которое предложено в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970, стр. 33).

V. Grinaveckis. Žemaičių tarmių istorija (fonetika). — Vilnius, «Mintis», 1973, 370 стр.

Исследование литовских диалектов, как известно, очень важно для изучения истории не только балтийских языков, но и славянских, а также других индоевропейских языков. Всестороннее исследование диалектов тем актуальнее, что процесс нивелирования говоров в настоящее время становится особенно интенсивным. Среди литовских диалектов особого внимания заслуживает жемайтское наречие, на котором говорит население северо-западной части Литовской ССР. На этой территории в течение нескольких столетий исторические события оказывали заметное влияния на язык местного населения. Жители данной местности тесно контактировали с древними куршами, пруссами и другими балтийскими племенами. Кроме того, здесь сказалось влияние немецкого языка, так как западная часть территории (Клайпедский край) почти 700 лет находилась под игом немецких властей.

Исследователи литовского языка посвятили немало работ жемайтскому диалекту, но это в основном были труды, в которых рассматривались современные языковые системы отдельных жемайтских говоров. В балтийском языкознании до сих пор еще не было исследования, охватывающего языковую систему всего жемайтского наречия в его историческом

развитии. В рецензируемой монографии В. Гринавецкиса «История жемайтских говоров (фонетика)» впервые в литовской диалектологии на основе богатого фактического материала исследуется происхождение и развитие фонетических особенностей всех жемайтских говоров с их не вполне совпадающими системами вокализма.

О характерных чертах жемайтского наречия, о процессе его формирования писали К. Яунюс, К. Буга, Ю. Гярулис, А. Салис, З. Зинкявичюс и др. Языковые явления литовского языка, аналогичные которым имеются в древнепрусском и латышском языках, исследовал и выдающийся балтист Я. Эндзелин. В. Гринавецкис, глубоко изучив имеющиеся работы и исследовав собранный им фактический материал по жемайтским говорам, смог критически подойти к анализу существующих точек зрения относительно развития фонетической системы описываемого диалекта.

Автору удалось показать развитие фонетической системы жемайтского наречия, установить, какие процессы относятся к более древним, какие — к новым, а также определить направление распространения этих изменений.

По мнению автора, большинство жемайтских диалектных особенностей являются относительно новыми. Такое заключение важно и для латышской диалектологии, так как оно подтверждает концепцию Я. Эндзелина, датирующего многие фонетические явления верхнелатышского диалекта не позднее XV в.

При объяснении происхождения, развития и распространения фонетических явлений автор, как это видно из предисловия (стр. 3—4), опирается преимущественно на концепцию представителя итальянской неолингвистической школы В. Пизани, а также на труды литовских диалектологов (К. Яунюса, А. Салиса и др.). Вслед за В. Пизани, А. Салисом и другими языковедами В. Гринавецкис придерживается мнения, что диалектные явления возникают в одном каком-либо месте как инновация индивидуального характера, а потом распространяются, достигая определенных границ; они могут переходить из одного диалекта в другой, охватывая более или менее обширный ареал. Согласно этой концепции, большая роль при возникновении определенных фонетических явлений жемайтских говоров отводится субстрату.

Отдельным фонетическим особенностям жемайтского наречия автор приводит соответствия из других литовских и родственных латышских говоров, а нередко и данные древнепрусского, куршского, земгальского языков, выявляя генетические связи между ними или ареальные отношения. Аттракцию ударения в литовских говорах он связывает с аттракцией ударения в латышском языке, очерчивая при этом ареал данного явления. Первоначальную причину аттракции ударения В. Гринавецкис объясняет, как и А. Салис, З. Зинкявичюс, влиянием куршского и земгальского субстрата (стр. 49—50). Субстратом ливского языка (через посредничество куршей и земгалов) он пытается объяснить связь редукции конца слова в говорах литовского языка (стр. 283).

Монография состоит из предисловия, введения и трех глав; приложены также список пунктов локализации приведенных диалектных материалов и карта исследуемого наречия.

Во введении (стр. 5—38) излагаются общие вопросы транскрипции и транспозиции, указываются границы и территория исследуемых говоров, характеризуются их основные особенности, определяется место жемайтского наречия в фонетической системе всего литовского языка.

В I главе «Ударение и интонация» (стр. 39—127) анализируется просодическая система жемайтского наречия и ее развитие. Автор убедительно обосновывает мысль о том, что аттракция ударения, будучи по происхождению субстратным явлением, позже в литовских говорах могла проходить и самостоятельно по своим собственным законам и что ее могло обусловить сокращение акутовых окончаний. Это подтверждается, на наш взгляд, диалектными данными тех литовских говоров, в которых отмечены как аттракция ударения, так и сокращение древнего акутового окончания. В таких примерах жемайтского говора, как *grĩžtu* «я возвращаюсь», *grĩžti* «ты возвращаешься» (ударение оттянуто с краткого окончания — с *grĩžtù*, *grĩžtì* — по аналогии с другими формами парадигмы; ср. *grĩžta* «он, она возвращается, они возвращаются», *grĩžtame* «мы возвращаемся», *grĩžtate* «вы возвращаетесь») и *grĩžaũ* «я возвращался», *grĩžaĩ* «ты возвращался» (ударение сохранено на долгом окончании, хотя в формах парадигмы оно находится, как и в первом приведенном случае, тоже на корне слова, ср. *grĩžome* «мы возвращались», *grĩžote* «вы возвращались», *grĩžo* «они возвращались»), аналогия парадигматического перенесения ударения, по всей вероятности, является только вспомогательным фактором, содействующим аттракции ударения лишь в том случае, когда окончание краткое.

В. Гринавецкис также доказывает, что интонации жемайтских говоров являются более архаичными по сравнению с интонациями других литовских говоров и литературного языка, являясь более близкими к интонациям латышского языка (стр. 116—125).

В этой главе детально описываются все виды ударения и интонаций жемайтского

наречия, устанавливается территория распространения и характер отдельных интонаций; показано, как постепенно ослабляется интенсивность аттракции ударения в направлении с севера обследуемой территории на юг ее. Здесь же раскрываются отличия систем ударений и интонаций в жемайтском наречии и аукштайтском, а также в латышском и сербохорватском языках, рассматривается система ударений и интонаций балтийского праязыка и т. п. Вообще эта глава монографии является наиболее ценной как по обилию и разнообразию приводимых фактов, так и по новизне и убедительности их интерпретации.

Немало новых диалектных явлений представлено и во II главе монографии «Вокализм» (стр. 128—283), где исследуется система гласных звуков жемайтского наречия и их формирование. Большое внимание уделяется хронологизации и выяснению причин возникновения и развития отдельных гласных звуков. Автор использует не только многочисленные диалектные особенности, но и данные древних письменных памятников, делая этим свою историческую интерпретацию еще более убедительной. Особенно исчерпывающим является анализ проблемы сокращения конца слова, причин и закономерностей этого языкового явления в жемайтском диалекте, которое при этом сравнивается с соответствующими особенностями других литовских говоров, литературного языка и балтийских языков. На основе языковых данных В. Гринавецкис установил, что в северном ареале балтийских языков, где в прошлом балтийские племена соприкасались с угро-финскими племенами и ливами, имеется наиболее сильное сокращение конца слова (особенно в современном ливском говоре латышского языка), которое, распространяясь с севера на юг, постепенно утрачивает свою интенсивность. Данную территорию автор считает центром локализации описываемого языкового явления и высказывает довольно убедительное предположение, что тенденцию к сокращению конца слова балтийские языки переняли от ливского языка, но в дальнейшем процесс сокращения конца слова в балтийских языках мог происходить и, скорее всего, происходил по собственным законам.

В гл. III «Консонантизм» (стр. 284—335), наряду с анализом происхождения и развития отдельных согласных, много места отводится распространению сочетаний согласных с *j*, а также комбинаторным изменениям согласных. Автор весьма убедительно объясняет причины превращения древних сочетаний **tj*, **dj* > *t'*, *d'* в конце слова в жемайтском наречии и происхождение дзуканья в аукштайтском и в одном из жемайтских говоров. Появление аффрикат *č*, *dž* объясняется как результат более сильного смягчения согласных, а не посредством влияния белорусского языка. Установив схожесть развития сочетаний **tj*, **dj* в жемайтском наречии, куршском и древнепрусском языках, автор считает, что территории распространения этих языков на основе данной особенности, по всей вероятности, могут быть объединены в один общий ареал. В книге содержится много существенных замечаний и обобщений об ассимилятивном смягчении согласных в жемайтском наречии, о неодинаковой степени их мягкости, об исчезновении, вставке и прибавлении согласных.

Рецензируемая монография, представляющая собой серьезный вклад в описательную и историческую диалектологию литовского языка, привлечет внимание не только диалектологов, но и исследователей как исторической грамматики литовского языка, так и литовского литературного языка, а также языковых контактов балтийских языков. Диалектологи найдут в ней немало свежих диалектных данных (особенный интерес представляют сведения о почти исчезнувшем жемайтском донининкском говоре) и новую интерпретацию отдельных фактов всего жемайтского наречия. Исследователи исторической грамматики могут использовать данную книгу при объяснении происхождения и развития ряда особенностей литовского языка (например, дифтонгов *ie*, *uo*, гласных звуков *ė*, *o*, аффрикат *č*, *dž*). Историкам литературного языка она поможет уточнить локализацию языка произведений авторов различных эпох, родом из Жемайтии.

Как во всяком большом труде, в этой работе имеются, на наш взгляд, некоторые недочеты. В вводной главе, например, автор сравнительно широко освещает исследования жемайтского наречия Й. Юшки, К. Яунюса и других языковедов, а упоминания о диалектологических работах, появившихся в наше время, чаще всего сводятся к краткому комментарию библиографического характера.

На стр. 242—247 утверждается, что в жемайтском говоре (окрестности г. Скаудвиле) и в аукштайтском говоре (окрестности г. Вилькия) первые компоненты акутовых дифтонгических сочетаний *i*, *u* + *l*, *m*, *n*, *r*, удлиняясь, превратились в дифтонгоиды *ie*, *uo* (*mieltai* < *miltai* «мука», *duolkes* < *dulkės* «пыль») и что это изменение зависит от характера сильноначальной интонации, однако это положение недостаточно аргументировано материалом.

Недоказанным, по нашему мнению, остается и положение, что жемайтская форма *mienû* < *mėnuo* «луна, месяц» (стр. 270) могла быть образована по аналогии со словами, имеющими конечное ударение (*akmû* < *akmuõ* «камень»).

Некоторые высказывания излишне категоричны. Так, на стр. 198—201 написано, что дифтонги *ai*, *ei* в жемайтском наречии монофтонгизировались вследствие концентрации силы голоса прерывистой и сильносрединной интонации на первом компоненте. Но в окрестностях г. Куршенай[1] эти дифтонги монофтонгизированы и в случаях, когда сила голоса указанных интонаций сконцентрирована на втором компоненте (стр. 132—133). На стр. 304 В. Гринавецкис пишет, что в говоре, носителем которого был К. Донелайтис, сохранился согласный *j* после губных *b*, *p*, *v*, *m*. Но в отдельных случаях буква *j* могла обозначать и мягкость согласных, и Донелайтис употреблял букву *j* не только для обозначения звука *j*.

Возможно, следует согласиться с мнением автора о том, что жемайтские говоры сохранили тавтосиллабическое *n* в окончании им. падежа мн. числа причастий прошедшего времени потому, что эта флексия, как свидетельствуют примеры М. Даукши, была ударной (стр. 218—219). Однако без внимания оставлена точка зрения З. Зинкявичюса, который совершенно по-иному трактует это языковое явление[1]. Не совсем ясно, какого мнения придерживается В. Гринавецкис относительно происхождения дифтонга *ęi* в жемайтском доунининкском говоре: на стр. 192 он утверждает, вслед за К. Яунюсом, К. Бугой, А. Салисом, что этот дифтонг происходит из древнего **ē*, а на стр. 193—194 склоняется к мнению Й. Казлаускаса, что *ęi* в доунининкском говоре является не чем иным, как древним *ei* с суженным первым компонентом.

Жемайтское наречие имеет много общих черт с верхнелатышским диалектом. Например, как в том, так и в другом диалектах наблюдается самая сильная лабиализация гласных звуков *a*, *ā*, дифтонгизация гласного *ē* в *ie*, монофтонгизация дифтонгов *ie*, *uo*, изменение гласного *e* в *a* и т. д. В исследовании не затронута проблема взаимоотношений этих двух балтийских говоров.

Отмеченные здесь некоторые недочеты, разумеется, не снижают научной ценности серьезного труда В. Гринавецкиса. Тщательность, точность и объективность ученого хорошо известны языковедам и по многим другим его работам.

Рецензируемая монография является самым полным исследованием по фонетике жемайтского наречия. Своим исследованием В. Гринавецкис внес значительный вклад в изучение диалектов Литвы, что позволяет считать его работу одним из наиболее ценных трудов по балтистике.

Е. И. Кедайтене

[1] Z. Zinkevičius. Lietuvių dialektologija, Vilnius, 1966, стр. 78.

«The Hungarian language». Edited by L. Benkő and S. Imre. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 379 стр. + 16 facsim.

Рецензируемая книга состоит из девяти относительно самостоятельных разделов: 1) «Происхождение венгерского языка» (стр. 15—48, автор П. Хайду); 2) «Историческая фонология венгерского языка» (стр. 49—83, Б. Калман); 3) «Грамматическая система венгерского языка» (стр. 85—170, Ш. Карой) 4) «Лексика венгерского языка» (стр. 171—226, Л. Бенкё); 5) «Собственные имена в венгерском языке» (стр. 227—253, Л. Бенкё); 6) «Стандартный венгерский язык» (стр. 255—297, Л. Деме); 7) «Диалекты венгерского языка» (стр. 299—326, Ш. Имре); 8) «Ранние памятники венгерского языка» (стр. 327—348, Ш. Имре); 9) «Очерк истории венгерского языкознания» (стр. 349—377, И. Сатмари). Разделы книги снабжены библиографией наиболее важных трудов по рассматриваемым вопросам. К книге приложены 1) список лингвистических журналов, издаваемых в Венгрии, как и наиболее важных трудов по венгерскому и финно-угорскому языкознанию; 2) факсимиле отдельных страниц древнейших памятников венгерского языка и венгерской письменности. Посвященные различным вопросам венгерского языкознания разделы книги составляют единую монографию несмотря на то, что мнения авторов, видных ученых Венгрии, по некоторым вопросам не согласованы, к тому же авторы придерживаются разных взглядов и на методы исследования отдельных вопросов. Как указано в предисловии, издатели сочли полезным сохранить за авторами право высказывать мнения и применять методы, отражающие разные стороны современного состояния венгерского языкознания.

Так, П. Хайду, имеющий ряд ценных работ по вопросам этногенеза венгров и их прародины, придерживается комплексного метода исследований, учитывая новейшие результаты разысканий лингвистов, историков, археологов, антропологов, палинологов. В частности, опираясь на новейшие исследования по пыльцевому анализу растений, некогда распространенных в Восточной Европе и Западной Азии, и принимая во внимание

наличие соответствующих ботанических названий в лексике уральского языка-основы, П. Хайду смог уточнить свои прежние взгляды относительно прародины уральцев, которая, по выводам рецензируемой книги, в VI—IV тысячелетиях до н. э. находилась севернее средней части Уральских гор, по нижнему и среднему течению Оби и в ареале северного Урала, включая район истока Печоры (стр. 23). Известно, что П. Хайду в своих ранних работах высказывал иную точку зрения, согласно которой прародина уральцев находилась южнее и западнее указанной территории [1].

Процесс разветвления уральской языковой семьи вплоть до формирования венгерского языка автор иллюстрирует удачной схемой, в которой делается и попытка хронологизации. Характеризуя структуру уральского языка-основы, П. Хайду допускает разные решения ряда вопросов, например, о долгих и редуцированных гласных в первом слоге слова протоуральского языка, об исконных возможностях использования *i* в суффиксах. Придерживаясь традиционного взгляда, суффикс мн. числа **-k* он возводит к прафинно-угорскому периоду, тем самым отвергая мнение ряда современных ученых, предполагающих, что *-k* в венгерском и некоторых других языках появился из разных источников уже после распада финно-угорского языка-основы. Используя новейшие разыскания, П. Хайду относит оппозицию объектной (определенной) и безобъектной (неопределенной) парадигм глагольного спряжения к протоуральскому времени (стр. 43—44).

Прослеживая судьбы фонем правенгерского периода и периода, зафиксированного в памятниках письменности, Б. Калман подробно рассматривает фонологическую систему современного венгерского языка. Как и П. Хайду, допускает разные решения вопроса об оппозиции долгих и редуцированных гласных в уральском языке-основе, наличие гласных *i* и *ü* признается спорным для прауральского, но вероятным для праугорского периода (стр. 51). Результаты анализа обобщены в таблицах согласных и гласных фонем старых периодов венгерского языка (стр. 51, 52); наглядно представлены способы устранения в начале слова скопления согласных в заимствованиях из других языков (см. стр. 59). Особенно интересны статистические данные о дистрибуции гласных и согласных фонем современного периода (стр. 77—78). Фонемы (*t'*) и (*d'*) (орфогр. *ty* и *gy*) отнесены к аффрикатам (стр. 70—71), между тем как традиционно они считаются смычными.

[1] П. Хайду, К этногенезу венгерского народа, AL, II, fasc. 3—4, Budapest, 1953, стр. 266.

Грамматический раздел, наиболее обширный в книге, по своему изложению значительно отличается от других разделов. В предыдущих, а также в двух последующих разделах авторы прослеживают рассматриваемые явления, начиная с древнейших периодов до современного состояния, структурные же особенности современного языка освещаются, главным образом, в конце раздела. В третьем разделе, напротив, основное внимание уделено структурному исследованию синтаксиса и морфологии современного языка, а исторические данные приведены только в виде дополнительных справок.

Ш. Карой рассматривает грамматическую систему венгерского языка, в основном, исходя из структуры предложения и словосочетаний (собственно морфологический подход применяется только в разделе о словообразовании, стр. 149—157). Синтаксические связи в главе представлены в новом (иногда очень остроумном) освещении, их типы иллюстрированы многочисленными схемами и таблицами (например, на стр. 106, 108—109, 142 и т. д.). Значительно отличаясь от традиционных грамматических очерков, этот раздел представляет большой интерес.

Четвертый раздел распадается на две части. В первой из них, посвященной исследованию происхождения и развития лексики венгерского языка, рассматриваются древние словарные пласты, унаследованные из уральского, финно-угорского, угорского языков-основ; здесь же обобщены исследования по заимствованиям из иранских, тюркских, славянских, германских и романских языков, а также по интернациональным словам, воспринятым венгерским языком. Анализируются также междометия, звукоподражательные и изобразительные слова, появившиеся в результате внутреннего развития языка; сообщаются сведения и о словах, заимствованных другими языками из венгерского.

Особый интерес представляет вторая часть раздела, посвященная структурным проблемам венгерской лексики. Опираясь на фундаментальные исследования последних десятилетий, связанные с составлением больших этимологического и историко-этимологического словарей, Л. Бенкё, главный редактор последнего словаря, сообщает ценные сравнительные данные о старом (XIII в.) и современном состоянии лексики венгерского языка (см. табл. на стр. 202, 206, 208 и сл.). Так, из таблиц мы узнаем процентные соотношения древних (исконных) и заимствованных слов, «слов внутреннего развития» (autonomous) и слов неизвестного происхождения в венгерском языке XIII в. и в современном языке (стр. 202), статистические соотношения одно-, двух-, трехсложных (и более) слов, производных и сложных слов по их встречаемости в текстах (стр. 208 и 209), статистические

данные о встречаемости частей речи (стр. 210) и т. д. Эта часть завершается очерком о функциональном использовании слов (диалектная и профессиональная лексика и т. д.).

В пятом разделе рассматривается происхождение личных и географических названий, употребляемых в венгерском языке, а также способы номинации в разные периоды развития венгерского языка, начиная с древнейших памятников и кончая современным венгерским языком.

Объясняя, что термином «стандартный венгерский язык» обозначается общий для венгров вариант родного языка, имеющий нормативную функцию (стр. 255), автор шестого раздела рассматривает названный вариант на разных этапах развития, особое внимание уделяя вопросам развития письменности, борьбы за обогащение литературного языка и за культуру речи.

В седьмом разделе анализируются как старые диалекты в разные периоды их развития, так и современные диалекты. При классификации последних Ш. Имре правильно понял задачи рецензируемой книги. Являясь автором фундаментального исследования, в котором с большой точностью определены свыше тридцати крупных диалектных типов, в данном разделе он ограничился выделением лишь шести основных диалектов (в отличие от Б. Калмана, который выделяет восемь), но при этом он четко охарактеризовал проблематику венгерской диалектологии по фонетике, морфологии, синтаксису и лексике.

В обзоре памятников венгерского языка (восьмой раздел) вместе с первыми разрозненными словами, зафиксированными в иноязычных текстах, учтены также первые связные рукописные и ранние печатные произведения на венгерском языке. Характеризуя их, Ш. Имре приводит образцы этих текстов.

В очерке истории венгерского языкознания (девятый раздел) особое внимание уделено последнему по времени периоду. Объективно оценивая выдающиеся заслуги языковедов Венгрии, И. Сатмари отдает должное и лингвистам, исследующим венгерский язык вне Венгрии, в том числе — в Советском Союзе.

Книга написана на столь высоком научном уровне и так тщательно отредактирована, что нижеследующие замечания относятся, главным образом, к спорным вопросам или отражают пожелания рецензента в отношении возможных уточнений и дополнений.

По мнению П. Хайду, прауральский глагол отличался от имени только способностью иметь форму наклонения (стр. 37); нам представляется, что следовало бы добавить еще отрицательный признак: неспособность изменяться по падежам, поскольку для уральской языковой общности не признается наличия категорий причастия и инфинитива. Примечательно, что П. Хайду считает общим для прауральского глагола и имени не только изменение по лицам (имеются в виду личные глагольные и лично-притяжательные именные окончания), но также и изменение по временам, имея в виду, что в уральском языке-основе чисто именное (без связки) сказуемое, подобно глагольным сказуемым, могло иметь форму как настоящего, так и прошедшего времени. Однако сказуемостное изменение, хорошо прослеживающееся в самодийских языках, из финно-угорских языков представлено только в мордовских; поэтому вполне допустимо, что в последних оно развилось самостоятельным путем.

Непонятно высказывание о том, что в качестве вопросительных местоимений чаще всего употреблялись **ke*, **ku*, **mi* (стр. 39): в протоуральском других вопросительных местоимений не было. П. Хайду допускает, что в протоуральском уже существовали предшественники современных послелогов (стр. 37, 46). Хотелось бы добавить, что такими предшественниками могли быть некоторые имена, в основном, пространственной семантики, которые, употребляясь безударно после другого имени, от случая к случаю выполняли функцию послелогов. О позднем появлении собственно послелогов свидетельствует то, что современные послелоги (даже имеющие этимологически общую корневую морфему) в разных финно-угорских языках оформлены разными застывшими падежными формантами, соответствующими в каждом конкретном языке падежным формантам именно данного языка, ср. венг. *alatt*, фин. *alla*, морд. *alo* «под» венг. *alól*, фин. *alta*, морд. *aldo* «из-под».

Сведения о частотности фонем (стр. 77) следовало бы дополнить соответствующими данными о геминированных согласных, поскольку противопоставление простых и геминированных согласных в венгерском имеет фонологическое значение. Таблицы суффиксов склонения и спряжения (стр. 127, 160) содержат только основные элементы суффиксальных морфем; однако учитывая, что рецензируемая книга рассчитана на иностранных читателей, было бы целесообразно дополнить соответствующие таблицы данными, отражающими употребление и так называемых «соединительных гласных».

Ш. Карой называет «связкой» (copula, стр. 86) слово *van* в предложениях типа *A könyv az asztalon van* «Книга находится на столе», *Az ocsémnek autója van* «у моего младшего брата есть машина». Однако в подобных примерах *van* выступает как полнозначный глагол, а не как вспомогательный элемент, в отличие от предложений, приведенных автором на той же странице, в которых *van* (*volt*) действительно выступает как связка: *A bátyám ügyes* «Мой брат ловок», *A bátyám katona*

volt «Мой брат был военным». Различение полнозначного *van* и глагола-связки *van* чрезвычайно важно для системы венгерского языка; от этого зависит употребление или неупотребление глагольных форм *van* и *vannak*.

Обращая внимание на согласование указательного местоименного определения с определяемым в падеже: *az-t a könyve-t* «ту книгу» (стр. 89), автор не упоминает о согласовании в числе (например: *azo-k a könyve-k* «те книги»); следовало бы отметить также, что из указательных местоимений согласуются только *ez* «этот», *az* «тот» и их производные типа *ugyanaz*, *amaz* и т. д., на другие же указательные местоимения (типа *ilyen*, *olyan*) согласование не распространяется.

В связи с употреблением объектного спряжения (стр. 98) перечисляются не все случаи «определенности» объекта: не упоминаются аккузативные формы возвратного и указательных местоимений (*magamat*, *magadat*, *ezt*, *azt*) и некоторые более редкие, но вполне закономерные лучаи (*valamennyit*, *mindet* «все») и т. д.

Первые славянские слова, заимствованные венгерским языком еще до прихода венгров в бассейн Дуная и Тисы (конец IX в.), восприняты собственно не из русского языка (стр. 182), а из восточнославянского: в то время восточнославянская ветвь языков еще не была разделена.

В раздел о собственных именах было бы желательно включить и наблюдения над кличками животных, а также названиями звезд.

Подобные замечания можно было бы сделать по всем разделам, но, как и вышеприведенные, они затрагивали бы лишь несущественные или спорные стороны рецензируемой работы.

Рецензируемая книга, во многих частях оригинальная, несомненно, будет весьма полезна широким кругам лингвистов, так как содержит все необходимые сведения о венгерском языке и венгерском языкознании.

К. Е. Майтинская

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1975

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

2—5 октября 1973 г. в Ереване состоялось Всесоюзное совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка организованное Научным советом по диалектологии и истории языка при ОЛЯ АН СССР, Институтом русского языка АН СССР и Институтом языка им. Ачаряна АН АрмССР [1]. Всего на совещании было прослушано 76 докладов.

На пленарном заседании со вступительным словом выступил председатель Научного совета по диалектологии и истории языка чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесов и академик-секретарь Отделения общественных наук АН АрмССР Ц. П. Агаян, было прочитано восемь докладов.

Ц. П. Агаян коснулся вопросов, которые должны быть в центре внимания совещания. Это прежде всего проблемы классификации диалектов, результаты которой используются сравнительно-историческим языкознанием для установления исторического взаимодействия родственных языков, разработка рациональных методов классификации диалектов — как качественных, так и количественных; применение различных принципов классификации для различных языков; степень учета экстралингвистических факторов при классификации. На современном этапе особое значение приобретает изучение диалектов, развивающихся в иноязычной среде. Интерес к этой проблеме вызван, в частности, тем пристальным вниманием, которое в последнее время уделяется вопросам двуязычия и многоязычия, языковых контактов и языковой интерференции. Исследование этих проблем даст новый материал для определения степени зависимости процесса интерференции от степени близости контактирующих единиц и для установления удельного веса различных экстралингвистических факторов в усилении этого процесса. Актуальность изучения проблемы диктуется быстрым стиранием диалектов: любое промедление может лишить науку ценнейших материалов. Взаимоотношение книжно-письменных языков и диалектов (в частности, диалектная основа языка, степень влияния диалектов на литературный язык и, наоборот, влияние литературного языка на диалекты в разные исторические эпохи) является одной из центральных проблем исторической диалектологии и истории литературного языка и вообще истории языка в широком понимании.

К. В. Ломтатидзе (Тбилиси) в докладе «К вопросу о критерии выделения диалектов (на материале абхазо-адыгских языков)» полагает, что такой критерий не может быть единым для всех диалектов, поскольку расхождения в фонетической системе усложняют процессы, возникшие в результате интеграции близкородственных языков и диалектов.

А. В. Десницкая (Ленинград) в докладе «Эволюция диалектной системы в условиях этнического смешения (из истории славяно-албанских языковых контактов)» объясняет консерватизм северногоскского диалектного типа долго длившимся состоянием албано-славянского билингвизма.

А. С. Гарибян (Ереван) в докладе «О результатах классификации армянских диалектов» выделил в армянском языке около 60 диалектов. Арн. Чикобава (Тбилиси) в докладе «Письменный язык и опорный диалект» отмечает, что в процессе создания письменного языка опорный диалект выделяется среди других диалектов как более значимый. Обстоятельства нелингвистического порядка могут выдвинуть два опорных диалекта, и тогда создаются „двуписьменные" языки (ср. мордовский, марийский, абхазский, абазинский). Благодаря воздействию письменного языка расхождения в устной речи, естественно, усиливаются.

В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «Функционально-стилистическая система литературного языка и ее соотношение с территориальными диалектами» указала, что при анализе исторических вза-

[1] «Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений (Ереван, 2—5 октября 1973 г.)», М., 1973.

имоотношений национального литературного языка и территориальных диалектов в процессе их исторического развития необходимо учитывать функционально-стилистическую дифференциацию литературного языка.

М. М. Гухман (Москва) в докладе «Соотношение литературного языка и диалекта в донациональный период» подчеркнула, что несовпадение изоглосс письменного литературного языка и диалектных ареалов в этот период свидетельствует об обособлении письменного литературного языка от языка народно-разговорного на ранних этапах существования письменной речи.

С. В. Бромлей (Москва) в докладе «К проблеме заимствований на фонологическом уровне» полагает, что условием осуществления такого заимствования должно быть наличие в фонологической системе «пустой клетки» для заимствуемой фонемы. Для описания процедуры заимствования предлагается использовать термин «звук языка», введенный П. С. Кузнецовым и позволяющий переходить от одной фонологической системы к другой, так как один и тот же звук языка может обладать в них разным фонемным статусом.

Т. И. Гаджиев (Баку) в докладе «Контакты письменно-традиционных и диалектно-разговорных элементов при формировании азербайджанского национального литературного языка» отметил участие в формировании этого языка трех компонентов: традиции письменно-литературного языка, фактов диалектного койне и общеразговорных элементов. Традиционно в литературно-письменном языке сосуществовали как иноязычные (арабские и персидские) элементы, так и элементы народно-разговорного азербайджанского языка. В новый период бакинский диалект лег в основу нового койне. Национальный литературный язык формировался в очень сложных и противоречивых условиях, что сказалось в непоследовательности литературной нормы, в частности, в лексической, синтаксической и орфографической нестабильности.

Проф. П. С. Зволинский (ПНР) выступил с докладом «Марина Темперица — славист-балканист конца XVI в.».

Дальнейшая работа совещания протекала в трех секциях: I. Принципы и критерии диалектного членения языка; II. Междиалектные контакты и специфика развития говоров в иноязычной среде; III. Взаимоотношение книжно-письменных языков и диалектов в разные периоды их исторического развития.

На первой секции было прослушано восемнадцать докладов. Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «Эволюция формирования некоторых типов диалектных систем тюркских языков» считает, что критерии этнолингвистической классификации должны определяться двумя основными аспектами исторически сложившихся условий их развития: а) на хронологически более древнем уровне — сохранившимися пережитками родоплеменного членения, б) на более позднем — территориальным членением, обусловленным либо процессами концентрации населения вокруг городских экономических центров, либо географическими причинами, вызывающими изоляцию диалектов или говоров.

В. Д. Бондалетов (Пенза) в докладе «Территориальное варьирование социальных диалектов (на материале условных языков русских ремесленников и торговцев)», отметив, что каждый тип социального диалекта по-своему реагирует на фактор территориальной разобщенности его носителей, подчеркнул, что условные языки (арго), выделяющиеся среди других социальных диалектов своей функцией — конспиративностью общения, территориально значительно отличаются друг от друга.

О необходимости учета экстралингвистических факторов при установлении границ диалектных членений говорил Р. Я. Удлер (Кишинев) в докладе «Обусловленность границ фонетических явлений социально-историческими факторами». Э. Р. Тенишев (Москва) выступил с докладом «Принципы выделения диалектов уйгурского языка» [2].

В докладе «Проблема классификации диалектов в истории армянской диалектологии» О. Д. Мурадян (Ереван), относя начало исследования армянских диалектов к древности, прослеживает историю их классификации до 70-х годов XX в.

Н. Н. Пшеничнова (Москва) в докладе «Из опыта классификации говоров на основе применения элементов дискретной математики (на материале части русских говоров)» предложила рассматривать классификацию как иерархическое построение, которое должно сводиться к решению следующих вопросов: 1) учет практически всех различительных признаков, известных для русских говоров; 2) определение степени существенности рассматриваемых признаков и построение классификации на основе ее учета; 3) определение числа единиц диалектного членения и их объем (перечень населенных пунктов, говоры которых составляют каждую из таких единиц).

Остальные доклады, прочитанные на заседаниях Первой секции, также были посвящены вопросам выделения различных методов и принципов классификации диалектного членения на материале разных языков: А. В. Широкова (Москва) «Фонологические принципы реконструкции и классификации диалек-

[2] См.: ВЯ, 1974, 5, стр. 124—129.

тов народной латыни», В. В. Борисенко (Москва) «Характер палатализации как принцип классификации древнегреческих диалектов», Н. М. Васильева (Москва) «К проблеме диалектного членения французского языка XI—XIII вв. (принципы классификации старофранцузских диалектов)», Д. Ф. Патачакова (Абакан) «К вопросу формирования признаков диалектного членения хакасского языка», М. У. Хамоян (Ереван) «К установлению критериев классификации диалектов курдского языка», В. К. Кельмаков (Ижевск) «Опыт классификации удмуртских диалектов по составу гласных», Д. А. Сусеева (Элиста) «К проблеме соотношения калмыцкого языка и калмыцких диалектов».

На второй секции было прослушано 26 докладов. Интерференции диалектов одного языка или близкородственных диалектов на смежных территориях, а также межъязыковой интерференции в условиях этнического смешения были посвящены доклады: Д. С. Насыров (Нукус) «Междиалектные контакты на юге Каракалпакии и особенности развития южного диалекта каракалпакского языка», А. М. Родионова-Нащокина (Ленинград) «Об особенностях фонетики говоров Брянской области (к вопросу о междиалектных контактах близкородственных языков)», В. И. Собинникова и К. М. Фетисова (Воронеж) «Взаимодействие близкородственных языков (на материале русских и украинских говоров Воронежской области)», Е. Н. Мамсурова (Ленинград) «К вопросу о количественных оценках влияния административных границ на междиалектные контакты», С. А. Багдасарян-Тапалцян (Ереван) «Междиалектные контакты в Араратской долине». И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко (Москва) в докладе «К вопросу о проницаемости синтаксической системы говоров при возможности иноязычного влияния» исследуют это явление при взаимодействии языков как близкородственных, так и отдаленно родственных и неродственных. Анализ синтаксических особенностей русских говоров Прибалтики и Карелии, находящихся во взаимодействии с языками прибалтийских республик, приводит к выводу, что и формирование по иноязычному образцу новых для данного говора структур, и сохранение синтаксических архаизмов конструкций, типологически сходных с определенными конструкциями влияющего языка, происходит в говоре при поддержке со стороны элементов его собственной синтаксической системы.

Положение о том, что языковое взаимодействие осуществляется в основном на функциональном уровне, было подтверждено в докладах: С. Д. Кац (Баку) «Тюркизмы как источник пополнения экспрессивных средств русских говоров в Азербайджане», Х. Хейтер (Тарту) «К характеристике интерферентных явлений на фонолого-фонетическом уровне в двуязычных русских говорах Эстонии», И. А. Дзендзелевский (Ужгород) «К вопросу о функциональной нагрузке некоторых согласных фонем в украинских говорах в связи с межъязыковой интерференцией», Н. И. Дзендзелевская (Москва) «Украинские элементы в словацких переселенческих говорах на территории УССР», Р. А. Баграмян (Ереван) «Армянские диалекты в азербайджанской среде», А. И. Синица (Даугавпилс) «Лексические взаимоотношения говоров русского старожильческого населения Латгалии с другими русскими говорами и соседними языками», И. В. Тараканов (Ижевск) «Об особенностях развития островных говоров и некоторых явлений языковой интерференции (на материале удмуртско-татарских языковых контактов)», А. А. Хидешели (Тбилиси) «Русские говоры в грузинском языковом окружении», Л. А. Покровская (Москва) «Специфика развития гагаузского языка», З. П. Здобнова (Уфа) «О судьбе русских говоров в условиях междиалектных и межъязыковых контактов на территории Башкирии», В. К. Павел (Кишинев) «Некоторые особенности развития лексико-семантических микросистем молдавских говоров в иноязычной среде», Н. Г. Самсонов (Якутск) «Взаимодействие русских говоров и говоров аборигенов Якутии».

Характеристике изолированных островных диалектов, длительное время развивавшихся в иноязычной среде, были посвящены доклады: А. Н. Анеян (Ереван) «Армянские диалекты в арабском языковом окружении», И. И. Кавтарадзе (Тбилиси) «Развитие некоторых грузинских диалектов в иноязычной среде», А. А. Магометов (Тбилиси) «Специфика развития мегебского диалекта даргинского языка», О. С. Широков (Москва) «Диалекты греков [г.] Алаверды», Л. Я. Демко (Минск) «Некоторые особенности развития албанского говора в славянском окружении», Т. В. Вентцель (Москва) «„Островной“ диалект армянских цыган-боша», А. А. Дарбеева (Москва) «Специфика развития нижнеудинского диалекта бурятского языка». В докладах и в дискуссии по докладам отмечалась необходимость выработать методику сбора материала и приемы его обработки при исследовании островных диалектов обособленных этнических, социальных или религиозных групп (например, говоры молокан Грузии, Армении, Азербайджана; греков и албанцев Кавказа и Украины).

На третьей секции было прослушано 23 доклада, посвященных проблеме взаимодействия книжно-письменных, а для

более позднего периода, национальных литературных языков и диалектов. Вопросам общих и частных методов исследования рукописных памятников в связи с проблемой взаимоотношения литературного языка и местных диалектов в разные исторические периоды были посвящены доклады: К. Ф. Моркунас и А. И. Сабаляускас (Вильнюс) «О некоторых аспектах взаимодействия литовского литературного языка и диалектов», Ф. С. Сафиуллина (Ашхабад) «Диалектный синтаксис татарского языка и его отношение к письменным памятникам тюркских языков», Г. Сапарова (Ашхабад) «Туркменские диалекты и древнетюркский язык», Р. Дж. Магеррамова (Баку) «Взаимоотношение диалектов и говоров азербайджанского языка с письменным литературным языком XVIII в.», Е. К. Молчанова (Москва) «О взаимоотношении книжно-письменного языка и диалектов (на материале иранских диалектов полосы Исфагана)», В. П. Карпов (Львов) «Территориально-локализованные особенности числительных в языке украинской деловой письменности XIV—XV вв.», А. Г. Мариросов (Тбилиси) «О взаимоотношении грузинского литературного языка и диалектов в разные периоды его исторического развития»; М. З. Закиев (Казань) «О взаимоотношении татарского литературного языка и диалектов в различные периоды их развития», Л. Г. Степанова (Ленинград) «История соотношения „литературный язык—диалект“ в Италии», Н. К. Катагощина (Москва) «Проблема соотношения письменного языка и диалектов в ранне-старофранцузский период». А. С. Бархударов (Москва) в докладе «Стилистическая стратификация и критерии разграничения литературного языка и диалектов» указывает, что стилистическая стратификация современных индийских языков основана на противопоставлении стилей «верхнего» («книжного»), «нижнего» («разговорного») и «среднего» («стандартного», или «нейтрального»). «Санскритизация» определяется как включение в словарный состав санскритской лексики — заимствованной и новообразованной. Степень санскритизации связана с колебаниями в степенях репрезентации других слоев лексики: «хиндизации» (использования исконной лексики), «иранизации — арабизации» (персидских и арабских заимствований и новообразований) и «англизации» (английских заимствований). Иранизованный стиль находит максимальное выражение в языке урду. Стили литературного хинди обусловлены различными степенями санскритизации так же, как стиль урду — степенями иранизации.

О применении математических методов при анализе памятников письменности говорил Н. Д. Русинов (Горький) в докладе «К вопросу об отражении скорости диалектной эволюции в памятниках письменности».

Методам реконструкции изоглосс при построении исторической диалектологии были посвящены доклады Л. С. Овсепяна (Ереван) «О взаимоотношениях древнеармянского литературного языка и диалектов в V веке», М. А. Мурадяна (Ереван) «Территориальные разновидности и диалекты среднеармянского языка на первом этапе его развития (XII—XIV вв.)», причем в последнем из них сделан вывод о том, что среднеармянские диалекты оказали значительное влияние на письменный язык, образовав в нем территориальные разновидности с различиями в фонетике, морфологии, лексике, семантике и словообразовании. К. В. Горшкова (Москва) в докладе «О методах реконструкции изоглосс» считает важнейшей задачей уточнение полученных или установление новых хроно-типоизоглосс фонетического, грамматического и лексического уровней. Решение этой задачи требует разработки как общих, так и частных методик изучения и интерпретации материала основных источников: письменных памятников, народных говоров, данных лингвистической географии.

Г. А. Хабургаев (Москва) в докладе «Еще раз о хронологии падения редуцированных» подчеркнул, что при реконструкции древнего языкового состояния на первое место выдвигаются лингвогеографические методы исследования, которые нередко заставляют пересмотреть абсолютно-хронологические характеристики, основанные на показаниях письменных памятников; это относится и к традиционной хронологизации падения редуцированных.

В докладе К. И. Ходовой (Москва) «Об адаптации иноязычной лексики в древнерусских списках переводных произведений» отмечалось, что в языке многочисленных произведений житийной литературы, переведенных с греческого преимущественно на древнеболгарский язык и бытовавших на Руси, видимо, уже начиная с XI в. естественно присутствие словарных заимствований из языка оригинала. Некоторые греческие слова и выражения проникали в разговорный, а затем и в литературный язык Киевской Руси благодаря прямым контактам ее населения с Византией; такие грецизмы искажались в разной степени, иногда же приспосабливались к лексике древнерусского языка («народная этимология»). Н. Т. Войтович (Минск) в докладе «Народная основа лексики Барколабовской летописи» утверждает, что эта летопись XVI—XVIII вв. представляет ценный материал для изучения истории белорусского языка, поскольку ее фонетико-грамматическая система свидетель-

ствует о формировании черт этого языка. Т. Н. Кандаурова (Москва) в докладе «К проблеме взаимодействия книжных и разговорных элементов в русском литературном языке раннего средневековья (XI—XIV вв.)», отметив, что включение разговорной лексемы с полногласным сочетанием в корне в ткань литературных произведений книжно-славянского типа могло быть обусловлено рядом причин, подчеркнула: для древнерусского письменно-литературного языка эпохи до второго южнославянского влияния было свойственно более свободное, чем в последующие 300—400 лет, взаимодействие системно противопоставленных друг другу русизмов и книжных церковнославянизмов.

О. А. Князевская (Москва) в докладе «О лингвистической интерпретации древнерусских памятников письменности», опираясь на анализ пяти ростовских рукописей XIII в. и учитывая не только специфику данной буквенной передачи текста, но и ряд сопутствующих моментов, сделала попытку охарактеризовать северовосточный древнерусский диалект относительно судьбы этимологических редуцированных гласных.

Е. В. Чешко (Москва) в докладе «К вопросу выявления черт живого языка писца в связи с анализом особенностей среднеболгарской редакции славянского перевода псалтыри» вслед за В. Ягичем, относит возникновение второй, правленной редакции славянского перевода псалтыри в болгарских землях к концу XIII — первой половине XIV вв. Вторая редакция характеризуется тенденцией буквального следования тексту греческого оригинала, причем изменения, вносимые писцом в текст с этой целью, носят регулярный характер.

И. И. Кавтарадзе (Тбилиси), выступая на заключительном пленарном заседании, отметил, что в вузах необходимо координировать преподавание диалектологии и проведение практических занятий, поставив их после курсов по истории языка и современного языка, а также обсудить вопрос о возможности допускать к защите словари, в том числе и диалектологические.

Директор Института языка им. Р. Ачаряна АН АрмССР Г. Б. Джаукян по просьбе участников совещания охарактеризовал основные направления работы Института.

В заключительном выступлении председатель Научного совета по диалектологии и истории языка чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесов отметил, что проблемы «Принципы и критерии диалектного членения языка» и «Взаимоотношение книжно-письменных языков и диалектов в разные периоды их исторического развития» тесно соприкасаются друг с другом, так как охватывают описательную и историческую диалектологию и историю книжно-письменного (литературного) языка. Наряду с исследованиями в традиционном направлении на совещании были продемонстрированы заслуживающие внимания опыты применения новых методов, а именно: реконструкция изоглосс, моделирование лингвистических карт на разных хронологических срезах, фонологическое изучение конкретных диалектов в ряде случаев с выходом в типологию, применение математических методов. Большой теоретический интерес представляет проблема «Междиалектные контакты и специфика развития говоров в иноязычной среде» (взаимодействие диалектов и близкородственных языков, образование диалектных черт, появившихся в результате межъязыковой интерференции, островная диалектология). Классификация имеет целью выявить территории с относительно единой языковой системой, отграничив их от других территорий. Относительное единство на данной территории языковых единиц (пучка изоглосс) и есть диалект. При так называемой скользящей классификации выделяется комплекс языковых признаков, и один и тот же объект может входить по одному признаку в одну группу, а по другому в другую. Это отражает принципиальную возможность разных или нескольких классификаций. Наличие письменности на родном языке часто определяет границы распространения данного языка и его отношение с соседними. При отсутствии письменности критерий общности, степень понимания не решают вопроса, так как даже далекие системы могут быть диалектами одного языка, а близкие — другого. Старые классификации грешили генетизмом. Р. И. Аванесов отметил, что на совещании историческая диалектология была недостаточно представлена; необходимо также ознакомление с местной работой по лингвистической географии.

Следующие совещание намечается провести в 1975 г. Темы будущего совещания: лингвистическая география на современном этапе, диалектология лексикологическая и лексикографическая, периодизация истории языка, принципы классификации говоров, современные процессы в говорах и методы их изучения.

Т. В. Вентцель (Москва)

CONTENTS

Articles: P. A. Azimov (Ashkhabad). Ju. D. Dešeriev, L. B. Nikolskij, G. V. Stepanov, A. D. Švejtser (Moscow). Modern social development, scientific-technological revolution and language; **Discussions:** S. I. Kotkov (Moscow). Russian written monuments and historical dialectology; L. I. Barannikova (Saratov). Dialects in newly settled areas and the problem of their classification; I. M. Oranskij (Leningrad). Division of language-history and of written monuments into periods; M. A. Borodina (Leningrad). Areology and some problems of Romance linguistics; V. N. Turkin (Dniepropetrovsk). On the study of social terminology; **Materials and notes:** D. Worth (Los Angeles). On the language of Russian law; T. Y. Elizarenkova (Moscow). On the emphatic pronouns in Hindi; I. D. Klenin (Moscow). Morpheme-contraction and its types in modern Chinese; G. S. Klyčkov (Moscow). Variability of pre-alphabetical Indo-European languages; T. I. Dešerieva (Moscow). Linguistic aspect of the theory of time in its relation to physical and philosophical aspects; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: P. A. Azimov (Achkhabad). Ju. D. Dešeriev, L. B. Nikolskij, G. V. Stepanov, A. D. Švejcer (Moscou). Développement social actuel, révolution scientifique et technique et langage; **Discussions:** S. I. Kotkov (Moscou). Monuments écrits russes et dialectologie historique; L. I. Barannikova (Saratov). Sur les problèmes de la classification de dialectes des territoires tardivement colonisés; I. M. Oranskij (Léningrad). Sur les rapports entre la periodisation de l'histoire de la langue et celle des monuments écrits; M. A. Borodina (Léningrad). Aréologie et problèmes de linguistique romane; V. N. Turkin (Dniepropetrovsk). Pour l'étude de la terminologie sociale; **Matériaux et notices:** D. Worth (Los Angeles). Quelques traits linguistiques des documents juridiques russes; T. Y. Elizarenkova (Moscou). Pronoms emphatiques en hindi; I. D. Klenin (Moscou). Contraction des morphèmes et ses types en chinois; G. S. Klyčkov (Moscou). Variabilité des langues indo-européennes avant la parution des documents écrits; T. I. Dešerjeva (Moscou). Le temps en linguistique par rapport aux aspects physique et philosophique de la notion du temps; **Comptes-rendus**; **Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 30/ XII-1974 г. Т. 04239 Подписано к печати 27/II-1975 г. Тираж 7320 экз.
Зак. 1529 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5¹/₄ Уч.-изд. л. 16,5

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10